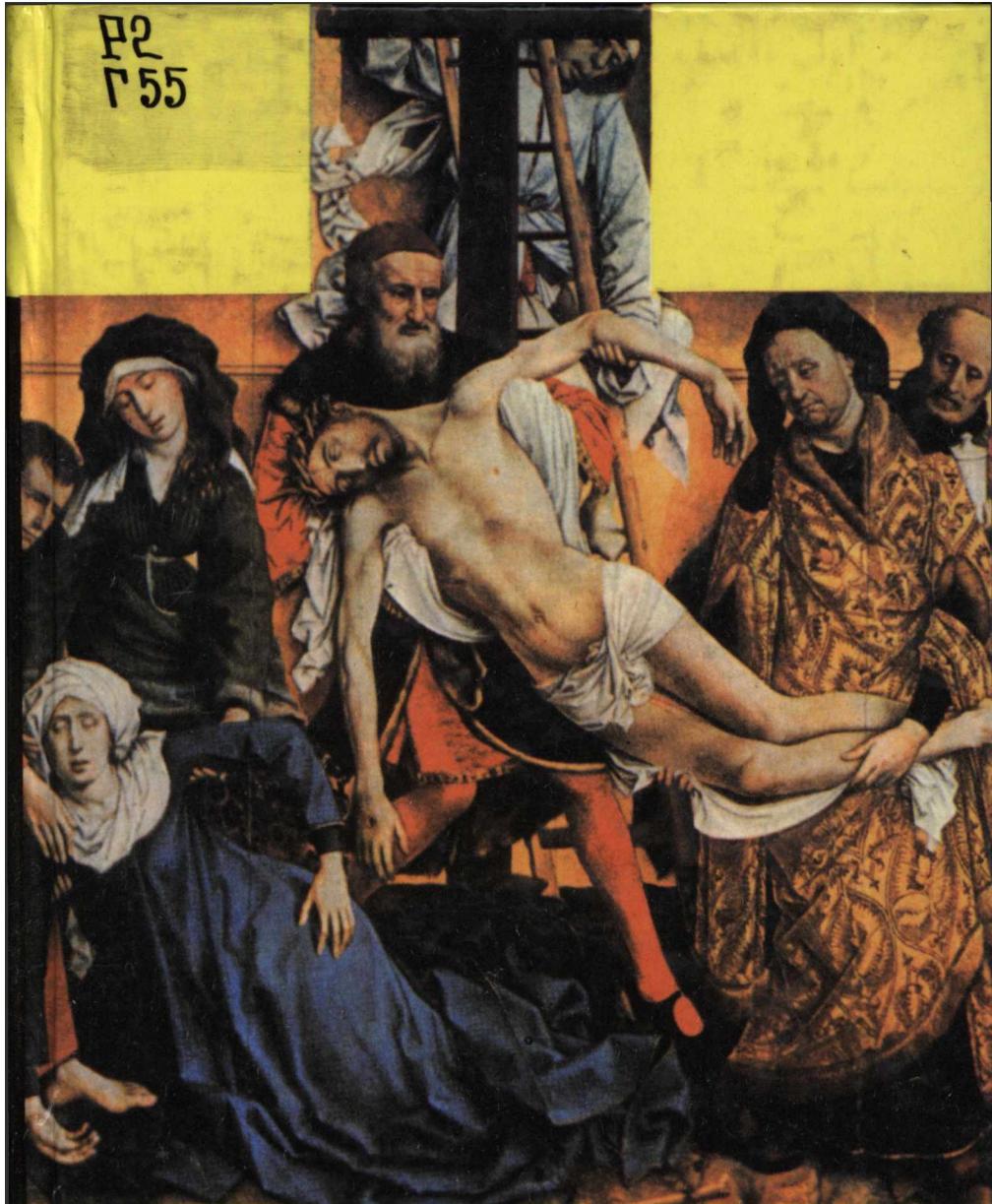
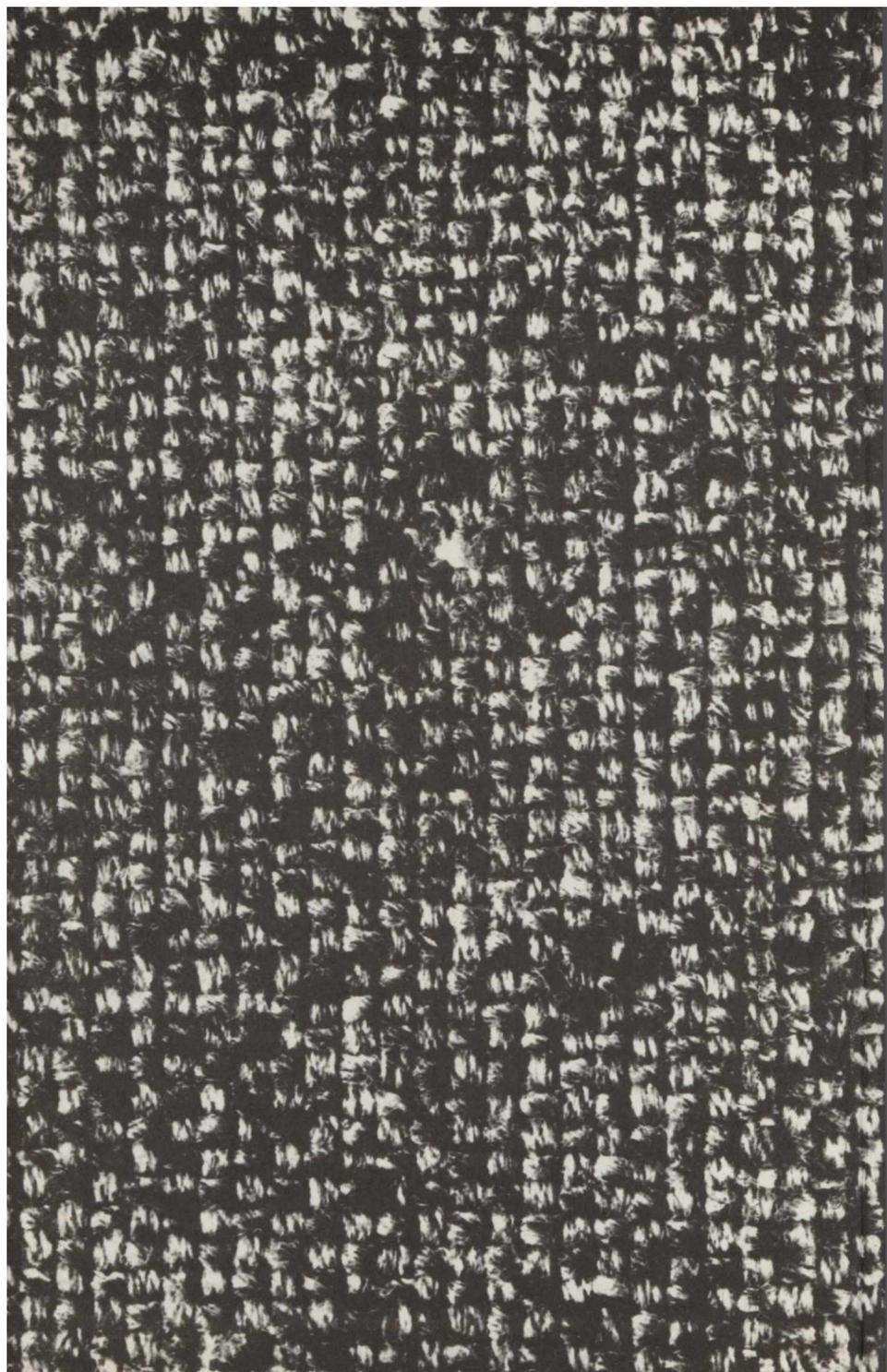
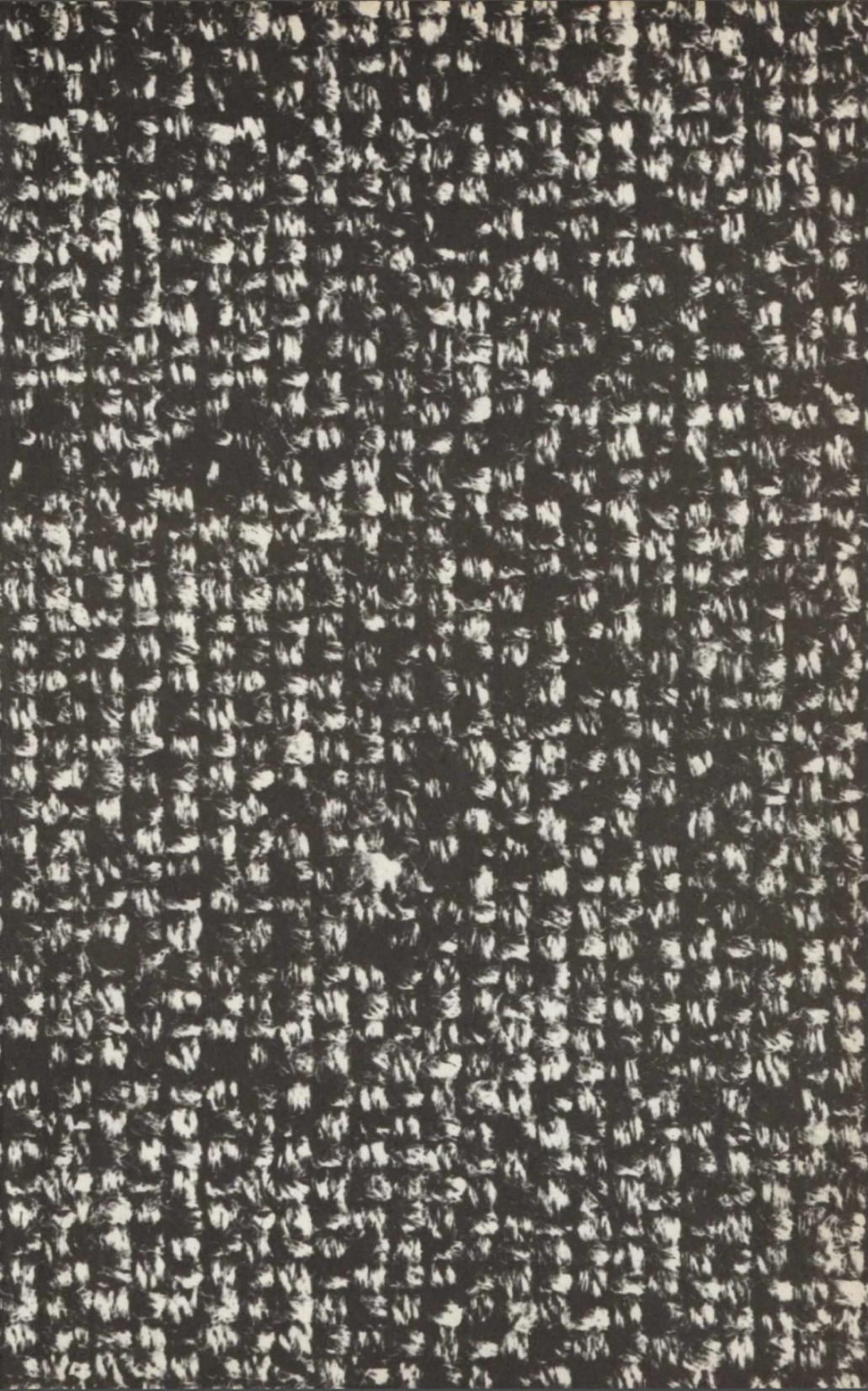


Р2
Г55



ИИСУС
НАЗАРЯНИН





О. Глушкин, В. Зорин

ИИСУС НАЗАРЯНИН

Калининградское
книжное
издательство
1993

Глушкин О. Б., Зорин В. Н.
Г55 Иисус Назарянин: Повести и рассказы/Ил.
Г. Доре; Ред. О. Н. Тимошенко. — Калининград:
Кн. изд-во, 1993. — 318 с.: ил.

В книгу вошли повести и рассказы двух калининградских писателей по евангельским сюжетам. Используются иллюстрации известного французского художника XIX в. Гюстава Доре.

4803010201—018
И М144(03)—93 без объявл.

84Р6—4

ISBN 5—85500—314—0

© О. Б. Глушкин, В. Н. Зорин. 1993.

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Восточное Средиземноморье две тысячи лет назад. Чье сердце не замрет при мысли об этих местах и людях, их обычаях и нравах, о непомерном, ни с чем не сравнимом значении этого крохотного в масштабах планеты клочка земли для судеб всего человечества? Место, где сходятся три части света: Европа, Азия, Африка и где поэтому издревле проходили морские и сухопутные (караванные) торговые пути.

Палестина — благодатный край. Там, где есть животворная влага, высоко вознаграждается труд земледельца. Беда только в том, что уж очень мало там орошаемых земель. А в полупустынях и на каменистых нагорьях могли прожить лишь кочевники-животноводы со своим неприхотливым скотом — овцами и козами, ослами и верблюдами. Для «изнеженных» лошадей и коров здесь корма не найдется.

Может быть, поэтому здесь никогда не было крупных государств. Даже в период самого большого расцвета Израильского и Иудейского царств их сила не шла ни в какое сравнение с подпиравшими с юга и севера гигантами: Египтом и Ассирией, Вавилоном, Персией, империей Александра Македонского и Римом. Возникали и рушились империи, волны завоевателей наступали и отступали, и каждая волна оставляла свой след. В этом конгломерате народов, при непредсказуемости обстоятельств жизни, как было не прийти к фатальному смирению перед судьбой, как было не научиться человеку верить себя Высшим Силам. И неудивительно, что здесь, на Ближнем Востоке, сложились три мировые религии, сохраняющиеся и до наших дней: иудаизм, христианство и мусульманство.

Славились своей мудростью и знаниями египетские и халдейские жрецы, но боги, которым они служили, были суровы, жестоки и несправедливы. Не добрее их были боги финикийцев. Древние обитатели Палестины, основатели ряда городов-государств, финикийцы были все обращены к морю: торговля и рыболовство, пиратство

и открытие новых земель — вот главное, что их занимало. Но они же изобрели и первый в мире алфавит, на основе которого сложились все последующие: греческий и латинский, древнееврейский и арамейский — тот самый, на котором впервые был написан Новый Завет. Мировые религии создавались на базе развитой письменности.

Римляне, как известно, были веротерпимы, хотя именно Древний Рим позднее прославился жесточайшими гонениями на христиан. Богов подчиненных Риму государств они просто включали в свой пантеон. Покоренным говорили: признайте божественность цезаря, старшинство греко-римских богов и можете молиться своим богам сколько угодно. И со всеми это сходило, но не с иудеями. Здесь прочно держались идеи единого бога, покровителя избранного народа. Ученые считают, что и у них единобожие утвердилось не сразу. Первоначально Яхве — племенной бог иудеев (одного из еврейских племен), а у других были свои. Но народ невелик, и постепенно главный бог стал единственным и все верующие в него стали считаться иудеями в широком смысле слова, а в узком смысле ими были только жители Иудеи, а другие (самаритяне, иудейцы) иудеями в этом смысле не были. Дело осложнялось тем, что жители окраин еврейского государства более активно общались с иноверцами, были веротерпимее, а порой и охотнее начинали служить чужим богам. На этом и основывались многие конфликты, отраженные в предлагаемой книге.

В начале новой эры единобожие стучалось в двери. Интересы всемирной Римской империи требовали этого, но иудейский бог не годился — слишком уж он был, как мы бы теперь сказали, националистичен, ограничен рамками еврейского народа. Впрочем, история любит шутить. Уже в ту пору, когда христианство стало религией общеевропейской, а в Передней Азии распространилось мусульманство, иудаизм стал государственной религией довольно большого и очень далекого от Палестины государства — Хазарского каганата, которое, впрочем, просуществовало сравнительно недолго.

Огромное преимущество христианства состояло не только в единобожии, но и в его общечеловеческом, интернациональном и внеклассовом характере. «Несть ни эллина, ни иудея» перед богом,—гласило оно. Раб не только не ниже господина, но, может быть, и неизмеримо выше. Пусть только посмертно, пусть только в нравственном отношении, но и это было целой революцией в мирозерцании людей того времени. Поистине немало правоты в словах тех, кто уверяет, что «Христос был первым коммунистом». Христианство возникло как религия угнетенных. Позднее появилась иерархия, пышные, заимствованные из других религий, обряды, проповедь покорности господам. Но идеи первоначального гуманного вероучения

сквозь все напластования сохранились до наших дней. Именно они и дороги прежде всего всем нам.

Не удивителен всевозрастающий интерес к личности основателя вероучения, к его времени, к его окружению. Огромна научная и богословская литература по этому вопросу. Уже в конце I в. появились первые ожесточенные критики христианства (Цельс, Лукриан) и первые апологеты. Не удивительно также, что сложилась изрядная художественная литература, использующая религиозные сюжеты. Многие писатели обращались непосредственно к личности Иисуса Христа и апостолов. Диапазон подходов к теме был всегда очень велик: от признания истинными всех эпизодов евангелий, включая чудеса, до попыток изобразить Сына Божия обычным человеком, а чудеса, свершенные им, — выдумкой восторженных поклонников.

Кто такой Иисус Христос — реально существовавший пророк, мессия или обобщенный образ, плод фантазии, такой же как языческие боги? И кем он был, если был на самом деле, — человеком, богочеловеком, Богом? Оставим все эти вопросы историкам, специализирующимся на этой эпохе, и богословам.

А в художественной литературе сложилась своя традиция, в соответствии с которой Иисус Христос скорее все же человек, чем божество, человек колеблющийся и сомневающийся, в чем-то слабый, но умеющий преодолевать свои слабости. Именно исходящие от такого очень человеческого героя так трогают нас за живое его мудрая доброта, снисходительность и терпимость к людскому несовершенству, соединенные с величайшим мужеством в отношении того, что ему дорого. И еще одно бросается в глаза — одиночество Иисуса. Ведь он окружен учениками, к нему толпами валият почитатели, есть у него, наконец, и родственники. И все же каждый знакомый с жизнеописанием Христа ощущает, что он один подлинный гуманист, он один может понять движение души каждого, а другие, и апостолы в том числе, и его до конца не понимают и друг к другу прислушаться не в силах. Надо ли добавлять еще и то, что все это воспринимается очень современно в связи с той исторической трагедией, которую переживает страна.

Великое множество писателей занималось беллетристическим осмыслением образа Иисуса Христа, времени его проповеди, людей его окружавших. Среди этих литераторов было мало советских. Тема эта не была закрытой, но и шансов на публикацию у человека, взявшегося за эту тему, было немного.

И вот сразу два калининградских писателя — Олег Глушкин и Валентин Зорин начали разработку новой для них темы. Оба автора достаточно опытные. О. Глушкин имеет навык в работе с историческими документами. Его повесть о моряке-декабристе Торсоне «На благо Российского флота» показала умение автора вживаться

в обстановку давно минувших дней. В. Зорин — автор беллетризованных биографий художника Грекова «Всадник с золотой трубой», писателя Грина «Повелитель случайностей», в последних своих работах «Заложники», «Улыбка Будды» показал себя мастером стилизации, любовно и старательно рисуя малознакомую нам жизнь.

Авторы рассказов и повестей на евангельские сюжеты очень различны по своей творческой манере. Глушкин теснее привязан к источнику, Зорин больше дает простора фантазии. Это отразилось даже в мелочах. У первого традиционное для русской богословской и исторической литературы — Иисус, Иерусалим, у второго — более близкое к арамейскому — Иешу, Иерушалом. Предлагаемые произведения дополняют друг друга, прослеживая жизненный путь Иисуса Христа от рождения до смерти и посмертной судьбы, но есть в них и несовпадение и противоречие.

В противоречивости четырех канонических евангелий критики видят доказательства их мифологичности. В том же самом апологеты видят доказательства истинности: ведь это так характерно для свидетелей, когда каждый запоминает важное для себя. Думаем, что и противоречивость материалов данной книги не смутит добродушного читателя.

Следует отметить, что оба автора не столько спорят с традицией, со сложившимся преданием, сколько пытаются дополнить его. Почему, например, царь Ирод стал злодеем? Ведь из других источников, не евангельских, мы знаем, что он был незаурядным государем. Может быть, ответ нашел О. Глушкин, может, ему удалось верно проникнуть в психологию этого персонажа. Или такой вопрос: какими виделись Христос и его апостолы глазами человека близкого к христианам, но не отождествляющего себя с ними? Глазами тайного сторонника? Глазами врага? На эти вопросы пытаются дать ответ В. Зорин. Убедительно получилось или нет — судить читателям.

Мир Ближнего Востока и Древнего Рима встает со страниц книги. Мир сильных страстей, зноя, тяжелого труда и скудной жизни для большинства людей и бесстыдной откровенной роскоши для немногих. Мир, в котором зверская жестокость обычна, а человечность редка и поражает воображение. Два тысячелетия и многие сотни километров отделяют нас от тех мест и времен, и все же во многом этот мир узнаваем, многое из того, что мучило и волновало людей тогда, актуально и для нас. Вот почему никогда не остынет интерес к евангельским сказаниям и их отражению в художественном творчестве.

С. ДАНИЕЛЬ-БЕК.

Олег Глушкин

**КАНУН
СЛУЖЕНИЕ В КАПЕРНАУМЕ
ОТМЩЕНИЕ АЗ ВОЗДАМ
МАРИЯ МАГДАЛИНА
ГЕФСИМАНСКИЙ САД
КРЕСТ
ПОКАЯНИЕ ДАМАХА**

КАНУН

В этой мятежной стране невозможно было предугадать ход событий. Иерусалим кишел своенравными и многоречивыми фарисеями и кичливыми саддукеями. Не было такого года, когда не появлялся среди бродячих проповедников новый лжепророк, и не только кощунственные слова проникали в белокаменный дворец, но и вести о тайных убийствах, совершенных зелотами, и поджогах домов тех, кто хоть в малом отступил от Закона, данного Моисеем. Стремясь оградить свою веру от чужеземцев, иудеи осмеливались даже покушаться на могущественных римлян. И в царском дворце почти ежедневно обнаруживались тайные заговоры и в темных подземельях творилась скорая расправа.

Никому нельзя было доверять. Угодливые льстецы, платные осведомители, приближенные к трону сановники, предсказатели и толкователи тайных магий все они старались усладить царский слух и трепетали перед ним — великим Иродом идумейцем.

И тогда он, сын всесильного Антипатра, переставал уснащать себя благовониями, извлекал из тайника замызганный хитон и тайно исчезал из дворцовых покоев. Он уходил один, без стражи, без советников. И никому не дано было узнать, куда направил он свои стопы и когда вернется. С годами эти скрытные выходы в город становились все реже, но отказаться от них совсем он не мог.

Теперь он не решался удаляться за крепостные стены, круг его вылазок ограничился узкими улицами, прилегающими к Храму, и, конечно, самим Храмом, перед стенами которого всегда скапливались мудрецы и законники, бездельники и торговцы, простолоудины и знать.

Кто бы из них, слепо веровавших во всемогущество своего бога Ягве, мог догадаться, что старик с дряблыми щеками, обросшими седой щетиной, и желтоватыми глазами, уже тронутыми белесой пеленой, тихо сидящий у подножия мраморной колонны, и есть тот самый всемогущий иудейский властелин, по велению которого и воздвигнут этот белоснежный Храм.

Он, их повелитель, сидел на камне, одетый в рубище, и затаив в душе презрение ко всем ним, вслушивался в голоса проповедников. В этот день гомон голосов быстро надоел ему, и он устало прикрыл глаза. И виделось ему то время, когда срывали храм Зоровавеля — обветшавшие руины, недостойные великого народа. И как неистовые иудеи бросались на мечи наемников-нумбийцев, охранявших каменщиков, как оскорбляли бранными словами мастеров из Александрии и умельцев-финикийцев, не понимая, что все здесь делается только во славу самой Иудеи, что это была последняя попытка его, Ирода, найти примирение с исступленными фанатиками, ставящими выше всего в мире ковчег Завета.

Почти весь народ, возвращенный из плена вавилонского, двадцать лет трудился, чтобы восстановить Храм, построенный в прошлых веках мудрым Соломоном. А теперь им, Иродом, воссоздано все за восемь лет. И недаром утверждают даже эллины, что нет в мире величавее строения. Как сверкающая снегом горная вершина, царит Храм над Иерусалимом. И так ярко блестит он в солнечные дни, будто вобрал в себя все сияние мира. И тогда смотреть невозможно, ибо ослепляет глаза блеск его. Гранитные глыбы террас незыблемы, и стены так высоки и крепки, что в случае осады будут неприступны. Из храмового двора поднимаются ввысь лестницы, выложенные из красного камня и ведущие к девяти золотым и серебряным воротам. Двойной ряд полированных колонн скрадывает массивную толщу стен. Лепная работа на фронтонах: переплетения ветвей виноградных, да на воротах бронзовые орлы. Не позволяет закон Моисея зреть величественные статуи римских цезарей — не надо. Он, Ирод, согласился — глаз иудея не будет оскорблен зримыми кумирами — и отменил свой приказ о возведении статуй. Не только в этом пошел на уступки, пришлось даже просить императора Августа, чтобы монеты чеканились для

Израиля специальные, лишенные изображения великого цезаря.

Внутри, в Храме, тоже нет изображений ликов, лишь играет в переливах света мрамор и базальт, да сверкает серебро на завесах, вытканых белыми цветами. Блестит золото повсюду — и внутри, и снаружи на кровлях и стенах, и даже шипы на крыше Храма, сделанные, чтобы голуби не садились на нее, — отлиты из чистого золота.

Над всей землей Израилевой вознесся Храм, и под землей продолжен он, и мало кто знает, даже из первосвященников, тайну подземных ходов и лабиринтов, соединяющих Храм с крепостными башнями и дворцовыми покоями.

Но все труды напрасны: лишен чувства благодарности иудейский народ, и велики грехи его.

Он просидел недвижно довольно долго, а в полдень в одной из предхрамовых галерей, затесавшись в толпу, услышал оскорбительные для себя слова и в который раз подивился неразумности черни. Говорил на арамейском наречии рыжекудрый юноша с воспаленными глазами и лицом, потемневшим от загара, как медь на огне, и речь его была кощунственна:

— Смирению благостному предавались мы, испрашивая милости у Ягве, но отвернулся Бог от народа избранного, ибо в блуд римский ввергнуто племя Авраамово. Ирод из рода Асманеев, подобный нечистому соуду и необрезанному язычнику, осквернил и глаза и уста наши!

Толпа откликнулась с одобрением, и возмутительные крики раздавались со всех сторон. Было одно желание — сорвать рубище, крикнуть стражу и предать казни каждого, кто внимал смутьяну. Но сдержал себя — нет, это было бы слишком просто. Надо выведать имена, надо знать истоки, наверняка из проклятой секты ессеев этот рыжеволосый безумец! Подавив гнев, Ирод вкрадчиво спросил у старца, стоящего поодаль и молчавшего, кто сей воитель. И ответил старик, что из ессеев, подтвердив догадку.

А потом сидели они со стариком в Храме и вышли вместе, когда спал полуденный зной. И оказалось, что старик этот, на вид благочестивый и властям послушный, не менее едок и насмешлив, чем юный проповедник, и звали старика Аарон, и был он, по его словам,

родом из Самарии. А сейчас пришел из Кумранской пустыни, о том и глаза его свидетельствовали, выщевшие от палящего солнца. Борода у него была белой и гладкой, как у древних пророков. С юных лет покинул он обитель своего отца и провел долгие годы в пещерах у Мертвого моря среди ессеев. И теперь после поста и очищения пришел поклониться Храму, хотя и не одобряли, по его словам, поход в Иерусалим собратья по общине, знали они, что искажены заветы саддукеями, и жертвенная кровь по языческому обычаю все еще орошает крышку ковчега и противно это Богу, единому для всех живущих — и человек, и вол, и агнецов бессловесных. Ибо все сотворены единым Богом и в каждом божий огонь мерцает.

Ирод не стал спорить со стариком, глупость людскую не искоренишь словами разума. Бог не на небе. Он на земле, это поняли римляне, император — вот их Бог!

Вышли они молча и увидели еще большую толпу перед Храмом. Зной спал, и любопытствующие выбрались из домов своих. И все тот же юноша выкрикивал слова ненависти.

— Насилием не усмиришь народ! — кидал он в толпу. Хитон его распахнулся, и можно было заметить, что меч поблескивает на его поясе, а значит, речи его лживы. И понял Ирод, что не просто это смутьян, а один из зелотов, из тех, что не раз покушались на царский престол и власть божественного цезаря. А ведь еще пять лет назад убеждали лстецы из синедриона, что повержены все зелоты, что пойманы и обезглавлены те, кто замышлял возмутить чернь иерусалимскую против римлян и Асмодеев. Но, как всегда, желаемое выдавали за действительное. Не тот народ евреи, чтобы искоренить в них дух мятежа. И можно тысячами распинать на кресте возмутителей и отдавать на растерзание диким зверям, но на место казненных приходят новые жепороки, и чего добиваются они — непонятно даже им самим. Кто покушается на их союз с Богом, кто хочет отнять у них грядущий Эдем? Ужели он, Ирод идумеец? Он жаждет лишь возврата прежнего величия, возврата времени царств, когда не хилые проповедники властвовали над умами, а сильные мужи, прославившие на весь мир мужество иудейского воинства, такие, как Саул, Давид и Соломон. Их силой согнаны кочевники с земли заповедной, и царство их принесло покой и сме-

нило стенания и ужасы странствий на благоденствие и оседлость. Но не поняли их заветов синагогальные мудрецы. И опять уповают лишь на избранность народа и божьи предзнаменования.

— И не оставит Ягве избранный им народ, и будет в веках проклято имя Ирода и все его семя! Римских идолов жаждет Ирод возвысить в Иерусалиме! — прокричал рыжеволосый и голос его возвысился и звучал грозно, разносясь над толпой, стягивающейся к Храму.

И заметил Ирод, что народ с сочувствием вникает смутьяну, и даже саддукеи кивают головами, и среди них узнал он тех, кто с дарами от Храма являлся во дворец и вкрадчиво воздавал хвалу просвященным эллинам и величественным римлянам. И подумалось, все они таковы и нельзя никогда принимать на веру слова их. Уж лучше вот этот безумный юноша — открытый враг и хулитель, чем те, кто за фальшивой улыбкой прячут коварные замыслы. Хороша же стража города и наемники нумидийцы! Куда они смотрят? Где эти бездельники, не в питейных ли домах прохлаждаются, забыв о царской службе и о тех милостях, коими осыпаны и обласканы. Но только он подумал об этом, как внезапно заволновалась толпа и начали все отступать от храмовых колонн, будто жгли они нестерпимым огнем. А к юноше, возмущавшему толпу, кинулись римские legionеры, и тот не успел обнажить свой меч, а стиснутый руками воинов закричал испуганно и пронзительно, как зверь, пойманный в капкан. Воплями испуга огласилось все вокруг. И тут, пробивая себе дорогу короткими мечами, чернокожие нумидийцы расчленили столпившихся, и мускулистые руки legionеров, как серпы, стали собирать свою жатву. Один из нумидийцев неожиданно схватил за плечи его, Ирода, и грубо швырнул наземь, другой нумидиец крутил руки Аарону, и старик-есей верещал и взвизгивал.

И хотя крайне унижительно было претерпеть все, но разлилась по душе жгучая истома отмщения — вот вам, неразумные иудеи, что ваши слова и ваша кичливость, где смелость и непокорность, коли несколько наемников сумели, как стадо овец, сбить вас в кучу, повязать и загнать в стойла. И никто не посмеет сопротивляться, лишь злобно блестят глаза и судорожно сжимаются кулаки. Куда им против воинов, закаленных в битвах. Нет, недаром едят хлеб legionеры, и прав божествен-

ный цезарь, посоветовавший призвать на службу нумидийцев — этих чернокожих гигантов, без страха и отчаяния сметающих врагов и не раз решавших исход сражений, прославивших великий Рим.

Вопли отчаяния, растерянные крики иудеев сладкой музыкой отдавались в сердце. И хотя волокли его, Ирода, вместе со всеми и больно пинали и издевались над ним, как над простым иудеем, он терпел и был уверен, что вскоре все откроется, и те, кто сейчас поднял руку на него, будут валяться в его ногах и молить о пощаде.

Уже ночь надвинулась на белокаменный город, когда в неровном свете факелов иудеев, взятых стражниками, стали пересчитывать, как овец, и вталкивать в узкую дверь, ведущую в темницу крепостной башни.

По ступеням, скользким от сырости, спустились пленники вниз навстречу непроглядной тьме. Подгоняемые ударами хлестких бичей, они натыкались друг на друга и, сжатые щербатыми стенами подземелья, отчаянно вопили. А из темноты хватали их цепкие руки стражников и вталкивали в набитые людьми тесные зловонные помещения. И те, кто уже сидел здесь и пообвыкся в темноте, встречали злобным шипеньем новичков, ибо так плотно были набиты людьми темницы, что, казалось, и протиснуться туда невозможно даже одному человеку, а запихивали, загоняли в эти темницы десятками. И здесь не у кого было искать сострадания, некому было открыться в том, кто ты есть на самом деле, а напротив, следовало молчать, ибо, узнай союзники, что ты как раз тот, именем которого бичуют и томят иудеев, вмиг растерзали бы, охваченные неистовством и безумием.

В темноте все же различил Ирод, что рядом с ним старик Аарон из ессеев, и это несколько успокоило его, старик тоже узнал своего недавнего собеседника и сказал, видимо, стараясь его ободрить:

— Крепись, брат мой, не страшна смерть во имя Господне!

— Дышать здесь невозможно, Аарон, — откликнулся Ирод и подумал, что слепая вера сродни невежеству, эллины поняли это, и все-таки счастлив тот, кто уверовал слепо, кто не вкусил ученых мыслей. Когда он, Ирод, вновь будет во дворце, он, пожалуй, прикажет разыскать и освободить Аарона. Пусть старик отправится к себе на Мертвое море и ждет терпеливо там, в сво-

их пещерах, явление Ягве. А вот рыжекудрого зачинщика прикажет привести и допросить в своем присутствии, пусть покается в содеянном и пусть испытает, насколько крепка его плоть, когда будет корчиться он на раскаленных углях. Во дворце немало искусных палачей. И придет ли ему на помощь всемогущий и всевидящий Ягве?

А вдруг сейчас эти палачи уже здесь и возьмутся за дело прежде чем рассвет пробудит Иерусалим, и тогда эта ночь может стать последней не только для смутьянов, но и для него, Ирода. Холодный пот проступил у него на лбу и что-то сдавило внутри, а под самым вздохом напряся и задрожал комок плоти. Ирод почувствовал, что сейчас не выдержит и упадет — и прижался к Аарону. В ноздри ударил гнилостный запах давно немытого тела. Аарон, воздев голову вверх, шептал слова молитвы и, только закончив ее, обратил внимание на своего соседа и сказал, чтобы утешить и укрепить силы того:

— Уже недолог наш путь к Богу. Простит он все грехи наши...

Ирод скривился и постарался сделать глубокий вдох, чтобы прогнать боль, и комок внутри его стих, растаял.

— Жаль только, что не дано будет нам увидеть пришествие сына Божьего, — продолжал Аарон, — узреть воочию благодать его и ликование Израиля...

— О чем ты, Аарон, если ждешь встреча с Богом, нужен ли тебе сын его? И надо ли уповать на Бога, признайся, ты ведь просто хочешь жить, старик. Неужели тебе не дорога твоя жизнь? Ведь только тление — удел мертвых, ты ведь повидал мертвецов на своем веку. Жить в Израиле и не видеть смерти может только слепой. Даже самый святой пророк не встал еще из могилы! О каком божьем сыне ты бормочешь?

— Грядет мессия, грядет спаситель, его час близок, — убежденно произнес Аарон, — дано сбыться предсказанному и написанному в книгах завета, явится тот, о ком сказал еще Илия, о ком у ессеев поведано. И будет свет Израиля дан всем людям Земли, и судить он будет судом праведным...

— Откуда же придет он, как опустится он с небес? — с усмешкой спросил Ирод.

— Сказано, что из Вифлеема, и будет он из рода Давидова, как наречено у ессеев, — ответил Аарон и,

словно отгоняя злого духа, отстранился от Ирода и снова зашептал слова молитвы.

И приглядываясь в темноте, различил Ирод, что и все вокруг шевелят беззвучно губами — и понял: обращены их мысли к всемогущему Богу, и никому из них не страшны земные муки, и ему стало не по себе, он осознал, что стоит сейчас среди одержимых и все его прежние труды, и все его попытки образумить этих людей были тщетны. Умереть вместе с ними—что может быть глупее! Нужно напрячь всю волю, нужно найти выход. Наверняка утром его хватятся во дворце, его будут искать, придут и сюда, но доживет ли он до рассвета, это зависит сейчас только от него. Надо пробраться к дверям, надо ждать, когда заглянет в темницу кто-либо из стражников, но как привлечь внимание к себе? Обещать вознаграждение, обещать золото, нет среди людей тех, кто не польстился бы на золото. Ирод стал протискиваться среди узников, его пинали, посылали проклятия на его голову, но он упорно продвигался к той стороне темницы, где, по его расчетам, была дверь, и действительно он натолкнулся на нее и прижался спиной к шершавым брусам, окованным железом. Однако никто не собирался приотворять запоры, видимо, стражники преспокойно спят, и никого из них не дозваться, но придет рассвет, они пробудятся, надо только дождаться, надо найти слова, которые убедят их, что награда будет особенно щедрой...

Смерть не однажды подступала к нему, Ироду, и всякий раз ей приходилось разжимать свои когти. Были случаи и много страшнее, и много опаснее. Жизнь не устала пухом дорогу к царству, да и само царствование было постоянной борьбой с теми, кто хотел смести с пути, уничтожить своего владыку. И надо было укрепить свою волю, чтобы вынести всю ту ненависть, какую питали иудеи к идумейцам. Кто дал право им, поверженным Римом иудеям, считать незаконным восхождение на царство сына Антипатра! Почему считали, что только династия Асмонеев имеет право на власть? Да потому что издревле им претит сильная рука! Они уверены, что эта сильная рука, покусившись на их верования, отнимет от народа божье заступничество! А в чем же состояло это заступничество? В разорении храма, в нашествии халдеев, когда законный царь Израиля был ослеплен, а дети его истреблены, когда Иерусалим был

предан пламени и разрушению, и весь этот богоизбранный народ был позорно уведен в плен вавилонский? Попробуйте доказать иудеям, что это падение. Нет! — ответят, это наказание за грехи, это Ягве и возвеличивает и казнит свой народ. Богу разрешено все. Царю не прощается ни одного шага. Когда начинался путь к царству, не понимал всего этого, да и какие могут быть сомнения у юноши в пятнадцать лет. Отец послал в Галилею, страну разбойников и бродяг, послал не на прогулку, а для усмирения взбунтовавшихся иудеев. Разбойники были схвачены и на устрашение другим принародно казнены, вина их была доказана. И вместо благодарности за обретенный покой взметнулся над Галилеей такой поток проклятий, что впору было от всего отказаться и бежать в Рим. И только заступничество Секста Цезаря, тогдашнего правителя Сирии, да первосвященника Гиркана спасли тогда его, Ирода, молодого наследника царства, от гнева раздраженного иерусалимского синедриона. Ведь были даже отдельные голоса, требующие распятия наследника. Он запомнил тогда тех, кто осмелился на такие требования. Они захлебнулись в своей крови.

Так он приучал иудеев к страху перед властью. Так начинал. И никогда не страшился собственной смерти. Хотя и пришлось покинуть Иудею. Издавна пророки скрывались в Египте, а для царей был один исход — могущественный Рим. С женой и новорожденным сыном искал поддержки в Риме. Там он был обласкан внучатым племянником Гая Юлия Цезаря — самим Октавианом, который потом стал всевластным императором Августом, что означало — божественный. Будущий император увидел в нем, Ироде, властителя, которому можно доверить мятежные восточные провинции. Короткое пребывание в Риме всегда вспоминалось, как непрекращающийся весенний праздник. Насколько пресен и скучен Иерусалим по сравнению со столицей великой империи. С неохотой покинул молодой Ирод сверкающий в празднествах город, но, качаясь в седле по пути в Иудею, он уже не сожалел, ибо возвращался с мечом. Предводимые им римские легионы и отряды наемников приступом взяли мятежную столицу иудеев, подвергнув жителей ее свирепому избиению. Должны были надолго запомнить иудеи, к чему приводит отвержение законного правителя. Но стало ясно позднее, что слыш-

ком коротка у них память. Более десяти лет подряд один заговор сменял другой, и любой необдуманный шаг мог погубить ставленника Рима, так и не признанного своим законным царем строптивыми иудеями. Безумный народ, не желающий ничего знать, кроме своих священных книг! Эти многочисленные бездельники — саддукеи, фарисеи, толкователи — все они считают, что нет превыше обязанности у иудея, чем служение своему Богу. Можно ли построить для этого народа сильное царство, пусть под опекой Рима, но все же независимое, позволяющее шагнуть в мир ремесел и науки, стать центром просвещения на Востоке? Тогда, в начале своего правления, он, Ирод, был полон решимости и надежд на осуществление своих замыслов. Но может быть, вся эта выматывающая и раздражающая народ затея была совершенно напрасна? Разве заслуживают эти безумцы лучшей жизни?

Любое дело вызывает протест синедриона. Сколько было попыток поджечь построенный в центре Иерусалима великолепный театр, какими проклятиями осыпали забавные зрелища надменные саддукеи! А что уж говорить об ипподроме и цирке! Зрителей туда приходилось загонять силой. Музыканты, борцы, актеры подвергались самым жутким оскорблениям, их закидывали гнилыми плодами, их побивали камнями. И это все вместо того, чтобы радоваться праздничным представлениям и, по римскому обычаю, бить в ладоши и щедро одаривать умельцев.

Разве можно забыть тот позор, что дано было ему, Ироду, испытать, когда пригласил он узреть греческую комедию самого наместника Рима грозного Квирина и посланцев Августа, и вместо наслаждения игрой придворных актеров пришлось чуть ли не самому кинуться к сцене, чтобы оградить лицедеев от расправы. В тот же год едва удалось уговорить остаться при дворе учнейшего из мужей — эллинского философа Николу Дамасского: никакие деньги не могли его прельстить, понял эллин, что тщетны все его разъяснения и попытки объяснить строение мира даже тем из иудеев, кто, казалось, изучил и философию, и мудрейшие книги. Все рассыпалось под непоколебимыми доводами завета. И ничего не мог доказать саддукеям не только Никола Дамасский, речи которого, действительно, были уж слишком заумны, но и такие ученые греки, как Андро-

мах и Геммель, знавшие пятикнижье не хуже самого правоверного иудея. Ни просвещение, ни постройка неприступных крепостей, ни возведение храмов и синагог, ни размах торговли не смогли примирить иудеев. И только меч мог разрубить этот узел. Летели под ударами палача головы священников и саддукеев, но на место казненных выдвигались новые, сперва казалось, весьма просвещенные и понимающие, что невозможно возвыситься Иудее, отгороженной от всего мира. Но и эти, новые, оставались верными втайне своему завету и в любой миг готовы были предать. Не они ли, скрыв под хитонами кинжалы, вошли в театр, и это чудо, что ученый лакедемонянин Эврикл сумел проникнуть к ним и разузнать все заранее. Он и его слуга Макл спасли жизнь ему, Ироду. Злоумышленники были подвергнуты самым изощренным пыткам. Казнь их была такой, что, казалось, после сего зрелища никто не посмеет даже подумать о покушении на жизнь царя или окружающих его придворных, но буквально на следующий день после казни в Масличной роще стражей был обнаружен труп бедного слуги Эврикла.

Все боятся смерти — и эллины, и римляне, и храбрые наемники нумидийцы, и даже восточные маги, хранящие тайны мироздания. И он, Ирод Великий, тоже страшится неведомого конца, того мига, когда ты уже становишься не властным над своим телом, когда это тело покрывает земля и разъедают черви. И только уверовавшим в Бога не страшна смерть. О, если бы можно было уподобиться этим диким иудеям, которые шепчут вокруг молитвы, если бы поверить как и они, что смерть не прерывает ничего, что это просто час, когда следует предстать перед всемогущим Ягве. А если это действительно так, сумеет ли оправдаться он, Ирод, перед тем, чье имя приводит в трепет весь Израиль, сумеет ли доказать, что кровь иудеев, пролитая им, это всего лишь дань для будущего величия избранного Ягве народа. Будь сейчас рядом Никола Дамасский, он бы снисходительно улыбнулся, он бы нашел слова одобрения. Философы тоже боятся смерти, но умеют принимать ее как должное. Великий царь не должен кануть в вечность как неопознанный бродяга, как простой иудей, и если есть боги, какими бы именами они ни назывались, они должны прийти на помощь. И невольно для самого себя он, Ирод Великий, стиснутый пот-

ными телами узников, припертый спиной к массивной двери, стал шептать слова иудейской молитвы, и от слов этих его душа несколько успокоилась, и даже мысль о том, что молитва его будет услышана, укрепила и стала той единственной соломинкой, за которую он ухватился.

А потом его охватило безразличие, на рассвете он задремал, впервые в жизни он спал стоя. И когда заскрипел засов, и дверь начала медленно отворяться, он едва не упал на входящего в нее рослого темнокожего стражника, который брезгливо оттолкнул Ирода и выругался на непонятном наречии, скорее всего, это был эфиоп. Никакой возможности что-либо объяснить ему не было. Ирод достал кошелек и потряс им. Мгновенно стражник вырвал из его рук эту последнюю надежду на спасение и грубо оттолкнул локтем. Удар пришелся в ключицу, что-то хрустнуло в предплечье, и правая рука онемела. А за спиной этого первого стражника толпились другие — и не было ни одного знакомого лица, и виделись только озлобленные глаза и оскаленные рты. Потом появился толмач из иудеев и писклявым голосом стал объяснять, чего желает стража. Приказано было выходить, но не толпиться, а также сдать все драгоценности и деньги. И если кто утаит хоть один сикл, то будет казнен здесь же без всякого суда.

Смысл сказанного не все расслышали, не все поняли, что хочет от них стража, но движение началось, узники ринулись к двери, сбились в кучу, рванулись к проходу. Тогда на спины непонятливых обрушились удары бичей. Хлыст задел Ирода по щеке и рассек кожу. И теперь, чтобы избежать очередных ударов, он закрыл руками лицо и постарался двигаться не с краю, а в самой середине потока узников.

Однако и другие поняли, что следует укрыться внутри толпы, и его, обессиленного, быстро вытолкнули к краю, да так, что он чуть не упал и, чтобы удержаться, неловко схватился за плащ легионера. Разъяренный римлянин обнажил короткий меч и готов был пронзить незадачливого узника, когда в руку его вцепился старик-есей Аарон. И столько мольбы было в его глазах и гортанном крике, что воин опустил меч и ограничился тем, что оттолкнул от себя Ирода и выругался.

— Если мы уцелеем, Аарон, ты будешь первосвященником в Иерусалиме, — успел сказать Ирод своему

спасителю, и тотчас их разъединили, потому что влились в поток узников новые мученики, выгнанные из темниц верхнего свода крепостной башни.

Наконец всех загнали во двор, огражденный высоким каменным забором. Плиты песчаника были заляпаны нечистотами и испражнениями, ноги скользили по вонючей слизи, с востока над этим загоном возвышалась сторожевая башня, и лучи уже вставшего солнца не проникали сюда. Перед строем наемников появился римский центурион и встал, расставив ноги и уперев в пояс загорелые руки. Он молча с презрением разглядывал узников. Ирод видел этого центуриона однажды во дворце, но сейчас не мог вспомнить его имени. Скорее всего это был Публий из первой когорты. И, протолкнувшись вперед, Ирод выкрикнул это имя, но центурион не шевельнулся — или не расслышал, или не захотел обращать внимания. Он раздумывал. Может быть, сейчас решал, какую же казнь определить для этих испуганных и жмущихся друг к другу иудеев. Нумидийцы, стоявшие за его спиной, гортанно перекрикивались и щелкали бичами. Центурион повернулся к ним и что-то недовольно буркнул. Вмиг все смолкло.

Перехватив взгляд римлянина, Ирод рванулся вперед, теперь точно вспомнив, что это Публий. Вот римлянин поднял руку и произнес чисто, без всякого акцента, на арамейском наречии:

— Презренные законники! По приказу Ирода Великого с благословения священного императора Августа все вы будете казнены. Кайтесь в грехах перед своим богом! Те же, кто отступит от своего бога и поклянется, что никогда не будет молиться ему, а лишь воздавать хвалы всеильному цезарю Августу, тот будет помилован! Ну, кому из вас дорога жизнь, иудеи?

Никто не шевельнулся, только вздох отчаяния содрогнул узников. Никто не сделал ни одного шага вперед — и не могло даже стоять перед иудеем такого выбора — земной бог или небесный. Любой из них выбрал бы самую мучительную смерть, но не отступничество. И только Ирод понял, что ему послан последний шанс, и сопровождаемый шиканьем, плевками и презрением, стал проталкиваться вперед. Кто-то подставил ножку, Ирод упал на вонючую слизь, и уже не шел, а полз к ногам легионера. И, когда Ирод выпрямился, когда оказался лицом к лицу с Публием — вдруг свершилось чу-

до: центурион растерянно затрясся, опустил голову, склоняясь перед узником, и судорожно взмахнул рукой...

В величественном дворце, воздвигнутом на Сионе и по своей роскоши не уступающем даже дворцу персидского царя царей, стояла зловещая тишина. Великий Ирод не появлялся в дворцовых покоях. Вот уже три дня подряд он провел в своей опочивальне, и даже юная его жена, гибкая египтянка, не была допущена к нему. На четвертый день он приказал прислать массажистов и спустился в банные помещения. Наутро к нему был вызван молчаливый Эктер, ведающий тайным сыском. Великий Ирод приказал своему верному слуге убить центуриона Публия. Никогда не возражавший своему повелителю Эктер попытался объяснить, что это весьма нежелательно, ибо Публий — римский воин из знатного рода и убийство могло бы навлечь на Израиль гнев самого Августа. Ирод усмехнулся и сказал с упреком:

— Ужели ты стал столь боязлив и непонятлив, мой Эктер, поднеси ему чашу, все смертны — и римляне тоже...

И когда Эктер, кивнув в знак того, что все понято и будет исполнено, уже направлялся к дверям, Ирод отдал еще одно распоряжение. Он приказал привести во дворец некоего Аарона из ессеев, того самого, что четыре дня назад был схвачен у храма и обвинен в распространении ереси.

Аарона разыскать не удалось, Публий же после очередной пирушки свалился на пол, корчась от колик, и самые искусные лекари Иерусалима не смогли вернуть его к жизни. Тело его было забальзамировано и отправлено в Рим, чтобы там предать славного воина земле со всеми причитающимися его заслугам почестями.

Ирод пребывал в мрачном настроении, к смятению душевному прибавились и боли физические. Голову сдавливало так, что порой мутился разум, и Великий царь Израиля бился в падучей, изрыгая белую пену. Был и другой недуг — обнаружили на теле язвы, и язвы эти не исчезли — ни после смазывания их ароматными отварами трав, ни после лакричных припарок, сделанных по совету халдейских лекарей. Можно было объяснить

эти болезни гневом божьим, но Ирод понимал, что всему виной годы, которые не прибавляют сил, а напротив, каждый из них поглощает соки жизни и уменьшает срок, отпущенный на земное существование. Все эти боли можно было преодолеть, и не так уж страшны были они, но возникали мучения другого рода, именуемые видениями и не всегда отличимые от яви.

Он приказал усилить охрану дворца, проверить все уголки его и удалить чужеземцев, какими бы знатными послами они ни были. Известно, что с востока под видом послон нередко прибывают в землю обетованную слуги дьявола и отличить их от людей почти невозможно. Все было сделано тщательно, и он сам проверил, как выполняются его приказы.

Однако ночью странно заскрипели двери и сквозняки загуляли в спальнях покоях, а потом крики совы не давали уснуть. И, когда перед рассветом он забылся в полудреме, явилась в платье из белого шелка царица Мариамна. Были извечное презрение в ее глазах и укор, и долго она молча смотрела на него, как бы ожидая, что не выдержит он ее взгляда и замечается по опочивальне. Однако он только усмехнулся, не восприняв ее всерьез, и даже ткнул в нее, понимая, что рука ничего не ощутит, но пальцы уткнулись в тугую плоть, и это ужаснуло его поначалу, но потом он потянулся к ней и желание проснулось в нем. Мариамна почувствовала, что он возжаждал ее, и сказала:

— У тебя было много жен после меня — и страстных, и молодых. Ужели ты не насытил свою плоть? Семя твое страшит меня. Рожать, чтобы потом терять и обливаться слезами, какой в этом смысл? Углубись в вечность, вспомни пророка Иова, каково было ему и что он претерпел — разве поймет это твой ученый эллин? Муки сердца тяжелее всего...

Он и раньше никогда до конца не мог понять ее, ему нужна была ее плоть, а не разум. И теперь притягивало ее тело, оставшееся молодым и гибким, ее продолговатые глаза — глаза газели, ее сочные губы... Все было восхитительно в ней, и лишь багровый рубец на шее портил очарование — он-то знал, откуда этот рубец! И теперь ему было страшно смотреть на этот багровый след, окольцевавший нежную шею. Только бы она молчала, только бы сидела так, не растворяясь в рассветном полумраке! Беда ее была в том, что она слишком

любила рассуждать. Прав был Гиркан, повторяя изречение Талмуда: «Поднимайся ступенью выше, выбирая себе друга; выбирая жену, опускайся ступенью ниже». Он, Ирод, следовал этой заповеди только в первой ее части, его окружали мудрейшие эллины, его возлюбил цезарь Август, надо было прислушаться и ко второй части. Можно ли терпеть от женщины наставления и всякий раз слышать, что говорит она с презрительной усмешкой. Слишком много мнила она о себе и о своей красоте. Слишком кичилась своим происхождением из царственного дома Асмонеев, ее требования приводили в бешенство, и язык ее был главным ее врагом. Да еще и мать Мариамны, коварная Александра, разжигала огонь ее тщеславия.

— Ты не исчезла в царстве теней? Ты сбежала в пустыни хананейские? — спросил он, глядя в ее большие черные глаза.

Но ничего не ответила Мариамна, лишь потупила взор. Была у нее такая привычка — если ей не хотелось отвечать, она делала вид, что не расслышала вопроса. Она всегда только себя и ублажала, только себя.

— Прости меня, Мариамна! Слышишь, прости! — Ирод встал, приблизился к ней и уже хотел пасть на колени, когда она жестом остановила его, и он увидел, как нимб светится в ее волосах, а глаза стали неподвижными и страшными.

— Будь ты проклят! — закричала она. — Будь проклят! Ты погубил сыновей моих Антипатра и Аристубула! Кровь мальчиков на тебе, я вижу, она проступает на твоём челе! Что бы ты ни делал — будет проклято в веках! Ты всегда презирал иудеев, ты не понимал свой народ!

— Ложь! — перебил он Мариамну. — Я делал все для этого народа, я принял ради тебя вашу веру, я сделал обрезание. Разве я не такой же иудей, как все вы?

— Иудеем надо родиться, — возразила Мариамна, — а ты был и остался идумейцем! И все твои дворцы и замки превратятся в песок, а Завет моего народа пребудет в веках!

— Ты врешь, Мариамна, ты врешь! Я сейчас позову палача, ты помнишь его, ты помнишь, как корчилась, когда он жег тебя каленым железом, помнишь, как задыхалась в тугой петле. Я могу повторить все! — он выкрикнул это быстро, проглатывая звуки, чтобы ус-

петь, чтобы выслушала она, чтобы задрожала от страшной угрозы.

Но он не успел испугать ее, ибо лучи солнца уже проникли во дворец и Мариамна растаяла, растворилась в них — и стала недоступна, и не волен был он теперь вызвать ее, а знал, что появится она сама, когда этого захочет, и неизвестно еще, в каком обличии предстанет перед ним в следующий раз. Предлагал Эктер сжечь ее на костре, надо было так и свершить, не хотелось огласки, не хотелось войны с Асмонеями, даже похоронили ее с честью, как царицу, а не как заговорщицу, замышлявшую извести своего повелителя...

Утром слуги нашли Ирода спящим на полу и долго не решались будить его, а к обеду его настиг очередной страшный припадок, и даже египетские лекари не в силах были облегчить его страдания. О болезненном состоянии царя было запрещено говорить, послаам объяснили, что Ирод отправился в провинцию Галилею, где задумано возвести во славу Августа новый город. Ирод же в эти дни предпочитал государственным делам беседы с философом Эвриклом. На него успокаивающе действовал ровный голос ученого мужа, и размышления Эврикла о строении миров и расположении звезд были хотя и не совсем понятны, но завораживали своей неопровержимой логикой. Можно было поверить философу, что нет возврата из царства теней, и нет и не было воскрешения из мертвых, если бы не явления Мариамны, о которых Ирод никому не поведал. Но Эвриклу он решил довериться, и тот выслушал царя внимательно и просил уточнить каждое слово, а потом стал объяснять природу видений, но явно запутался и смутился, ибо при жизни Мариамны был Эврикл ее заступником, а может быть, и тайным возлюбленным.

И пришлось философу отступить от своих убеждений о конечности живой материи и отступить от канонов философии своего учителя Николы Дамаского. «Допустимо, — сказал мудрый Эврикл, — что душа Мариамны не обрела покоя, ее духовная субстанция не потеряла тела, ибо просит она смягчения царского гнева и жаждет остановить льющуюся в Израиле кровь.» Были смутны и расплывчаты эти рассуждения. Ирод кивнул, как бы соглашаясь, но не поверил ни одному слову. Тайные осведомители не раз уже доносили ему, что Эврикл осуждает казни, что даже назвал его, Иро-

да, детоубийцей и сказал Николе Дамасскому, будто только Мариамна могла смягчить жестокий нрав властителя, а после казни ее все ужесточилось и стало нестерпимым в Израиле. Открыто эти мысли Эврикл не высказывал царю и вот только сейчас позволил себе намекнуть на то, что необходимо смягчение. Он, Ирод, и хотел бы простить даже самых ярых своих противников, если бы они не наносили вред государству. Он готов не препятствовать обычаям и законам иудеев. Но пусть поймут, что с Римом нельзя шутить!

Следующая неделя прошла спокойно, донос об очередном заговоре оказался ложным. И казалось, что утихомирился, наконец, многоязычный город. Но это спокойствие напоминало затишье перед грозой. Ироду становилось все хуже. Появились язвы под мышками и сочились гноем. Определить, чем болен Великий царь, не мог никто. Бессонные ночи выматывали и не оставляли никаких сил для ведения государственных дел. Он, всегда презиравший первосвященников, передал в синедрион, чтобы молились за своего царя. Сам же он не в силах был обратиться к иудейскому Богу. Поверить в него — значило зачеркнуть все свои деяния. И в то же время ночами приходили разные мысли — и среди них главная: а вдруг не правы ни римляне, ни греки с их выдуманными богами, с их обожествленными цезарями, а истина заключена в Завете и Бог един для всех, а тайну этого Бога хранят иудеи. От этой мысли проступал холодный пот. Потому что если это так, то именно единого Бога, он, Ирод, предал, когда в рассветных сумерках, ползая по слизи на тюремном дворе, отречением спасал свою жизнь. Нету в живых никого из тех, кто стал свидетелем этого отречения, но если Бог всемогущ и всевидящ, значит, дело не в свидетелях, и никакие молитвы уже не могут спасти. На одно можно рассчитывать, что снизойдет прощение и будет явлена милость за то, что именно этому Богу он, Ирод, воздвиг Храм, воздвиг в центре Иерусалима на века! Неужели и это не смягчит гнев того, кому подвластны все живущие на Земле.

Мысленно он раскаивался и просил прощения за пролитую кровь, но не из глубины души вырывалось это раскаяние, а рождал его страх за собственную жизнь и боязнь адовых мук. И еще порешил он для себя так — если и воистину всемогущ Бог Израила, пусть явит ему

свой знак, пусть пошлет Мариамну и устами ее донесет свое слово. Но напрасно по ночам ждал Ирод явления задушенной царицы, не желал Бог говорить с царем, и никаких вестей, подтверждающих его величие, не было.

И прошел в эти дни слух по Иерусалиму о совершенно, казалось бы, незначительном событии: заговорили все о звезде, взошедшей над Вифлеемом. Говорили, будто узрели эту звезду пастухи, которые содержали ночную стражу у своего стада, и пошли эти пастухи в Вифлеем, потому что услышали пение ангелов, и повели эти ангелы пастухам, что необычное рождение явлено земле Израилевой. Будто увидел свет тот, кто будет властвовать надо всем живущим. Слухи обрастали новыми подробностями, и уже нельзя было отличить истину от наносного вымысла. Даже такие были совсем уж неправдоподобные выдумки — будто ось небес остановилась в момент рождения необычного ребенка, и все замерло, и все было задержано в своем движении.

Слухи эти вызывали усмешки во дворце, но Ирод почему-то воспринял их болезненно, и самое главное, что встревожило его, это то, что явленный миру младенец станет царем надо всеми, а значит, и над Израилем.

Еще говорили, что это не только будущий царь Иудеи, а властелин надо всеми человеками, сын Божий, мессия, и что дано сбыться нареченному у пророка Михея — явится Спаситель из Вифлеема. Но версия эта была сомнительна, потому что выяснили тайные осведомители, что рожден младенец простым плотником из Назарета, а может ли быть пророком и спасителем тот, кто явлен миру из Назарета? И если отец младенца — плотник незнатного рода, то как же может Бог быть отцом его? И еще более нелеп был слух о том, что произошло непорочное зачатие и что жена плотника из Назарета была девой.

Мало ли слухов ходит в Иерусалиме, сколько раз вешали и о конце света, и о божьем суде, и о явлении Илии — а оказывалось все пустым звуком, не более. И во дворце этим слухам значения не придавали и, может быть, забыли бы их через несколько дней, если бы не еще одно событие, связанное с вифлеемским чудом.

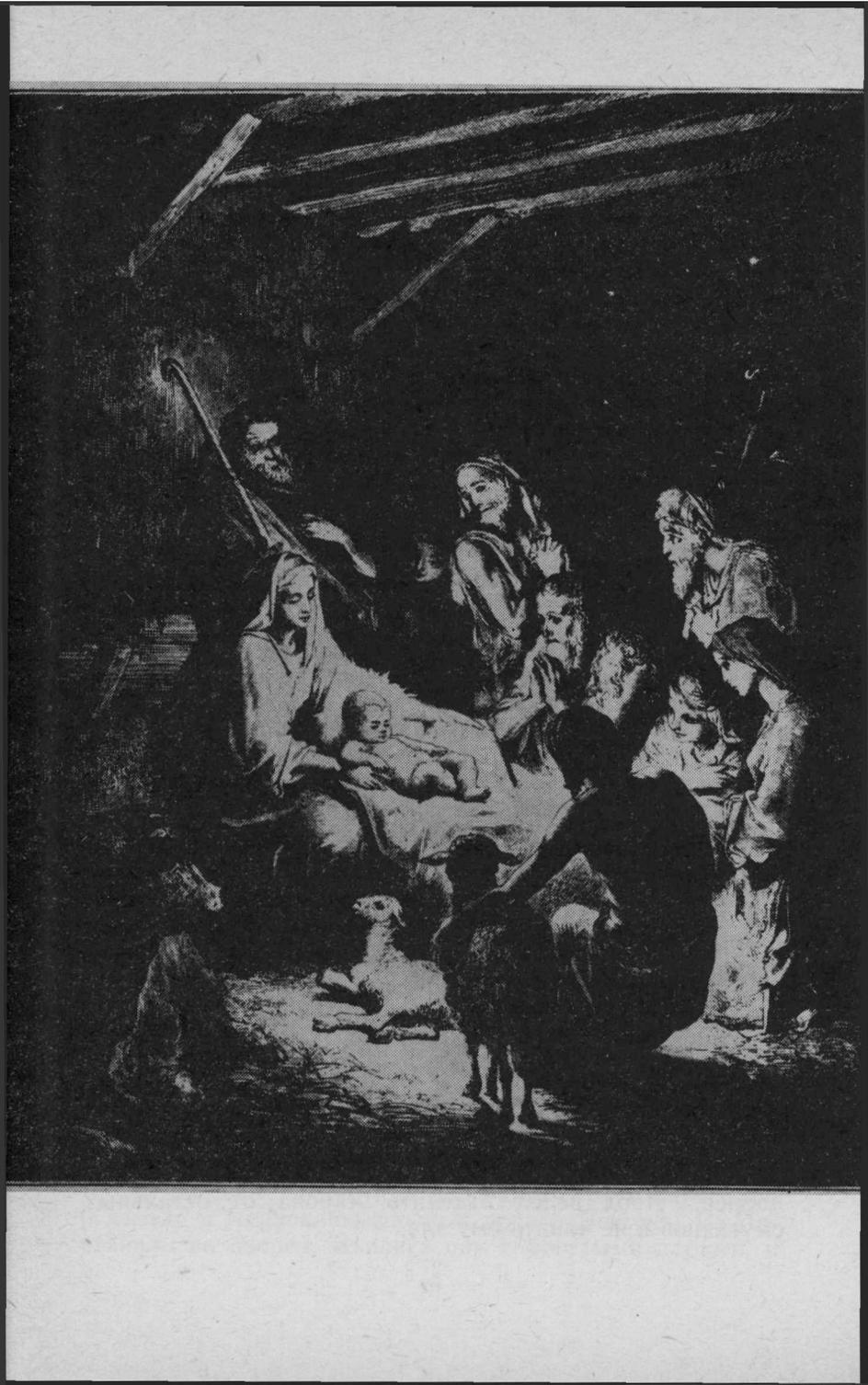
На рассвете возвестили фанфары и стук барабанов о въезде в Иерусалим знатных послов Востока. Их доставили во дворец. Явились они с богатыми дарами, и

предназначены были эти дары не Великому Ироду, царствующему над Иудеей, а все тому же младенцу из Вифлеема, потому что увидели эти послы взошедшую над миром звезду, свидетельствующую о рождении нового царя иудейского. Было послов трое. Старец Мельхиор с длинной седой бородой, опускающейся до самых ног; румяный и безбородый юноша Каспар и чернокожий, сверкающий белками больших глаз Валтасар. Какие державы они представляли, было непонятно, да и выяснилось скоро, что вовсе не послы они, а просто волхвы, каких немало странствует по дорогам Востока. Ирод хотел расправиться с незваными волхвами, но первосвященники отговорили его.

И посоветовал лакедемонянин Эврикл, всегда высказывающий разумные мысли, отпустить волхвов с миром, пусть пойдут в Вифлеем, все увидят своими глазами, а возвратясь, расскажут — правда ли то, что рожден новый царь иудейский или это все вымыслы иерусалимской черни. Так было и решено. И казалось, можно было спокойно ожидать их возврата, но нетерпение иудеев перехлестнуло край, и похоже было на то, что весть о рождении божьего сына была воспринята как призыв к новым волнениям. Были попытки поджечь дворец, а к вечеру толпы иудеев, подстрекаемые раввинами Иудой и Матвеем, сорвали большого бронзового орла, поставленного Иродом над главными воротами, ведущими в Храм.

Эта безумная попытка иудеев в который раз поссорить Ирода с Римом возмутила его. Была учинена в городе облава и пойманы сорок смутьянов, которые оказались учениками Иуды и Матвея. Выяснилось, что это не стихийная попытка черни, всегда стремящейся разорить построенное, а продуманное действие. Ибо не выдержал пыток каленым железом раввин Иуда и показал, что собирались эти смутьяны в пещерах, расположенных в трех стадиях пути от Иорданской долины, и там дали клятву друг другу очистить к приходу мессии город от изображений римских, противных заветам Моисеевым.

Среди этих смутьянов был схвачен и старик-есей по имени Аарон. И спросили у Ирода: не тот ли это иудей, которого Великий царь велел отыскать и доставить во дворец. Ирод велел отделить Аарона от остальных смутьянов и не чинить ему зла.



Было велено также доложить царю, когда вернутся волхвы. Их напрасно ждали уже третий день. Наконец на четвертые сутки сообщил посланный им вослед соглядатай, что исчезли волхвы из Вифлеема и неизвестно, каким путем двигаются они: ни в одном из торговых караванов, проходящем через ворота Иерусалима, они не были замечены, ни в одном из караван-сараяв их не видели. Но рассказали свидетели их пребывания в Вифлееме, что нашли они семейство, в котором родился новый царь иудейский, и щедро одарили младенца, поднеся тому и золото, и ладан, и смирну.

Это известие встретил Ирод очередной вспышкой гнева и приказал смутьянов — учеников Иуды и Матвея — заживо сжечь, а тех, кто распространяет слухи о новом царе, брать под стражу и подвергать бичеванию.

Тревожная зима стояла в Иерусалиме, и холод пронизывал все существо Великого Ирода. Обычно быстро выбирающий решения, он почему-то медлил и не отдавал никаких распоряжений о посылке легионеров в Вифлеем, чтобы пресечь в зародыше опасность, нависшую над престолом.

Было ему неясно, кто же появился на свет в Вифлееме — мессия-спаситель, которого так ждут иудеи, или будущий владелец царского престола. И он старался припомнить все, что услышано было им ранее во время вылазок в город, и ему вспомнились слова старика-ессея Аарона о скором явлении мессии и о том, что будет этот мессия из Вифлеема. Все совпадало, а ведь, по словам Аарона, это было много лет назад записано в книгах и у пророка Даниила, и у Илии, и у Михея, а главное, в тех тайных заветах, что хранились у ессеев.

Ирод велел привести первосвященника. Хитрый и изворотливый, тот ни о чем не хотел говорить прямо, единственное, что удалось узнать, — это то, что не может новый пророк являться из Вифлеема в Иерусалим, что должно ему, как и Моисею, прийти на землю Израиля из Египта. А значит — не спаситель родился в Вифлееме, а тот, кто покусится на царский престол.

Римские и эллинские философы, казалось бы, могущие объяснить любые явления природы, как всегда, высмеивали суеверия и тех раввинов, которые считают, что все записанное в их святых книгах, должно сбыться. Фарисеи и саддукеи уходили от прямого ответа. И тогда Ирод приказал привести к нему старика-ессея Аарона.

Уже стемнело, когда того доставили во дворец. Ирод распорядился оставить их наедине, и в дальних покоях, при свете свечей, лицо старика показалось царю совершенно безжизненным и белым, как соль.

— Ты узнаешь меня, Аарон? — спросил Ирод у старика, склонившегося в низком поклоне.

— Знаю, что ты Великий царь, — ответил старик-ессей, — но зрю тебя впервые.

Ирод усмехнулся и по выражению старика-ессея понял, что тот лукавит, боится признаться, что видел царя в страшные минуты отступничества, потому что понимает — признание может лишить его жизни.

Пообтрепалась одежда у Аарона, сквозь дыры в лоскутах виднелось истощенное тело, и было видно, что немало страданий перенес этот старик за последние дни.

— Ты знаешь, старик, мою власть над Израилем, — сказал Ирод после долгого молчания, — мне нужна истина, и не вздумай уходить от ответа!

— Говори, — сказал старик спокойно, как будто с равным беседовал, тон его был оскорбительным, но Ирод сдержал гнев.

Он спросил старика о вифлеемском младенце, не тот ли это мессия, о котором написано в книгах. Он ждал, что ессей подтвердит слова, услышанные от него в темнице сторожевой башни. Но старик почему-то взволновался, весь напрягся, и сжались его исхудавшие пальцы в костлявые кулаки.

— Нет, нет! — испуганно пробормотал Аарон. — Никому и ничего я не говорил об этом, я слишком долго пребывал в пустыне...

— Мне нужны свитки ессеев, те самые, где записано о приходе мессии, — перебил Ирод лепет старика, — скажи где они, и ты будешь свободен, и я щедро одарю тебя...

— Я не знаю ни о каких свитках, — ответил Аарон, — меня схватили у Храма случайно....

Видят боги он, Ирод, не хотел причинять зла старику, но всякое препирательство имеет свои границы: старик-ессей твердо стоял на своем, он обманывал своего царя — значит, предавал его. И тогда Ирод, уже теряя терпение, стал объяснять старику, что препираться перед царем все равно, что перед Богом, тот проявил еще большую строптивость и даже повысил голос:

— Нет Бога на земле, цари так же смертны, как и все мы, Бог един, и карающий жезл его уже занесен над землей!

Дальнейший разговор терял смысл. Ирод кликнул стражу и велел допросить старика и любым путем добиться у того, где хранятся свитки с заветами у ессеев. Через час, не дождавшись вести о признании старика, Ирод спустился в подземелье, где корчился от нестерпимой боли под ударами бичей вздернутый на крючья старик. Казалось, жизнь едва тлела в его худущем теле, но рот его извергал только проклятия. Каленым железом прижигали его пятки, кожу сдирали лоскутами, но ничего нельзя было добиться. И когда замученный уже почти до смерти старик заметил спускающегося в подземелье Ирода, собрав последние силы, этот безумец выкрикнул:

— Похитивший престол, расхититель гробницы Давида, будь ты проклят! Ты можешь всех уничтожить, но кара божья не минует тебя!

Палач догадался заткнуть рот нечестивцу, воткнув копьё в его морщинистую шею, но даже этот смертельный удар не усмирил немощную плоть старика, и тот продолжал что-то хрипеть, выпуская кровавые пузыри из оскаленной глотки...

Ирод был вне себя от гнева, дикое упрямство и неблагодарность иудеев в который раз подтвердили безумие и ярость этого старика. Нет, пусть твердят они, эти богоизбранные болтуны, что сбывается нареченное в их книгах. Он, Ирод, докажет, что власть царя сильнее жалких буковок, сильнее всех заветов и предсказаний. И злобное, но по его мыслям, самое нужное решение пришло в его разгоряченный обидой и болями бессонниц мозг — надо истребить всех младенцев в Вифлееме...

В ту же ночь в приступе бешеного безумия пытался Ирод покончить с собой, но вошел меч неглубоко и не достиг сердца. И не только черная кровь властителя пролилась в эту ночь, а содрогнулся Израиль от ужасного злодеяния и сбылось реченое через пророка Иеремию: глас слышен, и плач, и рыдания, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не хочет утешиться, ибо их нет.

И утверждали очевидцы — так страшно и невыносимо было детоубийство, что великая праmaterь Израиля мудрая Рахиль, гробница которой находилась близ Виф-

леема, действительно востала из могилы, и стоны ее слились с криками отчаявшихся матерей иудейских.

А во дворце, куда не проникли эти вопли отчаяния, на смертном одре распухший и сжигаемый жаждой корчился в адских судорогах детоубийца, и дни его были сочтены. И никто не осмеливался ему доложить, что не найдено в Вифлееме семейство плотника Иосифа, ибо для спасения младенца совершено им бегство в Египет.

И понимали многие в Иерусалиме, что дано сбыться словам пророка Осии: «Из Египта воззвал я Сына Моего».

Служение в Капернауме

В мягком предзакатном свете все казалось призрачным, постепенно густели тени в маслиновых садах и виноградниках Капернаума, и затекала малиновой пеленой зыблящаяся поверхность Генисаретского озера. Опустела белокаменная синагога, стоящая на вершине холма и возвышающаяся над узкой долиной, в которой лепились один к другому низкие дома, утопающие в густой зелени.

В покинутой всеми синагоге остался только раввин ее, почитаемый галилеянами Бер-Товия. Никто не ждал его в собственном доме: оставила этот свет жена раввина—кроткая и мудрая женщина. И не жили с ним сыновья его, а отправились искать счастья в земли заморские. И некуда было спешить Бер-Товии, если бы не предстоящая суббота — ибо с заходом солнца начиналась она, и надо было успеть приготовить пищу и зажечь субботние свечи. И не было на душе у Бер-Товии благодати и радости, наступающих, как обычно, в преддверии святого дня, ибо впервые в жизни он, ученейший из мужей, знавший всю Тору от первой буквы до последней, не смог найти слов, чтобы прервать ложные речи явившегося сегодня в синагогу странника из соседнего Назарета.

Бер-Товия тяжело вздохнул, снял белый талес с груди, загасил свечи и собрался уходить, когда заскрипела обитая медью дверь и в сумраке вечера появился в просвете ее хозяин маслоделен благочестивый Енох. Всегда державшийся важно и знавший себе цену, он

был растерян, и рука его, сжимавшая посох, вздрагивала.

Поведал Енох с гневом и печалью, что исчезла из дома дочь его Эсфирь, и должен он искать ее, но грядет суббота, и падет грех на душу его, ибо пускается он в дорогу, а потому просит помолиться за него.

— Бог простит твой грех, — сказал Бер-Товия, — но напрасно ты столь взволнован, с молодыми всякое бывает, сидит, возможно, Эсфирь в соседнем доме у пастуха Ахаза...

— Нет ее там, равви, ушла она за тем лжепророком из Назарета, узнал я о том от зилота одного, что от римлян скрывается в пещерах вифсаидских... Не было еще такого позора в Капернауме, и пал он на мою седую голову, видно, грешен я перед всемогущим Богом нашим! — сказал Енох и ударил дважды в каменную плиту своим посохом.

Бер-Товия стал успокаивать его, но бесполезны были слова утешения. И справедливо сказал Енох, что напрасно допустили назарянина в синагогу и позволили безумные слова в молельном доме изрекать. И согласился с ним Бер-Товия: не должно было позволять сие. И стало печально на душе: ужели виноват он, Бер-Товия, что дал говорить страннику и потому принес несчастье другу своему Еноху и дочери его.

— Я разыщу! Он еще пожалеет, что связался с дьяволом и вверг в блуд несмышленных! — воскликнул Енох и резко повернулся к выходу.

— Подожди, Енох, надо собрать людей, — остановил его Бер-Товия, — пойди к старосте синагогальному кожевеннику Шаафу, руки у него сильны и глас трубный, и я, грешный, тоже буду с тобой.

— Я зайду к Шаафу, — согласился Енох, — подожди нас в синагоге, почтенный Бер-Товия.

И ушел Енох, постукивая посохом по каменистой тропе, ведущей к дому старосты, а Бер-Товия забормотал слова молитвы, повернувшись к южной стене синагоги, ибо там, за ней, если пройти десять стадий, раскинулся самый святой город мира — Иерусалим. И стало немного легче на душе у Бер-Товии после молитвы, ибо верил он, что всемогущий Бог никогда не оставит того, кто предан ему и чтит его заветы. И не может быть отвергнута Богом дочь Еноха, кроткая Эсфирь. На глазах Бер-Товии росла девочка и расцвела, как самый божест-

венный цветок в райском саду. А как внимала она проповеди, как смотрела зачарованно своими черными глазами. И рано выучилась грамоте. Не раз они вдвоем попеременно читали о прекрасной Юдифь, избавившей Израиль от поражения в битве против столь бесчисленных войск ассирийских, и еще о той, что тоже звали Эсфирь, и которая в персидском плену сумела спасти свой народ от кровавого Амана, да будет проклято его имя во веки веков. И, вспоминая сейчас об этих чтениях, мысленно покаялся Бер-Товия, ибо понял, что и он виной тому, что ушла из дома дочь Еноха — не надо было читать ей ни про Юдифь, ни про Эсфирь, ибо хотя и были эти женщины избавителями своего народа, но телом своим платили они за это. И полководца ассирийцев жестокого Олоферна казнила Юдифь, вступив в шатер его и обольстив красотой своей, и с царем персидским возлежала Эсфирь и ласки его принимала, верша грех во спасение. Всему свое время, и не может душа, еще неокрепшая, воспринять божественность слов, начертанных в святых писаниях.

И вот теперь прельстил лжепророк непорочную душу обманными посулами. А может статься — захотела дочь Еноха предстать новоявленной Эсфирью и отомстить на зарянину за кощунство. Коли он, Бер-Товия, не смог это сделать — сама решила. А может быть, влечет ее жизнь бродячая и праздная. Темна душа женская. И в любой из них, даже самой кроткой, дьявол сидит, не про Эсфирь будет сказано. Но сколько раз довелось Бер-Товии быть свидетелем тому, что даже в богобоязненном Капернауме оскверняли себя дочери иудейские блудом с язычниками и на голову отцов своих позор навлекали. Ведь сказано у мудрого пророка древних: «Над бесстыдной дочерью поставь крепкую стражу, чтобы та, улучив послабление, не злоупотребила собой. Как томимый жаждой путник открывает уста и пьет самую близкую воду, так она сядет напротив всякого шатра и перед стрелою откроет колчан».

Справедливы эти слова, но не хотелось раввину Бер-Товия верить, что дочь Еноха уподобилась блудницам языческим. Был бы он, Бер-Товия, сейчас молод, не сидел бы, сжавшись, в темной синагоге, а догнал бы этих рыбарей и блудниц, и не увещания были бы его оружием, а копье или палица. А теперь настолько стар он стал, что и слов гневных не смог произнести. Ведь не

случилось бы несчастье, если б утром в синагоге при всех людях доказал он назарянину, что далек тот от Бога и нечестив. И посмеялись бы люди Капернаума, и ушел бы этот странник в свой Назарет. Говорят, что сын плотника он, да и сам плотник... Но не так прост этот сын плотника...

Откуда он знает святое писание? Он, никогда и нигде не учившийся... Ведь в Назарете нет ни Бет-мидраша, ни Бет-раббана, в которых бы набожный юноша мог постигнуть мудрость Торы. А Тору он знает, этого у него не отнимешь... Но стало понятно с первых его слов, что неведомы ему сочинения мудрейших мужей Израиля — раввинов Гиллеля и Шамай. А он, Бер-Товия, имел счастье своими ушами слушать в Храме Иерусалимском проповеди неистового Гиллеля. Книги же древних пророков знал Бер-Товия дословно и, когда читал в синагоге, не надо было заглядывать в свитки, а доставал он священные записи из заветного ларца только потому, что так было заведено, ибо может ошибиться смертный. Велика премудрость прошедших веков, и десять жизней не хватит, чтобы постигнуть ее. Надо быть молодым и не умудренным жизнью бездельником, чтобы решиться оспаривать выбитое на скрижалях. На горе Синай даны всемогущим Богом Законы сынам Израиля, и незыблемы они. Десять заповедей вместили в себя все, на чем стоит мир, и не дано никому добавить к ним хотя бы единое слово. Не раз уже тяжело поплатился Израиль за отступление от священных заповедей. И Храм Соломона царем вавилонским Навуходоносором был разрушен, и второй Храм, отстроенный Зоровавелем, был разорен — вот наказание за отступничество. Ужели не стало это уроком, и вновь кровью придется платить за низвержение святынь и грехи наши? И покарает Бог Капернаум, как города Содом и Гоморра, где был пролит дождь из серы и огня и не дано было никому спастись, кроме семьи праведного Лота. И не найдет Бог в Капернауме подобного Лоту, ибо все внимали речам богохульным. И вот теперь исчезла Эсфирь, и уход ее — знак Божий: оглянитесь и покайтесь — что творите?

От мыслей этих испуганно сжался Бер-Товия и еще раз помолился могущественному Ягве, испрашивая прощения за свои грехи, за грехи прихожан своих и неразумной дочери Еноха — красавицы Эсфирь. И, закончив

молитву, стал искать оправдание себе: откуда он мог знать, о чем будет говорить назарянин, не мог он выгнать его из синагоги: открыты двери ее для каждого иудея. И каждый может собственное толкование прочитанного высказать, на то и мидраш разрешен в синагоге. Имеющий уши да услышит, и нередко бывает, что в мидраше нисходит на человека благословение и устами его Бог говорит. Но не для того мидраш, чтобы опровергать мудрость пророков, а чтобы сильнее проникнуться святостью слов, изреченных древними. И не дано иудеям сотворять себе новых ложных кумиров! Не того ли же кумира хотят видеть в сыне плотника те, кто идет за ним и слушает проповеди его? Кто дал ему право делить паству божью на избранных и отверженных? Твердит неразумно, что богатство — самый страшный грех и что легче верблюда протащить через игольное ушко, нежели богачу удостоиться царства небесного.

Отвергнуть богатых? Если богатые не нужны Богу, кто построит молельные дома? Вот и в Капернауме воздвигнута синагога от щедрот самого богатого римского прозелита — сотника, принявшего иудейство, и мрамор для стен закуплен ни кем иным, как праведным Енохом. И что же, Бог казнит их? И обратит свою милость на нищих и беспечных рыбаей, которые ночуют под открытым небом? И молельные дома их будут в шалашах, а ларец, в котором хранятся священные книги, они заменят ковчегом. И уйдут в пустыню... Там уже появился один новоявленный пророк, именующий себя Крестителем... Возомнил Креститель, что послан самим Богом... И легковверные рыбаи верят ему! Новый мессия! Говорят, что это он объявил сына плотника из Назарета сыном Божьим... «Сын божий» — совратитель дочерей неразумных!

И говорят, что не только словом назарянин обволакивает и привлекает в свои сети доверчивых галилеян, но и творит чудеса, наподобие магов восточных. Превращает воду в вино, излечивает бесноватых, оживляет мертвых. Вот уж поистине, чего проще обмануть галилеянина, если он постоянно жаждет чуда! Любое явление странствующего проповедника для бездельников — истинный праздник... Въехал этот сын плотника в Капернаум, будто он владыка мира сего. Восседал на муле, словно под ним скакун аравийский. И толпы народа вокруг ликующие. Одежды с себя срывали, расстилали

по земле на его пути, а когда сошел он с мула, то ступал по этим одеждам, будто по персидским коврам, и лобзал друзей своих, такую же голь, как и он сам. Непонятно только, почему рыбарь Симон из Вифсаиды пристал к нему. Человек благочестивый, имел свои лодки и сети добротные, а теперь даже имя переменял, стал зваться по-гречески — Петром. Утром пришел Петр в синагогу со своими рыбаками, и этот назарянин с ними. И, когда расселись рыбаки, пропахшие тиной и водорослями, пробрался сын плотника из Назарета в первые ряды, будто и не ведает, что в синагоге каждому свое место определено, что сидят ближе к семисвечнику те, кто щедро дары на алтарь божий приносит. И все знают в Капернауме и должны бы знать в его Назарете этих достойных праведников — десять избранных — ботланам. Даже хазан — хранитель священных свитков — и то восседает за их спинами, не говоря уже о простых левитах. Самого Еноха потеснил сын плотника, и тот молча подвинулся. По одежде вошедшего нельзя было сказать, что это простой плотник, возможно, ради предстоящей субботы обряжен был он в белотканые одежды, и на голове его тесьмой была укреплена белая накидка — кефье, из-под которой ниспадали на плечи волосы цвета спелого ореха, и был он много бледнее вошедших вместе с ним рыбаков, и взгляд у него был необычный, казался, будто зельем дурманящим назарянин опоем. Вид его не вызывал у Бер-Товии каких-либо сомнений, даже обрадовался — вот и еще один праведник! Это уже сейчас вспомнилось: уж слишком пристально разглядывал назарянин женщин, сидящих, как и положено, в стороне за решетчатой перегородкой. Наверное, Эсфирь увидел там... И говорил для нее, чтобы увлечь жаром слов своих. Начал с того, что призвал возлюбить всех, что все сыны божии... А потом голос возвысил и долго говорил о царстве божьем, в котором спасены и блаженны будут только бедные и гонимые... Речи его были полубезумные, и удивляться лишь можно было тому, что внимают его словам прихожане и никто не возвысил голос против него.

И еще говорил сын плотника притчами, будто место в синагоге для подобных измышлений. Сказал, что счастье человека не в имени и богатстве его. И рассмеялся почтенный Енох, ибо всей своей жизнью доказал он обратное. И тогда сказал сын плотника: «У од-

ного человека был хороший урожай в поле, и некуда было его собрать, и рассудил этот человек так: сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: — Душа! Много добра лежит у тебя на многие годы, покайся, ешь, пей, веселись; но Бог сказал ему: — Безумный! В сию ночь душу возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя... А посему не заботьтесь ни для души вашей, что вам есть; ни для тела, во что одеться, душа больше пищи и тело — одежды. Посмотрите на птиц небесных, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их...»

При этих словах не только Енох засмеялся, но и многие из сидящих впереди, да и он сам, Бер-Товия, едва улыбку сдержал. И сказал Енох: «Что же нам, житницы свои разрушить?» И не ответил ему на это ничего сын плотника, а только тихо произнес: «Горе вам, богатые, ибо вы получили уже свое утешение. Горе вам, пресыщенные ныне, ибо взалчете, горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете». И смотрел он на Еноха. Может быть, уже задумал тогда дочери его лишить.

Понял он, Бер-Товия, что надо заставить замолчать сына плотника, и встал со скамьи своей и вышел перед людьми, коих знал долгие годы, ужели поверят они пришельцу чужому, а не ему, раввину синагоги Капернаумской? Говорил о милости божьей и о том, что нет для Бога различия между бедными и богатыми. И сказал о царе Соломоне и о богатстве его, о дворцах его и о женах его. И спросил у сына плотника: ужели и Соломону не уготовано царствие Божье? Ведь не отвратит Бог милости свои от того, кто на золоте ел и в шелка жен обряжал?

И замолчал сын плотника, посмотрел с печалью, вздохнул и не нашел что сказать в ответ. Тогда он, Бер-Товия, добавил о том, что не только Соломон, но и другие мудрые мужи и пророки Израиля от богатств не бежали. И сразу сын плотника вспомнил пророка Исаию и слова его: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не останется места, как будто вы одни поселены на земле...»

И стал назарянин говорить как по-писанному и буд-

то из речей древних пророков, но все же что-то свое высказывал. Напрасно дали назарянину говорить дерзкие речи. Недаром сказано в книге пророков: в словах — слава и бесчестие, и язык человека бывает падением ему...

Вот и довел язык назарянина до бесчестия и блуда. Енох не простит — под землей найдет. Так думал Бер-Товия, и беспокоило его, что медлит Енох и до сих пор народ не собрал. Ужели случилось еще что-нибудь непредвиденное?

Наконец раздался решительный стук, отворилась дверь и, тяжело дыша, вошел в синагогу староста ее, почитаемый всеми кожевник Шааф, а с ним и известный в Капернауме меняля Авишуа. Грешен Бер-Товия, не любил он этого человека: не было правды в белесых и беспокойных глазах Авишуа, и слишком болтлив и вздорен он был. Почему Енох столь ненадежного сподвижника в помощь себе избрал? Другое дело Шааф — хоть и не велик ростом и молчалив синагогальный староста, но Бог одарил его силой необычной, мог Шааф оковы железные на руках разорвать и быка ударом кулака свалить.

— Что же пришли вы только вдвоем? — спросил Бер-Товия. — Или перевелись в Капернауме мужи достойные?

— Спят уже благочестивые люди, — сказал Шааф, — бродит от дома к дому Енох и не видит света в домах праведников, повелел ждать его...

— Надо было собрать побольше сиклей или вина принести, дать рыбалям, они бы сами этого назарянина изгнали, — вступил в разговор Авишуа.

Всех по себе меряет беспокойный Авишуа, подумал Бер-Товия, всё, как считает этот меняля, можно купить, а за амфору вина рыбаля из врага другом сделать.

— А можно было прямо назарянину отдать сто сиклей, от такого бы никто не отказался — бери и покинь город наш, — продолжал Авишуа, и глаза его заблестели. Видно, представил он эту кучу сиклей и прикинул, как бы ему самому за дельный совет долю получить. Ничего даром не делал Авишуа. И усмехнулся Бер-Товия: как объяснить меняле, что мзда здесь бесполезна и откинута будет с презрением.

— Не ты ли, Авишуа, говорил о том, что сей наза-

рянин сикли у менял разбрасывал в Храме Иерусалимском, — сказал Шааф.

— О чем это вы? — спросил Бер-Товия, ибо не знал он, что сын плотника и в святом городе уже успел сумятицу сотворить.

И поведал Авишуа об изгнании торгующих из храма, и были испуг и злоба в его речи одновременно. Лицо его побагровело, глаза сузились. По словам Авишуа, случилось сие в пятнадцатый день месяца нисана, в праздник святой — пейсах, в день опресноков и заклания пасхального агнца. И большой грех в этот праздник с кем-либо счеты сводить и бичем размахивать над головами почтенных людей.

— Большой грех! — согласился Бер-Товия.

Так вышло, что не был Бер-Товия в эти дни в святом городе. Не мог он бросить синагогу свою в Капернауме. Грех и на нем, Бер-Товии, большой. И дал он себе обет, что в следующем году на праздник пейсах будет он в Иерусалиме и принесет в жертву всемогущему Богу агнца.

— Кто это видел, — продолжал Авишуа, — чтобы у Храма менял не было и чтобы нельзя было там агнца купить?

И опять согласился Бер-Товия. И сам он, Бер-Товия, не раз менял у торговцев греческие драхмы и римские сестерции на сикли. Ибо обязан каждый иудей воздавать священникам Храма подать — выкуп за душу свою, и платить надо только сиклями, а не языческими монетами, оскверненными изображениями и надписями. Однако торгующие у Храма и у него, Бер-Товия, вызывали неудовольствие и брезгливость, только молчал он. Если первосвященники не ропщут, то какое дело до всего этого простому раввину из Капернаума. Но воистину грешно торговать во дворах Храма. Товары разложены прямо на земле, проходы загорожены, заполнено все лавками — от Сузских ворот до притвора Соломонова. А столы менял даже в самом Храме можно узреть. Сгоняют к Храму овец бесчисленное множество. И зловонием и нечистотами изгаживают храмовые дворы и притворы. Блеяние овец и звон монет заглушают молитвы праведников. И может быть, прав был этот назарянин, когда за бич взялся?

— И не остановил никто этого разбойника! — продолжал Авишуа. — Столы все он опрокинул, овец из

загонов выпустил, овцы блеют, тычутся со всех сторон, волны мычат, монеты вокруг рассыпаны! А этот назарянин сделал бич из веревок и вращает над головой! И еще сказал во всеуслышанье: мол, разрушите Храм, а я в три дня воздвигну его. Тут и саддукеи не выдержали, окружили его, он говорит: Храм для сынов божьих в душе их...

И хотя не очень верили Бер-Товия и Шааф словам менялы, но то же возмутились: возможно ли такое кощунство, чтобы иудей призывал Храм разрушить. Не будет Храма — отвернется Ягве от народа Израиля. Легко сказать «Храм в душе», а жертвы где приносить, а где трубить, призывая Ягве...

Спорили обо всем этом шумно и не заметили они, как появился в раскрытых дверях незнакомый им человек, и когда пожелал он мира дому сему, обернулись они, увидели вошедшего и смолкли одновременно.

И удивился Бер-Товия: на ловца и зверь бежит, вот ищет его Енох, народ собирает, а назарянин сам явился. И синагогальный староста Шааф насторожился, стал потихоньку к вошедшему приближаться. И сказал вошедший: «Я слышал, ищите вы брата моего?»

Не понял никто его вопроса, и подумал Бер-Товия: сейчас притчу расскажет, и со свечой в руках подошел ближе. Очень похож был этот человек на сына плотника из Назарета — такие же волосы, лицо, только вот глаза смотрят злобно и руки не такие, как у назарянина, а более жилистые и со следами ссадин.

— Говори, — подступил к вошедшему Шааф, — зачем сманил дочь почтенного Еноха, отвечай как перед Богом!

Человек отшатнулся, даже руку поднял, как бы лицо защищая от удара, и сказал:

— Брат я тому, кого ищите, и не враг я вам, потому что и сам ишу его.

Шааф подозрительно взглянул исподлобья на говорившего, потом отступил на несколько шагов, теперь уже издали рассматривая его. И подумал Бер-Товия: не может брат идти против брата, а явился он сюда, чтобы смутить и отвлечь их, и нельзя словам его верить.

И Авишуа тоже засомневался.

— Так, значит, ты из Назарета? — спросил он. — Тогда поведай нам, кто владеет пастбищами в долине Асохис?

И когда услышал ответ, то подтвердил: истину говоришь — никто, ибо всей общине принадлежат сии луга.

— Почему вы не верите мне, — сказал незнакомец, — с давних пор обитает наш род в Назарете, и отец мой покойный Иосиф, да почивает его дух в райских садах, ведет свой род от колена Давидова.

И поняли они, что не вводит их в обман этот человек, и выслушали его.

И поведал он, что зовут его Иосия, и что он сам и братья его плотники в Назарете, и что плуги, которые выделывают они, по крепости не хуже заморских, и что рано они лишились матери, но обрели добрую заступницу в той, которую отец в жены избрал, и что нет добрее ее во всем Назарете. И кровью обливается сердце, когда смотришь на нее, истомленную печалью, ибо сын ее, Иешуа, приходящийся сводным братом ему, Иосии, покинул родной дом. И дал слово он, Иосия, жене отца своего покойного Марии, что вернет к родному очагу блудного сына. И не для того покойный отец Иосиф обучал ремеслу плотницкому Иешуа, чтобы тот стал бродягой галилейским. И можно ли найти на земле человека, который подобно Иешуа, променял жизнь в Назарете на скитания бездомные. Ибо истинный рай сотворил Бог наш в Назарете...

Промолчал, не стал спорить Бер-Товия, хотя и считал, что нет в мире места боле прекрасного, чем Капернаум. Хотя и Назарет красив, и надлежит человеку любить место, где он на свет произошел, но не сравнится Назарет с Капернаумом! Был не единожды Бер-Товия в Назарете, взбирался на горы назаретские, блистающие зеленью изумрудной на склонах и снегами первозданными на вершинах, но от гор не только красоты, но и стеснение для домов происходит, и сумрак нисходит. Нет в Капернауме высоких гор, зато сады изобильные и равнины в цветах подобно смарагду блистают. Но надо признать — лесов в изобилии близ Назарета, там и дубы произрастают, и кедры могучие. Для плотника всегда там найдется дерево, и прав брат его Иосия, грешно ремесло, отцом данное, отвергать.

— Плотником он был, — продолжал Иосия, — но не думал о работе своей, строгает ствол и не смотрит на него, а потом заметили мы — заговариваться стал. Это отец покойный виновен — к святым писаниям его при-

учил, вот он и стал из этих писаний все повторять, но добро бы только из них, а то ведь, что выдумал: будто отец ему не родной, а есть Отец небесный. И теперь рыбаки его Мессией называют, по-греческому, Христос. Если он Мессия, то кто тогда я? И не один ли отец у нас — плотник Иосиф! Хотел я с братьями проучить Иешуа, да жалко стало, хило его тело, да и стал он виниться перед нами, мол нету у него злого умысла и нет вины в том, что Бог его устами истину вещает. Когда был жив еще отец, а Иешуа двенадцать лет минуло, взяли его родители с собой на праздники в Иерусалим, так он вздумал остаться в Храме, в спор со священниками вступил. Надо возвращаться в Назарет, хватились — нет его. Нашли с трудом в прихрамовой палате четырехугольников, сидящим у ног священников. Мария кинулась к нему: «Чадо! Что сделал с нами? Вот отец твой и я с великой скорбью искали тебя...» И он отверг их: «Зачем было вам искать меня? Или вы не знали, что мне должно быть в том, что принадлежит Отцу моему?» С трудом увели тогда его из Храма...

Добром все это не кончилось. Когда подрос он, возмнил себя самым праведным на земле Израиля, прежде равинов посчитал себя, в синагоге назаретской изрек, что он и есть тот самый Мессия, о коем еще пророк Исаия возвещал. Возмутились мужи назаретские: какой Мессия? Ты сын плотника, и простая женщина, нами чтимая Мария, тебя в лоне своем носила. А он в ответ: не сыновья ли пастухов были пророки наши? И своим недомыслием вызвал гнев назарян, вытолкнули его из синагоги, вывели за город, повлекли на вершину горы, на скалистый обрыв и хотели сбросить его. Но подоспели мы, братья его, я, Иаков и Симон. Так он вместо благодарности отверг нас: не вы, мол, спасли меня, а так Отцу небесному было угодно. Не пробил еще мой час. И еще изрек: нет пророка в своем отечестве. Вот и покинул дом свой, не смилив гордыни своей. И дал обет я Марии вернуть его...

Молча выслушали они Иосию, и, когда закончил он рассказ свой, посочувствовали ему, и возмутился Авишуа:

— Доколе терпеть будем поношение законов божьих лжепророками, бичевать, камнями побивать их следует!

— Где же Енох, что он медлит, ужели не нашлось людей в Капернауме, могущих образумить отступни-

ка! — воскликнул Шааф. — Спешить надо, суббота близка!

И согласился с ними Бер-Товия: близится день благословенный Богом — суббота, и тогда запретно любое деяние, не дано даже во спасение души заблудшей закон переступить...

Вышли они четверо и постояли у стен синагоги, пока глаза с темнотой свыклись, и спустились вниз по утоптанной тропе. Вела эта тропа к первым двум домам, и в одном из них окно светилось. Жили в этом доме праведный пастух Ахаз и жена его, и сыновья его Иезикия и Овадия. Знал Бер-Товия, что младший — Овадия томился от любви к прекрасной Эсфирь, замечал часто, как смотрит вслед ей этот юноша. И была надежда, что обретут они здесь, в доме пастуха Ахаза, сподвижников и заступников. Но опечаленный сидел Ахаз, и не было сыновей в доме его, и поведал им Ахаз, что ушли они на далекое пастбище и должны были вернуться, чтобы субботу в доме родительском встретить, но нет от них вестей и чует его сердце, что в беду они попали, а сам он стар и немощен и нету сил в ногах, чтобы до горных пастбищ добраться. Успокоили Ахаза и Шааф, и Бер-Товия — что может статья с такими пастухами как Иезикия и Овадия, силой их Бог одарил недюжинной, никакой Голиаф им не страшен.

— Напрасно мы помощи ищем,— сказал Шааф, когда покинули они дом пастуха Ахаза, — думаю, что этот «мессия» в доме жены Симона-рыбаря, всегда там рыбаки ночуют. И Енох, наверное, туда стопы направил...

И снова ушли они в ночь, и смилостивился над ними Господь, взошла полная луна, и в свете ее призрачном еще желтее стали стены домов и серебристее листья смоковниц. И тишина вокруг стояла такая, что каждый их шаг был отчетливо слышен и каждый шорох, когда задевали они ветви деревьев, плотно обступивших узкую песчаную дорогу. И вот на самой окраине увидели они, что горит костер подле дома жены Симона-рыбаря, и пошли на свет от пламени этого костра и увидели людей подле огня. Никто не заметил, как подошли они к дому и встали у изгороди, опершись на жерди, укрепленные на столбах тесаных.

А во дворе на сетях и на лодках перевернутых сидели рыбаки и пахари капернаумские, и в отблесках костра было видно, что взоры их обращены к тому, кого

именуют они Иисусом. И узнал в нем Бер-Товия назарянина и понял, что произносят его имя, Иешуа, на греческий или сирийский лад, а потому Иисус. Сидел рядом с ним молодой рыбарь из Вифсаиды Филипп — то ли грек, то ли иудей, в синагогу он ходил, но редко. Был здесь и Варфоломей из Каны Галилейской, человек прямой, в котором нет лукавства, и грустный Нафанаил, без молитвы никогда к работе не приступавший. Доверчивые рыбаки, что нашли они в этом лжепророке? У многих из них чаши с вином были в руках, а на углях подле костра поджаривалась рыба, и запах пряностей, исходящий из котла, подвешанного над костром, вызывал желание выйти из темноты и зачерпнуть свежей ухи и возрадоваться пище, дарованной Богом. Но не до еды сейчас было Бер-Товии, всматривался он пристально, отыскивая взглядом дочь Еноха прекрасную Эсфирь.

Сидели у костра несколько женщин, но ни одна из них не была схожа с Эсфирью. Были среди них и блудницы, известные по всей Галилее, и подивился Бер-Товия тому, что не гонят их со двора рыбаки, и ужаснулся развращению нравов капернаумских. Но, благодарение Богу, не было среди них Эсфири. А может быть, затаилась она в доме в страхе перед гневом отца своего? Но почему не пришел сюда Енох? Почему не привел людей из домов окрестных? Ужели что-то случилось с ним? Какое-то смутное беспокойство охватило Бер-Товию, и понял он, что нельзя более ждать Еноха, а надо самому все выяснить до конца. И нельзя быть терпимым к людям, заветы нарушающим. Грядет суббота, а рыбаки разожгли костер, и, что еще постыднее, пьют вино и поста не блюдут.

Надо рыбака оградить от греха, люди они богобоязненные, трудятся от рассвета до зари, молитвы Ягве воздают в синагоге — затмение на них сейчас нашло, и разум их помутился. Строятся они всегда и блудниц, и мытарей, а теперь сидят рядом. И мытарь Матфей, презираемый в Капернауме, обнял Андрея брата Симона. И женщины — блудницы вифсаидские, рыбаки улыбаются. И среди них Мария из Магдалы, вот уж кого нельзя и близко подпускать к Капернауму! Но сидит она смиренно и глаз с назарянина не сводит.

Дивился всему этому Бер-Товия и не сразу заметил, что нет рядом с ним ни Шаафа, ни Иосии. Только Ави-

шуа притаился за кустом терновника. И тогда вошел Бер-Товия во двор и направился к рыбалям.

Решил он все высказать назарянину и ответа за соблазненную Эсфирь потребовать. Но опередил его Иосия, непонятно откуда появился он, но уже стоял рядом с братом своим.

Тот, кого он называл Иешуа, а рыбаки Иисусом и Мессией, даже взглядом не повел в его сторону и продолжал о чем-то говорить с Симоном, называя того Петром. Утверждал, что Симон этот будет камнем — основой для учения нового. И тогда возвысил голос свой Иосия, и обратили рыбаки взоры на него, дивясь схожестью Иосия со своим Мессией.

— Брат мой! — воскликнул Иосия. — Опомнись! Памятью отца нашего Иосифа заклинаю, покайся! Иешуа, брат мой!

Иисус посмотрел на него с недоумением, будто видел впервые, потом плавно повел рукой поверх голов сидящих и сказал:

— Вот братья мои! И Отец небесный возлюбил их. Блаженны они, — чистые сердцем, ибо они Бога узрят. И блаженны все изгнанные за правду. С ними пребуду я...

И не выдержал Бер-Товия, вышел он прямо к костру, и смолкли все, глядя на него, ибо не было во всей Галилее человека, который бы не знал раввина синагоги капернаумской. Тогда повернулся Бер-Товия к Иисусу, восседавшему на сетях, и сказал, выделяя каждое слово:

— Не знает человек смертный, вовлекающий в грехи другого, что ждет за сие расплата в геенне огненной. Еще древний пророк Иеремия изрек: между народом моим находятся нечестивые; сторожат, как птицеловы, припадают к земле, ставят ловушки и уловляют людей. Как клетка, наполненная птицами, дома их полны обмана... Но грядет суд Божий, и за дочь соблазненную, не будет прощения!

И тут Симон, именуемый Петром, встал и подошел вплотную к Бер-Товии, посмотрел на него удивленно и спросил:

— О ком ты, равви, праздник у нас, сын Божий с нами! Если речения твои гневные о Марии из Магдалы, то покаялась она, и отпущены ей грехи ее многие...

— Разве о ней речь, Симон, печалюсь я о дочке

Еноха, кроткой Эсфирь, ее вовлекли в сети блуда! — сказал Бер-Товия, смягчив голос свой, ибо любил он Симона, человека праведного и доброго.

— Нет ее среди нас, — вмешался брат Симона Андрей — и напрасен гнев твой, равви, чисты мы перед Богом!

— Ты сказал, чисты? — возмутился Бер-Товия. — Грядет суббота, а готовы ли вы к встрече с ней? Великий пост сегодня — а вы пиршествуете. И пьете с блудницами и мытарями! И тот, кого называете вы Иисусом, как стадо заблудших овец, гонит вас к мукам черным. Какой же он сын Божий, коли в грехах погряз!

И, выслушав Бер-Товию, поднялся Иисус с сетей и посмотрел на него с укором, и сказал тихо:

— Равви, если бы сие изрек другой — улыбнулся бы я над его глупостью, но ты, воздающий денно и ночью молитвы Отцу небесному, ужели ослеп и пелена глаза твои закрыла. Иди и смотри! Пришел Иоанн-предтеча, не ест, не пьет, и говорят: в нем бес; пришел сын человеческий, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.. И изгоняют его за правду...

— Ждет Мессию весь Израиль, — сказал Бер-Товия, — и ежели явит его Ягве — Бог наш милостливый и всемогущий, ужели этот Мессия пойдет к грешникам, к мытарям и блудницам, а не к праведным сынам Израиля...

— Не здоровые имеют нужду во враче, а больные,— сказал Иисус, и взор его устремился вверх, туда, где на темно-синем небе мерцали крупные звезды.

И понял Бер-Товия, что бесполезны слова, но не хотел отступать и выкрикнул:

— Пир твой подобен блуду языческому, ибо лишь язычники в ночи безумствуют у костров, и не блюдут они постов, заповеданных Богом!

— Могут ли поститься сыны чертога брачного, когда с ними жених? — спросил Иисус, и сам себе ответил.— Доколе с ними жених, не могут поститься...

Не понял его ответ Бер-Товия: о каком женихе речь, ужели брат Симона, владелец лодок рыбацких, Андрей ввел невесту в дом свой? И повернулся он к Симону, чтобы расспросить того, но в это время послышался шум за изгородью, будто там у деревьев кто-то упал, потом топот донесся и крик. И услышал Бер-Товия, что зовет его Енох, и выбежал ему навстречу.

Задышался Енох, будто спасался он от погони, и даже в полутьме было видно, что одежда на нем мокрая, разорванная, рядом с ним суетился юноша, и не сразу распознал в нем Бер-Товия пастуха Овадия. Голова у Овадия была замотана платком, из-под которого сочилась кровь.

Овадия склонился к земле, там под смоковницей лежала женщина, и была она безмолвна, только изредка стон вырывался из ее груди. «Эсфирь, потерпи Эсфирь, сейчас взойдем в дом твой, потерпи!» — тихим голосом просил Овадия. Но Эсфирь, — а это была она, дочь Еноха, — ничего не отвечала своему возлюбленному. Бер-Товия тоже склонился к ней, пытаюсь облегчить ее страдания, приподнял ее голову.

Дыхание ее становилось все сдавленнее. Бер-Товия не мог понять, что же произошло, попытался спросить Еноха.

— Не допытывайся, — сказал Енох. — Нужен лекарь. Поспеши, Бер-Товия! С трудом отбили мы дочь мою у зелотов, и, если не спасем ее, не хочу я более жить на этой земле!

И поспешил Бер-Товия, сколько хватало сил, к дому лекаря Иеремии, и молил Бога — всемогущего Ягве, чтобы смилостивился над Эсфирью безгрешной, и чтобы Иеремиа дома оказался.

Но не услышал Ягве его молитвы, пуст был дом лекаря, напрасно будил Бер-Товия соседей его, ибо не знали они, где разыскать Иеремию, поведали только, что ушел он в Вифсаиду, где в тяжелой горячке мучился слуга сотника, того самого сотника, дарами которого синагога воздвигнута. И понял Бер-Товия, что не хватит ему сил дойти до Вифсаиды, что будет он брести туда до рассвета, а помощь нужна скорая, и если даже приведет он лекаря, может статься, поздно уже будет. И еще страшнее то, что придется идти в субботу, и примут они на себя грех великий. А она уже началась, благословенная и освященная Богом суббота, но не несла она благодати в сердце Бер-Товии. Забрехала светом кромка неба на востоке, новый день уже занимался.. Ужели ввергнет этот день в печаль Капернаум, ибо нет человека в городе, которому не мила была бы прекрасная дочь Еноха.

Вошел виновато и нерешительно Бер-Товия в дом Еноха, ожидая самого худшего, и слезы увлажнили гла-

за его, и вдруг неожиданная радость — услышал он знакомый и оживленный голос Эсфири. Бросился он в растворенные двери, и Эсфирь протянула ему руки, была она бледна, но оттого еще ярче сияли прекрасные глаза ее, и лился из них воистину ангельский свет. И воскликнул Енох, увидев Бер-Товию:

— Чудо великое свершилось! Спасена дочь моя!

И наперебой стали рассказывать Бер-Товии и Енох, и дочь его Эсфирь, и староста синагогальный Шааф, как, не дождавшись лекаря, пошли они в дом Симона рыбака, и как, ни о чем не расспрашивая, пошел с ними Иисус из Назарета, и не верили они, что спасет он Эсфирь, ибо та уже задыхалась и в забытье была. Но вошел Иисус и молча возложил руки на ее голову, и встала она с постели, и прошептала: Благодарю тебя, Господи!

Возрадовался Бер-Товия вместе со всеми и возблагодарил Бога, однако не было в нем веры в то, что именно Иисус спас дочку Еноха. Могло совпасть все — молодая она, и были в ней силы жизни, вот и поборола она болезнь. Но не стал высказывать свои сомнения Бер-Товия. И вошел в дом пастух Овадия, и улыбнулся ему Бер-Товия. И счастлив мог стать тот, кто видел, с какой нежностью взял Овадия за руку Эсфирь и глядел в глаза ее. Сам Овадия был изранен в эту ночь, повязку с головы он снял, и теперь был виден шрам на его лбу и кровь засохшая на переносице.

И вышли они — Бер-Товия, Енох и Шааф — из опочивальни, чтобы счастьем молодых не мешать своими разговорами. И поведал Енох, что случилось в эту ночь с ним, и как он дочь любимую едва не потерял. И сказал он: «Все суета — и богатства, мною нажитые, не нужны мне, коли лишился бы я дитя своего единственного. И теперь уверовал я, что близится царство небесное».

Выслушал Бер-Товия зловещую историю и подивился подлости людской, и во многое не поверил бы, если бы не Енох это поведал, ибо знал: никого и никогда не обманывал Енох в Капернауме. Узнал из его слов Бер-Товия, как едва не лишили жизни невинную Эсфирь и молодого пастуха Овадия, ибо схватили их злоты обманом и жестокое дело замыслили. На любое злодейство способен тот, кто ослеплен ненавистью и за словами о жажде свободы скрывает тщеславие свое. Знал

Бер-Товия, сколь отчаянны зелоты и как не единожды восставали они против притеснений римских. Жизни своей они не щадили, не признавали иного властелина на земле кроме Бога всемогущего Ягве. Помнил Бер-Товия и те времена, — когда восстали зелоты вместе с людьми Иуды из Гамала. Сколько тогда погибло праведных иудеев, сколько в муках жизнь свою закончили, кресты с распятыми вдоль всех дорог стояли. О, как не властен человек над своей судьбой, и поздно поняли те, кто восстал, что только Ягве дано освободить Израиль! И теперь выродились зелоты, коли на народ свой нападают. Схватили пастухов мирных и увели с собой Овадию, а когда попытался он бежать, избили неповинного.

А потом, как поведал Енох, пришли в дом его и сказали доверчивой Эсфири, что возлюбленный ее в руках у разбойников галилейских. И помчалась она выручать его, и попалась, как перепелица в силки, и достигли своей цели зелоты. Послали они своего человека к Еноху и в обман ввели его, ибо сказал их посланник, что дочь Еноха соблазнена сыном плотника из Назарета.

— И я поверил посланцу их и хулу возвел на праведника!— воскликнул с горечью Енох, закончив свой рассказ.

— Зачем затеяли сие безумцы, ужели воюют они с пастухами и женщинами? — спросил Бер-Товия.

— Не о том были мои мысли — зачем затеяно, одно было перед глазами — дочь моя в руках разбойников, и что с ней может статья, я не знал, и не чаял ее живой увидеть, когда плыл по озеру ночному на лодке с рыбаками к пещерам, что на другом берегу Генисарета вырыты и где зелоты укрылись. И, когда напали они, едва лодка в берег ткнулась, не было во мне ни страха, ни милосердия к ним, свалил я двоих, потом меня сзади ударили, но, благодарение Богу, рыбарь выручил. Связали мы зелотов, и признался один из них, что кается он в содеянном, но не было у них другого пути, ибо отказался войти с ними в согласие Иисус из Назарета.

— Зачем же нужен был он зелотам? — спросил Бер-Товия.

— Хотели они, — ответил Енох, — чтобы привел Иисус своих рыбаков в ряды зелотские, и смогли бы они римлян изгнать из Тиверии, но отказался тот, и тог-

да решил отомстить ему и нашими руками с ним расправиться!

— Пойду, — сказал Бер-Товия, — воздам молитвы Богу нашему во имя избавления дочери твоей, Енох, и помолюсь за назарянина и всех грешников.

И распрощался Бер-Товия со всеми, и пошел в дом свой, и там молитвой встретил субботу. Было пусто в доме, но не хотел он ни есть, ни пить. И вынул из ларца свитки заветные и читал весь день о деяниях царей и пророков Израиля. И молился об избавлении народа своего и о приходе на землю обетованную долгожданного Мессии.

А утром с рассветом вышел он из дома своего и, когда поднимался по тропе, ведущей к синагоге, увидел, что двигаются по окрестным дорогам люди в сторону озера Генисаретского. И взошло солнце над ними, и осушило травы, и бликами заиграло на глади вод озерных. И утренний свет влил силы в тело Бер-Товии, и исчезла ночная усталость. И невольно, сам не зная, что влечет его, повернул Бер-Товия от мраморных стен синагоги, не взойдя в нее, и пошел вслед за людьми к берегам Генисаретским.

И окружил народ вершину, травой поросшую, и расселись люди по зеленым склонам ее. И взошел на вершину горы тот, кого именовали Иисусом, и проповедовал заповеди свои. И поначалу не различал Бер-Товия смысл слов его. И билось только в голове одно, ибо повторялось оно Иисусом— блаженны, блаженны, блаженны..

И произнес сидящий рядом с Бер-Товия рыбарь: «Воистину вот он — Мессия, предреченный пророками, ибо Иисус — означает Спаситель...» Иешуа — вспомнил Бер-Товия, так называл его Иосия, что на языке древних книг означает: Его спасение есть Ягве. Мессия должен освободить народ и не только слово нести сынам Израиля, а накормить всех, ведь предначертано у пророков, что встанет он на берегу и повелит морю выбрасывать жемчуг и все сокровища, и будет суд вершить. А этот сын плотника говорит тихим голосом о всепрощении, о покаянии, о любви к врагам своим... И отвергает благодать субботы и пост великий...

И, словно узнав о сомнениях, царивших в душе Бер-Товии, посмотрел Иисус в его сторону и изрек:

— Не думайте, что я пришел нарушить закон или

заветы пророков, не нарушить пришел я, а исполнить...

И полились его слова, и таяли в прозрачном небе, и были эти слова о единении всего живого, о душе и о хлебе насущном. И проникали они в души человеческие. И хотелось поверить Бер-Товию, что сын плотника — и есть тот, кого столько лет чаёт узреть Израиль, что первосвященник он — выше Аарона, пророк — выше Исаии, истинная звезда Иакова и скипетер Израилев. Как хотелось бы в это поверить...

И, когда разошлись все, еще долго сидел Бер-Товия на мягкой траве и смотрел в безоблачное небо, и тихо было вокруг и безмятежно.

И нарушил эту тишину Авишуа. Тащил он на плечах большой куль и кричал:

— Равви, что делается в Капернауме! Енох раздаёт все сокровища свои, и овец своих, и зерно из житниц своих, и жмых масличный...

Отмщение аз воздам

День этот начинался тихо и благостно, и ничто не предвещало беды. Восход солнца встретил Христос с учениками на берегу Генисаретского озера, лежащего среди холмов, подобно опалу, обрамленному зеленью. В час утренней молитвы тишина снизошла на землю, и когда отпели они псалмы давидовы, поднялись из Голубиной долины и вышли к стоянке рыбацких лодок. Расположились под пальмами среди цветущих олеандров. И было так покойно на душе, что слова казались лишними. И вспомнилось многим изречение из Второкнижья: «Бог создал семь озер в земле Ханаанской, но только одно — озеро Генисаретское он избрал для себя одного».

И были среди праведников два брата из Капернаума: умудренный годами и скитаниями Манаил и совсем юный Иезикииль. Был Манаил в прошлом торговец и крещенный Иоанном в водах Иордана уверовал в истину, ниспосланные Богом, и брата своего к святой жизни приобщал. Возлежали они под тенистыми деревьями, и божья благодать оведала им души.

И сказал Иезикииль златокудрый, обличьем схожий с херувимом небесным, обращаясь к брату своему Ма-

наилу: «Возможно ли, брат, что народы возлюбят друг друга, ведь сказано у древних пророков: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего...»

Не стал Манаил повторять брату слова, сказанные Иисусом: «Любить любящих вас — в том ли награда?» Понимал, трудно врагов прощать и злу не противиться. И сколько еще гонений и зла преодолеть дано? Вот и Иоанн Креститель, самый праведный в Израиле, — в темницу брошен. И любви учиться у дождя надо — ни-спадает он на праведных и неправедных в равной мере; у солнца, что светит всем, у озера святого, пищу дающего и иудеям и язычникам.

Здесь, у озера Генисаретского, дано было им очистить душу свою от зла, укрепиться в вере своей. Ибо всего несколько недель назад были жестоко отвергнуты они и на родине Иисуса в ничтожном Назарете, и в главном городе земли Израилевой, суетном Иерусалиме. Здесь же, в солнечной Галилее, теперь обрели приют они среди своих приверженцев, и с пониманием внимали их словам простые рыбаки и пахари, и делили с ними свой кров и пищу. Плавно скользили над тихими и прозрачными водами чайки, важно выхаживали вдоль берегов пеликаны и лишь изредка, нарушая тишину, стучались бортами приткнутые к пологому берегу лодки.

И неожиданно тишину эту нарушил шум торгового каравана. Поднявшись на взгорье, увидели они, как бредут по Иорданской долине мохнатые верблюды и спускаются к бродам близ Иерихона. И предстал перед ними проводник торгового каравана в запыленных одеждах и темный от загара. И узнали они в нем галилеянина Нафанаила. И страшна была его весть: «Жестокое убийство свершено в крепости у Мертвого моря, и безмерная скорбь стоит вокруг».

Поведал Нафанаил, что гнусно и подло лишен жизни в крепости Махеро тот, кого ждали они здесь, на берегах Генисарета, веря, что вырвется предтеча из мрачной темницы.

— Может быть, ты все напутал, странник Нафанаил! — выкрикнул Манаил, и были полны гнева слова его.

— Нет, Манаил, — ответил проводник караванов Нафанаил, — был я сам во дворце, когда отсеченную

голову Крестителя на блюде к возлежащим на пиру вынесли.

Говорил проводник на смеси греческого и арамейского речения, не все было понятно в его рассказе, и не только Манаилу не хотелось верить его словам. И даже высказал кто-то подозрение: уж не лазутчик ли Ирода Антипы этот Нафанаил, не подослан ли он специально, чтобы запугать их.

Не мог никто представить, что дано было случиться столь жестокому злодеянию, и что смертен неистовый Иоанн, ибо втайне надеялись многие, что в подобии его явлен на грешную землю всемогущий пророк Илия.

Неподвижно сидел Иисус на камне у воды и ни слова не вымолвил, но увидели те, кто был близ него, как влажны стали глаза учителя. И отвернулся он от учеников в глубокой печали и голову склонил на грудь.

И сказал Манаил: «Вчера еще принесли послание Иоанна, верую — объявится предтеча среди нас, и мы еще глас его гневный услышим, и обличит он нас, не вызволивших его из темницы!»

Нафанаил, принесший скорбную весть, стоял опершись на посох и на слова Манаила повел в стороны своей клочковатой бородой и заключил скорбно: «Не слышать более гласа вопиющего и праведного!»

Опечаленные, не притронулись ученики Иисуса к снеди, а сам он встал с замшелого камня и медленно побрел вдоль кромки берега, и казалось издали, что ступает он по глади вод, и те остаются недвижны.

О чем думал он, какие страдания переполняли его душу — не дано было узнать ученикам. Но поняли многие, что со смертью Крестителя может оборваться нить путеводная, и страх многим сковал уста.

Манаил же не находил себе места и метался среди учеников, как раненый зверь. Не один год провел он в пустыне вместе с Иоанном, всей душой прикипел к праведнику и теперь винил себя, что отошел от Крестителя. И последнее послание из темницы от Иоанна было странным, спрашивал он у Иисуса: «Ты ли тот, который должен придти, или ожидать нам другого?» И сейчас понял Манаил, что, предчувствуя гибель свою и не дождавшись помощи от Иисуса, усомнился Иоанн. Принесшие послание поведали, что хотя и содержится Иоанн в темнице, Антипа благоволит к своему пленнику и ведет с ним беседы, и убеждали — ничто не угро-

жает предтече. А может быть, специально успокаивали, чтобы не предприняли приверженцы Иоанна никаких шагов для освобождения его...

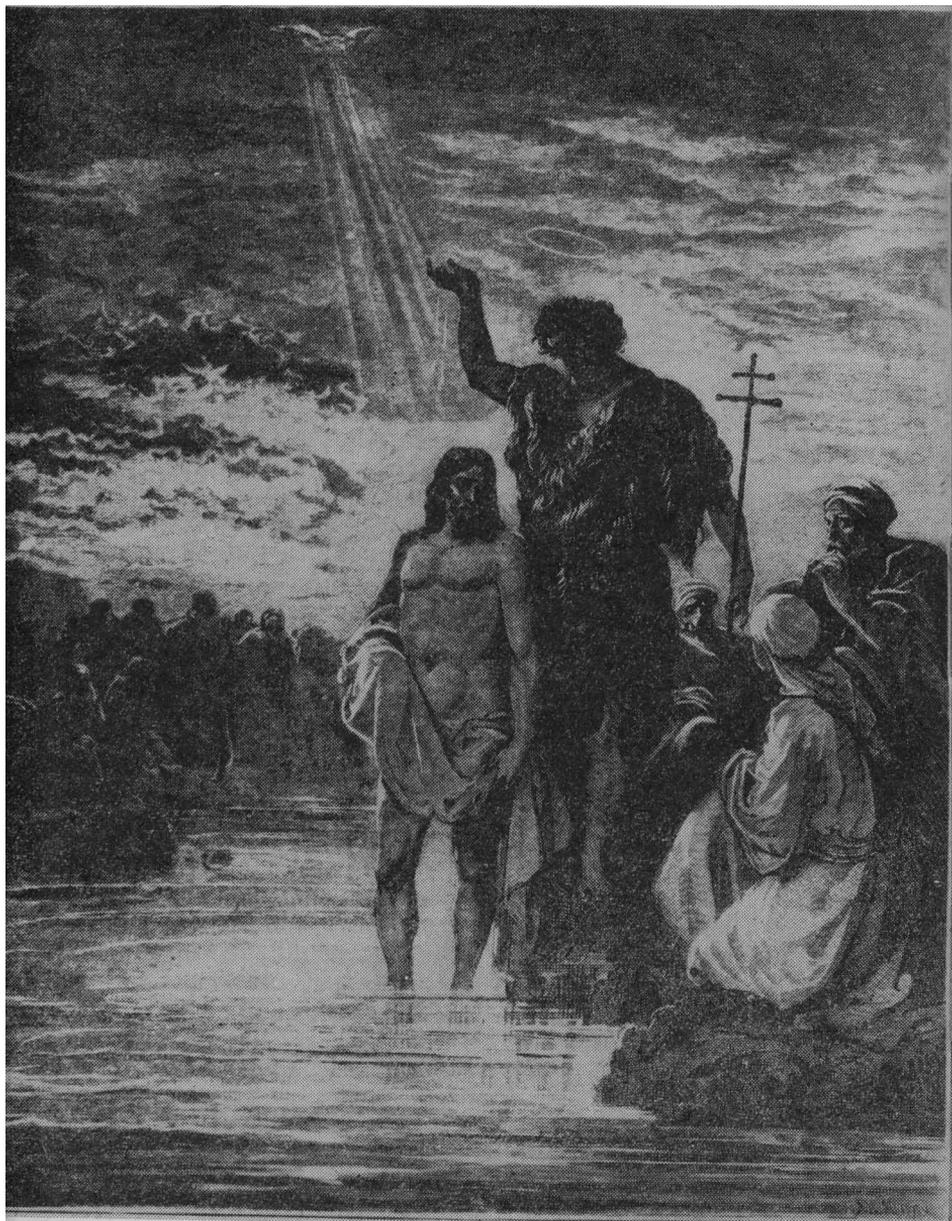
И понял Манаил: предтеча надеялся на Христа, и только в последние дни сомнения подступили к узнику. Ведь не было этих сомнений, когда именно он, Иоанн, первым признал в сыне плотника из Назарета ниспосланного с небес Спасителя. И возвещал об этом денно и ночью. К покаянию призывал народ. И глас Иоанна — глас вопиющего в пустыне — услышан был на всей земле Иудеи. Стекались, как реки с гор, к нему страждущие.

Он, Манаил, тогда был пусть не очень богатым, но известным в Галилее торговцем, и, не встретив Иоанна, продал бы свою душу маммоне. Избавил его Иоанн от грехов суетных и мирской нечестивой жизни. Все раздал он, Манаил, беднякам иерусалимским и брата своего юного Иезикииля увлек за собой.

Пришли они к Иоанну в долину Иорданскую, и крестил их предтеча в водах быстрой реки, и к иной жизни путь их проторил.

Много лет в полном одиночестве провел Иоанн в пустыне, отрекшись от всех земных благ и презрев суетность мирскую. Вид его поначалу отпугивал — нестриженные волосы, большая спутанная борода, одежда из верблюжьих шкур, и глаза пронзительные, горящие праведным гневом. И слова Иоанна были подобны грому. Не было в его речах места лести и страху перед властью предержавшими — не склонился он и перед Тиберием — кесарем римским, и перед прокуратором его Понтием Пилатом, и перед правителем-тетрархом Иродом Антипой, и перед первосвященниками Анной и Каиафой. Ни от кого, кроме Бога, не хотел зависеть яростный Иоанн. Пил он только воду речную, питался акридами и диким медом. И горел в нем огонь священный, испепеляющий ложь и отступничество, и призывал он: «Покайтесь, ибо приблизилось царство небесное!» И как молот, дробящий оковы, были его слова.

Проникся торговец Манаил верой в Крестителя и скитался вместе с ним по пустыне. И понял, что, удалившись от суетного мира, хотел Иоанн сохранить непорочным сердце свое и проторить дорогу в Израиль тому, кто грядет вслед за ним. Поведал Креститель Манаилу, что отвернулся Бог от избранного им народа,



ибо бесчестны пастыри этого народа — саддукеи и фарисеи, ехидны они порождения ехиднины.

Крестил Иоанн в водах Иордана не только Манаила и брата его Иезикииля, шли на омовение и самаряне, и иудеи, и галилеяне, и греки, принимали святое крещение и исповедовались в грехах своих. Казалось в то время Манаилу, что всемогущ Иоанн, ибо те, кто приходил из городов в сомнении и неверии, возвращались из пустыни другими людьми и несли людям слово Крестителя.

Хорошо помнил Манаил и тот день, когда спустился к бродам Иордана у берегов Мертвого моря сын плотника из Назарета Иисус. Был он в простом одеянии, сорочка его спускалась до самых сандалий, но, несмотря на скромность и простоту одежд, жило в нем нечто царственно возвышенное, и глаза его светились добротой и состраданием. И признал сына плотника Иоанн. И показалось Манаилу, что при встрече этих двух, избранных Богом, солнце умерило свой жгучий жар, и благодатная прохлада овевала пустыню, и ожили листья и травы в оазисах, а гордые орлы опустились наземь.

И грозный Креститель, изблотивший грехи громовыми речениями, вдруг смолк и стал робок, как ребенок. Преклонился громовержец перед сыном плотника и сказал смиренно: «Мне надо креститься от тебя, и ты приходишь ко мне?» На что Иисус ответил: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». И рассказывали, что когда вошел Иисус в воды иорданские, чтобы принять крещение Иоанново, раздался глас Божий: «Сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоговение!» Хотел Манаил расспросить об этом Крестителя, но только начал, как тот оборвал его, и понял Манаил — здесь такая тайна заключена, что смертным осознать этого не дано. И бывали также споры у них, суть которых недоступна была Манаилу, но одно стало ясно — не хотел покидать пустыню Креститель, а его крестник уверял, что надо слово нести всему Израилю.

И, когда покинул Иисус пустыню, многие ученики Крестителя пошли за ним, и он, Манаил, тоже пошел, хотя и не хотел оставлять Крестителя, и разрывалась надвое душа, но сам Иоанн, видя его терзания, сказал: «Ступай, Манаил, за ним, ибо я всего лишь приготовляю путь, а Иисус свершит его».

И стало теперь Манаилу одиноко, будто Бог отвернулся от него, и не было слов для молитвы.

К вечеру потемнело небо над Генисаретом, и опустилось солнце в плотные лиловые облака, предвещая ненастье. И подул на следующий день ветер из Аравийской пустыни, взбудоражив гладь Генисаретского озера. Было смятение не только в природе, но и в душах тех, кто следовал за Христом.

И в открытую стали роптать Манаил и брат его Иезикииль. Был Иезикииль слишком молод и горяч, и смирение не было свойственно ему. И хотя очистились братья в пустыне от грехов, но плоть свою усмирить не сумели.

Было просто невмоготу им сидеть вот так в неведении. И крепко решение — отправиться в нелегкий путь к Мертвому морю, на берегах коего воздвигнута крепость Махеро. Если даже и убиен Иоанн, все равно надо идти, чтобы предать земле его тело. И оторопь брала от мысли, что выброшено это тело в крепостной ров, отдано на поругание, на съедение шакалам и гиенам. И еще зрело у братьев решение — отомстить убийцам. Хотя и помнили они слова Христа о том, что не должно быть у человека чувства мести к ближнему своему и врагу своему, но смирить себя не могли.

Когда один из учеников Христа, некто Симон, прозванный Петром, узнал о намерениях братьев, то чело его нахмурилось, и не было одобрения во взоре его, а только печаль и недоумение, но не смог он отговорить братьев от задуманного и сказал: «Видно, душа Иоанна взывает к вам, идите и смотрите...»

А перед тем как пуститься в путь, совершил большой грех Манаил — сбрил бороду, дабы выдать себя за римлянина, и в одежды римские облачился сам и брата своего облачил, и двинулись они в путь, обретя за десять сиклей меч у торговцев из каравана.

Крепость Махеро, куда отправлялись братья, была построена еще Иродом Великим и стояла на границе с Аравией к северу от Мертвого моря. Мрачные крепостные стены скрывали от глаз путников великолепие дворца, где в просторных залах, украшенных золотом и серебром, пируествовал Ирод Антипа. Всегда был полон его дворец, как гранат зернами, иноземными гостями языческими, но более других привечали здесь римских сенаторов и патрициев, сам правитель Сирии и земель

Израилевых — могущественный Квириний был частым гостем в крепости. Знатные римляне прибывали к Антипе, сопровождаемые телохранителями и легионерами, и все они, представители великой империи, чувствовали себя здесь хозяевами.

Манаил, принятый за римского легионера, был незамедлительно пропущен во дворец вместе с братом своим Иезикиилем, и определены были им покои в северной дворцовой башне, куда несмотря на позднее время, расторопные дворцовые слуги тотчас внесли амфоры с финикийским вином и дымящуюся баранину. Вылил Манаил дорогое вино на потухающие угли в очаге и сказал: «Голову дурманить не след нам, пусть думают, что осушили мы амфоры». И замолчал Манаил.

Иезикииль ни жестом, ни словом не мешал ему, с малых лет уверовал он в силу Манаила и во всем подражал ему. Знал Иезикииль, что брат все предусмотрит и своей цели добьется.

Долгое время, прежде чем призвать к себе Иезикииля, жил Манаил среди ессеев в строгости, не предаваясь соблазнам. Потому и принял его Иоанн Креститель, что был Манаил приговорен к жизни подвижнической. Но помнил еще Иезикииль, что не всегда был старший брат таким, что были времена — и вина вкушал, и весельчаком слыл во всей Самарии, и послушать его рассказы было прельстительно, ибо навидался он жизни и бесовской и распутной, побывал и в Риме, и Александрии, и в термах языческих омывался вместе с бесчестными и развратными женами римскими. Теперь не любил о том вспоминать Манаил, да и отмолил он грехи свои в пустыне иорданской. И осталось с тех времен дальних и грешных у Манаила знание говоров языческих, понимал он и римлян, и греков, и персов, да и сам на их наречии говорил бойко. Завидовал брату Иезикииль но не высказывал это, ибо знал, что теперь обрел Манаил другую жизнь. И уверовал вместе с ним Иезикииль, что грядет царство божье, и предтече был также, как и брат, предан душой, и Христа возлюбил за простоту его и мысли просветляющие. И теперь готов был Иезикииль жизнь свою за веру отдать и ждал молча, как брат распорядится.

И ушел старший брат, не объясняя к кому. Под утро только успокоился нечестивый дворец. И все не спал Иезикииль, все вслушивался в шорохи и отдален-

ные голоса. Вернулся Манаил, когда уже посветлело в бойницах, вошел он в покой мрачнее тучи, ибо подтвердилось все, что поведал проводник караванов Нафанаил. Рассказал Манаил Иезикиилю, что нашел он торговца, содержавшего караван-сарай у крепостных стен. Был этот торговец тоже самарянин и жизнью был обязан Манаилу, спасшему его от ножей разбойников галилейских. Обещал этот торговец помочь отыскать тело Иоанна Крестителя. И велел им ждать до полудня, а после полудня обещал прислать к ним слугу, верного человека, который и проведет к крепостным рвам и точное место укажет. А до того советовал братьям никому на глаза не показываться. Попытались они уснуть, чтобы силы сохранить, но не приходил сон к ним. И поведал Манаил брату своему Иезикиилю все, что узнать дано было от торговца самарянина. Не всему можно было верить, ибо жил этот торговец от милостей дворцовых и пользовался покровительством самого Ирода Антипы — тетрарха израильского. И, может быть, потому старался торговец представить тетрарха невиновным в смерти Крестителя. По словам торговца, Ирод Антипа проникся доверием к Иоанну Крестителю и даже подолгу вел беседы со своим узником. И в царские покои приводили Иоанна, скованного цепями, и в темницу к нему спускался Антипа. И беда была в том, как объяснял торговец, что не хотел яростный Иоанн простить грех Антипы и гневно обличал царя, повторяя многократно: «Не должно тебе иметь жену брата твоего». И даже грозил тетрарху, что нарушивший закон Моисея проклят будет и обречен на бесплодие. И от слов этих терзался в душевных муках Антипа и хотел Иоанна выпустить из темницы, но разгневанная жена тетрарха Иродиада не допустила сего и всех приближенных царских настраивала против неистового узника.

— Смягчить бы надо было свой гнев Иоанну, — робко заметил Иезикииль, выслушав брата, — ведь сказано у древних пророков: не судите и не судимы будете...

— Если бы даже знал Креститель, что ждет его, не смолк бы его глас вопиющий! — воскликнул Манаил. — Да будут убийцы прокляты Иеговой, да падут на них, погрязших в грехе и распутстве, все кары небесные! И за власть несправедную и за кровосмесительную связь грядет расплата!

И вспомнился Манаилу Рим, город язычников и пре-

любодеев. И разнузданные римские нравы, которые переняли слепо заблудшие сыны Ирода Великого. Семья сего царя породило ничтожных отступников от веры иудейской. Алчность и похоть бродят в крови и сыновей его, и внуков. Жалкие тетрархи! После смерти Ирода Великого разделили они, как шакалы, страну Израилеву между собой и утратили мудрость Давидову. Лишь один у Ирода Великого был сын — блаженный Филипп, не рвущийся к власти, не в отца он пошел, а схож был душой с невинно убиенной матерью своей — царевной Мариамной. Жил Филипп в Риме в еврейской общине, как простой обыватель, и на горе себе возлюбил Иродиаду, прельстился красотой ее, не разглядел нутра змеиного, лживые чары и ласки ее глаза ему затмили.

Видел Манаил в Риме много женщин, очаровывающих своей красотой. Удалось ему однажды узреть Иродиаду. Был Манаил тогда юн, и кровь молодая бурлила в нем. Застыл он как вкопанный, когда эта женщина неожиданно обратилась к нему на родном языке, и нужен был ей аравийский жемчуг. Манаил не торговал в тот год жемчугом и после некоторой растерянности раскрасневшийся от волнения проводил он Иродиаду к знакомому торговцу из Персии, и был там и смотрел жадно, как эта женщина примеряла переливающиеся нити, и сверкали они на ее смуглой шее, как звезды на небе. Немало торговцев теряли голову одурманенные женскими прелестями, грешен и он во многих прелюбодениях. Нет, он не встретил больше Иродиады, но очень похожая на нее идумейка, тоже жившая в те времена в Риме, вовлекла его в сладкие грехи, и принесла разорение страсть эта. Все, что осталось после податей, заплаченных муниципалиям, все, что не отобрали римские всадники, Манаил отдал идумейской прелестнице.

Были и радости, были и печали, и слезы были в беломраморном Риме на глазах молодого торговца, разоренного похотью. И никто не заметил этих слез, потому что вечный город велик и никому нет дела там до какого-то торговца из Иудеи, да к тому же был повергнут Рим в большой траур. Ибо так совпало. Хоронили римляне сына великого Тиберия. И говорили старики в еврейской общине, что отравил сына Тиберия близкий друг императора всадник Луций Сеян перфект преторианской гвардии. Говорили евреи об этом шепотом, опасаясь быть услышанными, страшась грядущих унижений

и разграблений. Знали, что бы ни случилось — виноваты будут евреи. И были правы седебородые провидцы, ибо после похорон потрясли Рим жестокие погромы и казни, и встали вдоль дорог кресты с распятыми, и стоны приговоренных к мучительной смерти сливались с плачем жен и матерей иудейских.

Поспешно оставил Манаил город, охваченный безумием, и по той же дороге, по которой он отбыл из Рима, промчались, обдавая его пылью, всадники и две колесницы, увозящие из города иудейского тетрарха Ирода Антипу, его многочисленных слуг и женщину необычайной красоты, скрывавшую свое лицо под черной накидкой. Манаил не знал тогда, что была это Иродиада. Лишь потом, в Александрии, где он сумел осесть и, взяв в долг тысячу сестерций, выгодно купить атласные ткани, поведали ему, что в Риме на похоронах сына Тиберия был Ирод Антипа, и что этот тетрарх, находясь в гостях у Филиппа, возжелал жену брата, и что Иродиада не захотела долее оставаться в Риме и жить с Филиппом, не посягавшем на царство и забывшем о том, что он сын Ирода Великого. Не остановило ни Ирода Антипу, ни Иродиаду и то, что Антипа был женат на дочери аравийского эмира, и то, что у Иродиады была дочь, уже вступившая в пору расцвета — Саломея, унаследовавшая красоту своей матери. Красоту и коварство.

О, если бы знать заранее, что предначертано на небесах, что свершится! Ужели бы не выбрал он, Манаил, сразу праведный путь? Надо было исходить множество караванных дорог, погрязнуть в грехе, пасть ниже последнего язычника, чтобы вдруг очнуться среди пустыни — без снеди и одежд, ограбленным и униженным и увидеть крупные звезды в вечном небе и ощутить себя песчинкой в длани господней и понять, что многие годы владела тобой суета сует, что возжаждал ты богатств и не хотел труда своего приложить, а пользовался тем, что сотворили другие, и сбывал перезрелые финики римлянам, мрамор поддельный персам, атлас прогнивший идумейцам, и всех норовил обмануть, чтобы заполучить драхмы, сестерции, динарии, сикли, и изо дня в день, все более погружаясь в вертепы греха, поганил душу свою и отдалял ее от Бога. И надо воздать благодарение разбойникам галилейским, коварно нападшим на караван в пустыне у берегов Мертвого моря, ибо, не

будь их, не встретил бы на пути своем Иоанна, не стал бы другом того, кто воплотил в себе божественную силу пророков. Иоанн спас не только жизнь ему, Манаилу, он спас душу. А что сделал Манаил для своего спасителя, почему не уберег, не остерег его?.. О, если бы знать все заранее! Если бы дано было ведать, что примет учитель мученическую смерть по прихоти Иродиады! Еще тогда, в Риме, можно было все изменить, можно было бы войти в доверие к ней, можно было не допустить бегства ее с Иродом Антипой... Но предугадать события никому не дано, и хотя говорят мудрые ессеи, что все предначертано в книгах пророков Израилевых, но попробуй узнай, какие деяния выпадут именно тебе... Разве можно было даже подумать о том, что Иоанн смертен и что придется тайком пробираться в крепость, чтобы искать тело того, кто светом души своей отвращал от греха и уготовить пришел царство божье...

Казнил себя Манаил думами, и сон не шел к нему, и брат его Иезикииль тоже не сомкнул глаз. Долго и томительно тянулось время, утомлены были и тело и душа, и слух обострен. Бросились они одновременно к дверям, когда раздался условный стук, то явился, наконец, посланец торговца. Был этот посланец — грек, в годах уже, с вислыми усами и потускневшим взором, и ничего утешительного и нового не было в его словах. Просил хозяин его набраться терпения и ждать ночи. Шесть раз уже взошла луна после убийства Иоанна, и мало надежд оставалось на то, что тело Крестителя не растерзано дикими зверями, стаи которых бродят по ночам вокруг крепости Махеро. Нахмурился Манаил и сжал виски ладонями. И, видя страдания брата своего, Иезикииль сказал: «Много прислужников во дворце, есть среди них и галилеяне. Если пойду я, ужели не найду среди них тех, кто укажет мне место, куда брошено было тело Крестителя?»

Долго не соглашался с ним Манаил, хотя и понимал, что идти самому опасно, что быстро разоблачат его, и первый же встречный римский легионер распознает в переодетом иудея. Брат же молод и может не рядиться в чужие одежды, и мало ли юных слуг во дворце схожих обликом с Иезикиилем. И все же какое-то смутное предчувствие томило Манаила. Но невозможно было удержать Иезикииля. И вышел из дверей Иезикииль без плаща в груботканной сорочке, и выглядел он как

обычный галилеянин, нанятый на службу в дворцовые покои. Удалось ему свободно пройти по темным крепостным лестницам и выйти в просторные залы, и никто не обратил внимания на простолоудина, почтительно уступающего дорогу. Ступени крутые и скользкие привели его в помещение, напоминающее геенну огненную. Запахи стояли здесь искусовые — жарились на вертелах дымящиеся туши баранов, бурлил жир в медных котлах, смешивались в амфорах восточные пряности, и везде суетились полуголые потные люди, и кричали на всех языках, будто обрушилась рядом башня вавилонская. Готовилось здесь столько снеди разом, что можно было всем этим накормить досыта не только всю Галилею, но и соседнюю Самарию. Иезикииль миновал очаги, обдавшие жаром, прошел по деревянному настилу к раскрытой двери, и тут его схватил за одежды человек в белом тюрбане и закричал:

— Исчадие злых духов, все уже выполнили свой урок, один ты, как всегда, шляешься без дела, галилеянин!

Получив тычок в шею, Иезикииль поскользнулся и упал бы, не поддержи его, юноша с лицом, измазанным сажей, и плутоватыми глазами. И протолкнул юноша Иезикииля в дышащее смрадом помещение, и помог взвалить на плечи куль, тяжесть которого согнула Иезикииля, и еще не соображая что к чему, он очутился в цепочке людей, бредущих с такими же кулями на плечах, и вышел он вместе с ними через распахнутые двери.

После смрада и духоты жаркой кухни живительный поток свежего воздуха показался истинно райским наслаждением. Иезикииль поправил ношу и побрел вместе со всеми, стараясь запомнить дорогу. И повезло ему — эти кули с отходами снеди надо было сваливать за крепостными рвами. Перебираясь через глыбы песчаника, он уже почти не чувствовал тяжести своей ноши, но, чтобы отстать от бредущих рядом с ним, сделал вид, что устал, и постоянно останавливался. Крепостной ров зиял совсем рядом, каменные глыбы с острыми зубьями окаймляли его края, дно его поросло колючими кустарниками. Иезикииль сбросил с плеча свою ношу и осторожно спустился вниз. Затхлый могильный запах ударил в лицо, ров напоминал ущелье, прорытое в долине злых духов, о котором рассказывал Манаил, ущелье, в котором бесследно исчезали торговые караваны. Иези-

кииль прошел вдоль рва и вышел к крепостной башне. Башня свисала над самым обрывом. Если и выбрасывают тела казненных в ров, понял он, то именно здесь. Иезикииль остановился, всматриваясь в каждый бугорок. Валялись внизу обломки метательных снарядов, чернели дырявые котлы, разглядел он и покрытые плесенью щиты — следы давних осад, но не было здесь мертвецов...

Иезикииль выбрался из рва подле узких ворот, ведущих в крепостную башню, ворота эти были заперты, надо было искать другой вход. И тут он увидел, как на одном из выступов башни появилась женщина. Склонив изящную шею, она всматривалась в зияющий провал крепостного рва. Иезикииль, затаив дыхание, разглядывал ее. Женщина была совсем юной, легкий ветерок играл прядями ее волос, и даже издали было видно, как прекрасны ее большие черные глаза, будто два драгоценных камня сверкали они, обнаженные руки ее были смуглы, одеяние ее было столь прозрачно, что вся она казалась обнаженной. Иезикииль протер глаза — уж не видение ли это? Не носят женщины Израиля прозрачных одежд, прячут от незнакомцев даже лицо свое, великим грехом считают не только прелюбодеяние, но даже мысли об этом... Конечно, все это только грезится. Случалось подобное в пустыне Иорданской, когда очищались ученики Иоанновы от греха многодневными молитвами и постились, однако проникал дьявол в плоть и из лунного света ткал видения сладких соблазнов. Неужели и здесь, в крепости, когда все помыслы устремлены к отысканию тела Иоаннова, снова дьявол дразнит и жгет тело, искушая нечестивым видением? Иезикииль знал, что надо сотворить молитву, но неведомая сила толкала его вперед, и он уже не шел, а почти бежал и остановился только тогда, когда натолкнулся на холодный и неровный камень крепостной башни. А сверху та, что казалась видением, улыбнулась прельстительно и выдохнула: «Кто ты? Ангел божий? Галилеянин?» И, почему-то не дожидаясь ответа, захохотала дробно и мелодично и исчезла, как будто слилась с башенной стеной.

И в этот момент кто-то, бесшумно приблизившись к Иезикиилю, хлопнул его по плечу, и вздрогнул Иезикииль, а когда обернулся — узрел юношу с плутоватыми глазами.

— Кто она?—нетерпеливо спросил Иезикииль.

И когда юноша ответил, что это Саломея, дочь жены правителя — Иродиады, кровь ударила в голову Иезикииля. Как же он мог восхититься той, которая возжелала смерти Крестителя! Ужели это и есть Саломея, столь прекрасная обличем, но столь развращенная и коварная, что даже римские блудницы в сравнении с ней кажутся праведницами.

— Ну, что ты застыл как вкопанный, — сказал юноша, — ты видно из новичков? Ты из вольных или раб?

— Я прибыл недавно из Капернаума, — ответил Иезикииль, — я из вольных.

Юноша поверил его словам. Звали этого юношу Исаак, и был он родом из Яффы, родители его умерли, не оставив после себя ничего, кроме полуразрушенного дома, скорее похожего на шалаш, чем на прочное жилище. И ничего не оставалось ему как пойти в прислужники дворцовые.

— Здесь во дворце и сытно и веселья, вроде, много, — сказал Исаак, — но тоска, приходится всегда держать язык за зубами, и кусок выбирать по себе. Если бы не я, а кто-либо из надсмотрщиков увидел, как ты уставишь взор свой на Саломею, тебе бы не сносить головы. Попроси, чтобы тебя определили на ночлег в покои под нижней террасой, там у нас своя братия, есть даже двое из твоего Капернаума...

Иезикииль кивнул и, объяснив, что ему надо еще предстать перед своим хозяином, зашпешил к крепостным воротам.

Манаил ждал его, и понял Иезикииль, что расстроен брат и чем-то озабочен. Выслушав Иезикииля, Манаил оживился: стать уборщиком отходов из дворцовой кухни — большая удача, плохо одно — не надо было сблизиться с незнакомым юношей, теперь тот из самых добрых намерений станет искать Иезикииля, и расспрашивать всех. Можно ли открыться ему?

Ни словом не обмолвился Иезикииль о том, что видел Саломею, да и стоило ли говорить об этом мимолетном видении. Брат, казалось Иезикиилю, долгое время живший среди ессеев, убежден, что даже в мыслях грешно подумать о женщине; даже взгляд, брошенный на женщину с вожделением, осуждал. Не о том ли и Иисус говорил: всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал в сердце своем...

Так думал Иезикииль, но далек был брат его Манаил от этих мыслей. Другое тревожило Манаила. И произнес он после долгого молчания: «Затаиться придется мне». И опять надолго замолчал, как бы решая — надо ли зарождать семена тревоги в душе младшего брата.

Иезикииль присел рядом с ним, прислонился плечом к груди брата своего. Не имел он права выпрашивать и допытываться — в чем же опасность.

Братья омыли руки, сотворили молитву и перекусили остатками снеди, ибо никто не пришел к ним и не доставил им свежей пищи. Благо, осталось и вино, несколько глотков его породили тепло в крови и рассеяли скованность в мыслях и движениях.

И тогда поведал Манаил брату своему те тревоги и опасения, что легли камнем на его душу. И тревоги эти были не беспричинны. Ибо еще утром не выдержал Манаил и сам отправился на поиски и встретился случайно с римским воином из сирийского легиона. И напрасно обрядился Манаил в римские одежды и бороду сбрил, ибо сразу заподозрил сирийский легионер, что иудей перед ним, а не товарищ по славным финикийским походам. Немало сестерций пришлось пообещать воину, чтобы тот не стал допытываться до истины. И после врученного задатка в сто сиклей даже пообещал римлянин сыскать тело Крестителя, поверив Манаилу, что этот праведник в свое время оказал неоценимую услугу и спас караван, в котором был Манаил, от разбойников галилейских. И сейчас томился Манаил сомнениями и полагал, что может выдать их Ироду Антипе этот воин, ежели тетрарх предложит большую награду, чем сто сиклей...

Не знал обо всем этом Иезикииль, но догадывался, что встали преграды на их пути, и зависть людская, и злоба... И спросил Иезикииль у брата своего:

— Скажи, брат мой, Манаил, ужели в мире зла больше, чем добра и справедливости, и почему слова праведные вызывают не только очищение души, но и коварные деяния?

Манаил слушал без особого внимания, и странными показались ему слова младшего брата.

— Много зла от неведения и сотворения кумиров земных, — сказал Манаил. — Вспомни слова убиенного Иоанна, что вещал он нам в пустыне иорданской: по-

каяться призывал в грехах. А не придет в души людские покаяние, грядет тогда великий гнев Божий, и секира уже лежит у дерева, и дерево прогнившее будет брошено в огонь, и будет сеятелем небесным отобрано зерно от плевел...

— Я помню сии пророчества, — сказал Иезикииль, — гласом громовым вещал их учитель наш, но почему, скажи, должны мы не только покаяться, но и от всего мирского бежать, ужели и не человеки мы, и жен обрести не дано нам, и жилища?

— Все будет, Иезикииль, все будет, — протянул Манаил. — Но бойся соблазнов мирских, ибо девы прельстительные ввергают в геенну огненную. И кара жестока и соблазнителям и соблазненным! А мы с тобой — меч в руке божьей! И отомстить дано нам не только Ироду Антипе, но и коварной Иродиаде, и жестокой Саломее!

— Виноваты ли жены и дочери, не ведающие, что творят? — засомневался Иезикииль. — Ты ведь сам говорил, что не разумением живет женщина, а тягой к похоти...

— Или мало тебе доказательств правоты моих слов! — воскликнул Манаил. — И что может быть страшнее, чтобы сравнить с содеянным, когда блудница за пляску свою голову праведника получает!

Смолк Иезикииль, нечем возразить старшему брату. Но как не хотелось верить в то, что прекрасная женщина, увиденная на крепостной башне, и есть та самая коварная Саломея. Нет, не могла она быть столь кровожадной, это хитрый Ирод Антипа оговорил падчерицу свою, испугался, что убийство Крестителя вызовет возмущения не только в Галилее, но и всего Израйля. И в то же время, по рассказам очевидцев, того же торговца самарянина, если бы не пляска Саломеи, Креститель был бы жив и по сей день. Самарянин все видел своими глазами, затаился в проходе, ведущем из темниц к дворцовым покоям. И пронесли мимо него окровавленную голову Иоанна Крестителя. Поведал торговец, что показалось ему, будто глаза Иоанна, выпученные, большие, живут еще, что крик безмолвный стоит в зрачках праведника. Проклинал торговец Саломею. Но ведь и он не все знает. Кто поведает, о чем сговорились и Антипа Ирод, и жена его, и Саломея. И если мстить, то надо мстить в первую очередь Ироду...

— Ты уверен, брат мой, что голову Иоанна возжелала получить за свои пляски Саломея? — спросил Иезикииль у Манаила. — Возможно ли, что подобное зло родилось в голове юной еще девы?

Манаил будто очнулся, встряхнул головой и с недоумением посмотрел на брата. Ужели тот сомневается, ужели хочет оправдать похотливую блудницу? И ответил он Иезикиилу, повысив голос:

— Не только из уст торговца-самарянина услышал я о содеянном, легионер сирийский на том пиршестве рядом с Квиринием возлежал и тому богохульству свидетель. По наущению Иродиады дочь ее зло вершила, и ведали они, что творят, и знали, что преступают все заповеди и законы...

Манаил закрыл глаза, и желваки на его бритых скулах вздулись, а пальцы рукоятку меча сжали. Понял Иезикииль, что нельзя более докучать вопросами брату, что самому пришла пора решать, и час мести уж близок. Одно мучило Иезикииля — преступить дано заповеди Иисуса. Не завещанное древними «око за око» — возвещал Иисус, а всепрощение, и даже молиться призывал за ненавидящих тебя и гонителей твоих. Да и сам Креститель в иорданской пустыне, зовущий к покаению, научал ближних прощать врагов своих...

Манаила в отличие от брата не мучили никакие сомнения, после рассказа римского легионера откинул он их и понял: легко в пустыне окруженному сподвижниками, вне врагов своих — простить их и молитву даже сотворить о них, но когда сталкиваешься со злом воочию, гаснет в душе терпимость и всепрощение... Да и можно ли простить то изуверство, что царит во дворце тетрарха. Жгло душу Манаила содеянное, и будто своими глазами видел то, что поведали и торговец-самарянин, и римский воин... В пирах и в роскоши погрязшие достойны ли прощения? И ведь никто не взроптал, когда Ирод Антипа вздумал по обычаю язычников свой день рождения праздновать. Возлежали с тетрархом за пиршественным столом не только язычники, но и его советники, и блюстители синедрионские. Конечно, римлянам самые почетные места были отданы. И дары принимал Ирод Антипа. Прислали эти дары из всех городов галилейских, преподнесли жемчужные драгоценности цари восточные, из Рима доставили щиты с изображениями драконов огнедышащих, из Афин статую жен-

щины обнаженной. И не отверг нечестивые подношения Ирод Антипа, а напротив, за каждый подарок благодарил и чаши с вином в честь язычников поднимал, и улыбался льстиво, очерив жадный рот. Играли подле пирующих обученные в Риме флейтистки в прозрачных одеждах, лишённые женской стыдливости. Слабы человеки, и застилает похоть глаза тому, кто забыл заповеди Моисея, не думает грешник о наказании, упивается мигами наслаждения. И танцовщиц из Дамаска привезли, и фонтан устроили, и фейерверк разноцветный зажгли, и опохальщиц призвали, чтобы каждого знатного гостя прохладой овеять и видом своим обольщать... Все сделали, чтобы землю святую, богом данную избранному народу, в римские вертепы превратить и языческим стойбищам уподобить. Извивались перед возлежащими за пиршеством девицы самого грешного и мерзкого вида с оголенными животами и грудями, выставленными на обозрение гостей похотливых. И после возлияний и жирной снеди многие гости в объятиях флейтисток оказались. Говорил торговец-самарянин, что только из Яффы несчетное число амфор доставили караваны, а из Персии особые напитки в бурдюках привезли — не только пьянящие, но и срамные видения вызывающие.

И пресыщенные вином вдруг оживились пирующие — ибо предстало перед ними особо влекущее зрелище. Появилась в конце пира из-за золотом расшитой завесы дочь Иродиады — красавица Саломея, быстрая и стройная, как горная серна. Ужели для свершения жестокого убийства дал Бог ей прельстительную красоту? И закружилась она в неведомом доселе танце, и все взоры обратились к ней, ибо не простая рабыня изгибалась похотливо, а дочь самой Иродиады, принадлежащей к царскому роду. Одежд почти не было на Саломее, и каждое ее движение полнилось пороком. И, глядя на этот танец, загорались желанием знатные гости, да и сам Антипа, коему бесстыдница приходилась единокровной племянницей, воспылал страстью. А когда закончила свой танец Саломея, бросился Ирод Антипа к ней, на правах отчима поцеловал при всех и выкрикнул, бахвалясь своей щедростью перед знатными римлянами: «О, прекрасная Саломея! За твой танец готов я отдать тебе все, что пожелаешь. Хоть полцарства проси!»

Склонилась Саломея к матери своей Иродиаде, по-

шептала с ней и заявила бесстыдно: «Хочу голову Иоанна Крестителя, чтобы поднесли мне ее тотчас на блюде!»

И замерли все возлежащие за пиршественным столом, и хмель у многих испарился. И даже, по словам торговца, отшатнулся в испуге от Саломеи Ирод Антипа — так ужасно было ее желание! Но слово тетрарха есть слово тетрарха, отменить его значило уронить себя в глазах знатных римлян. И был послан оруженосец в темницу, и никто не возвысил голос против задуманного злодеяния, лишь тишина повисла в дворцовых покоях. А когда явился оруженосец и поднес Саломее на блюде окровавленную голову Крестителя, побледнела та и отшатнулась, и пала бы, не поддержи ее за стан Иродиада. И, закрыв лицо дрожащими руками, удалилась Саломея в свои покои...

Все это видел торговец-самарянин, обо всем этом поведал, и не верить ему не было резона. Ведь и он, этот торговец, шел теперь на риск ради того, чтобы тело мученика праведного предать земле и тем самым снять искупления за грехи свои и потворство прихотям Ирода Антипы...

И твердо решил Манаил, что не отступит теперь и никакие преграды не остановят его, ибо должно ему не только сыскать тело Иоанна, но и отомстить убийцам. Надо было только запастись терпением и, предав тело Крестителя земле, остаться в этом гнезде порока — дворце Ирода Антипы, может статься, даже наняться в крепостную охрану, претерпеть все унижения и дожидаться, когда Бог предоставит случай для свершения праведного возмездия, укрепив волю его, Манаила, и меч его сделав карающим. И созрел в голове Манаила такой план — с утра, если не придет римлянин и обманет, самому обшарить каждый клочок земли у крепостных стен — не может тело исчезнуть бесследно. И еще предстояло — отослать Иезикииля в Галилею, пусть следует за Иисусом, молод и горяч Иезикииль, и не свойственно молодости терпение.

И сказал Манаил брату своему Иезикиилю: «Ночь эту проведешь во дворце, а утром покинешь крепость Махеро и пойдешь к озеру Генисаретскому, ибо передать надо весть братьям нашим, что вскоре свершится суд мой по велению Божьему...»

Иезикииль возмутился, и слезы обиды выступили на

его глазах. Ужели он, Иезикииль, помехой послужит в праведном деле, и вправе ли он оставить Манаила одного во враждебном стане? Впервые в жизни отказался Иезикииль исполнить волю старшего брата. И утром, когда еще спал Манаил, покинул Иезикииль душевные покои и порешил, что докажет брату своему и всем ученикам Иоанна Крестителя, что он, Иезикииль, человек дела, а не слов, и исполнит свой долг, и меч в его руке не дрогнет.

Долго плутал он по пустынному дворцу, пока не нашел наконец помещения, где обитал вчерашний его знакомец Исаак. И обрадовались они встрече. Возмутился только Исаак тем, что Иезикииль не пришел с вечера и ночь где-то прогулял. И, чтобы успокоить Исаака, объяснил ему Иезикииль под страшным секретом, что воспылал любовью к Саломее и покои ее искал тщетно, и не покинет дворец, пока ответной любви не добьется. Выдумка его была воспринята с сочувствием, и вызвался Исаак помочь ему, хотя и остерег и пытался убедить, что слишком рискованное предприятие затеял Иезикииль.

И когда стемнело, и закончил все работы Исаак, проводил он Иезикииля потайными ходами в северную крепостную башню, где находились покои Саломеи, и сказал, что будет ждать его, а в случае опасности и приближения стражи даст условный сигнал и умолял, заклиная именами всех святых, чтобы не слишком задерживался Иезикииль, а лишь взглянул бы на свою избранницу, не вступая с ней ни в какие разговоры.

Иезикииль поднялся по узкой лестнице, прошел под каменными арками, и открылись перед ним покои, полные света с лампадами на стенах, а блеск золота и серебра ослепил глаза его. Затаился Иезикииль за плотным занавесом и узрел ту, что погубила Иоанна Крестителя. Распустила Саломея свои длинные смоляные волосы, вертелась перед зеркалом, и стан ее изгибался, и бедра вздрагивали. И понял Иезикииль, что во всем мире любит Саломея одного человека — самую себя. Сжал Иезикииль меч так сильно, что казалось, вот-вот треснет рукоять его, сделанная из слоновой кости. И выжидал он теперь момент, чтобы сделать прыжок, роковой для Саломеи, и медлил, ибо глаза его не подчинялись рассудку, и взор тонул в завитках волос, ниспадавших на нежные плечи. И когда пересилил он себя

и, казалось, отогнал бесовское наваждение, то выпрыгнул он из-за завесы с мечом обнаженным. Обернулась Саломея, ахнула, закрыла лицо обнаженными руками и упала перед ним на колени. А когда занес он меч, запричитала она тонким голоском: «За что, ангел мой, за что? Я жить хочу! Я любить хочу!»

Рука Иезикииля дрогнула, он опустил меч. Казалось, ничего нет в мире кроме расширенных глаз Саломеи. Нельзя убивать человека, не выслушав его, пусть узнает Саломея, почему он, Иезикииль, не может отвести нависшую над ней кару, пусть, если сможет, найдет слова оправдания.

— Горе тебе! — выкрикнул Иезикииль. — И смерть твоя близка, ибо виновна ты, лишившая землю Израиля праведника!

И сразу поняла Саломея, за что ей ниспослана смертная кара, и захлебываясь слезами, стала взывать о милости и убеждать, что нет крови праведника на ее душе, что не она виновна в смерти Крестителя. Понимал Иезикииль, что речи ее лживы, что испугалась она расплаты, и в то же время ясно ему стало, что не ведала она, что творила. И все не решался он поднять меч, и были лишены сил руки его. Застыл Иезикииль, словно соляной столп, будто сковала его Саломея бесовским колдовством. И даже подернутые пеленой страха были прекрасны глаза ее. И еще понял Иезикииль, что умрет вместе с ней, и был бы он самым счастливым человеком на земле — одари его сейчас Саломея поцелуем. И слезы выступили у него на глаза, ибо осознал он, что не достоин быть в числе праведников, что предаст он учителя своего Иоанна.

А Саломея уже вилась у ног Иезикииля, хватала полы его плаща и билась в рыданиях. И не услышал Иезикииль, как вошли в ее покои дворцовые стражники, не почувствовал приближения опасности. И лишь когда грубо схватили его и опрокинули наземь, очнулся он от оцепенения, рванулась рука к мечу, но наступили на его пальцы кованые башмаки, и хрустнули пальцы. И не почувствовал боли Иезикииль, лишь горечь отчаяния хлынула в его душу, и закричал он: «Нету мне прощения, о Господи! Убейте меня, я жить не достоин! Убейте!» И будто эхо повторила своим певучим голоском Саломея: «Убейте!» Это было последнее, что слышал Иезикииль. Ибо беспощадные удары обрушились

на него, и красные шары увиделись ему, и раздулись они и разорвались, затмив сознание, и кровь залила глаза...

Душной и долгой была эта ночь в замке Махеро, и не было покоя и тишины в нем. Медленно брел по мрачным подземным ходам Манаил вслед за римским легионером, и неровный свет факела вырывал из темноты уступы каменных стен, решетки и замшелые столбы. Римлянин ступал мягко, словно кошка, изредка останавливался и разглядывал на стенах только ему одному ведомые знаки. И казалось нет конца каменному лабиринту. Когда духота совсем сдавила дыхание, пахнуло вдруг прохладой, и раздвинулись толстые мрачные стены, а в проеме увидел Манаил дрожащие звезды. И расправил он плечи, и глубоко вздохнул, впитывая в себя живительный воздух ночи. Нет, не обманул римлянин, польстился на сикли, пришел точно в назначенный срок и вывел к нужному месту. Прямо у ног была зияющая расщелина. И сказал римлянин: «Надо спускаться, цепляйся за лозу и поспевай за мной!»

И они съехали вниз, обдирая ладони о тонкие колючие стволы. Запахло смрадом, и тень какого-то зверя, то ли гиены, то ли волка, метнулась в сторону, почти из-под ног. И понял Манаил — здесь царство теней и преддверие преисподней. Как же он раньше не догадался — трупы не сбрасывают в крепостной ров, их спускают сюда, в эту зловонную яму. И, оскверняя тела убиенных, сюда же сливают и сбрасывают нечистоты. И, преодолев тошноту, взял Манаил факел из рук римлянина и склонился к земле, и отпрянул — прямо у ног его лежал мертвый воин, тело было поражено гниением, судя по шлему, это был наемник из Финикии. Чем провинился сей воин? За что проткнули грудь его копьем. Кровь запеклась на посиневшем теле, лицо искривили предсмертные судороги. И рядом с трупом воина увидел Манаил еще одно тело, совсем оголенное тело юноши, и увидел Манаил, что дано было мертвецу испытать чашу страдания и невыносимых мук, живого места не было на нем, все было в кровоподтеках, грудь разодрана, и глаза выколоты. И вдруг будто раскаленной иглой пронзило ужаснувшегося Манаила — разглядел он большую родинку под левым соском, и волосы золотис-

тые, и то место на плече, куда пришелся удар палицы еще в детстве. О, как кричал тогда в Капернауме бедный Иезикииль! А какво ему было сейчас, перед смертью, не один удар перенес, а сотни. Как жестоко издевались над ним! За что? И не выдержал Манаил, уронил факел, припал к родному телу и вскрикнул: «Брат! Прости, брат! Не уберег я тебя!»

:— Не этот, не этот, — крикнул римлянин, теребя за плечо и оттаскивая Манаила, а потом отскочил в темноту и оттуда уже тщетно звал: —Сюда, здесь он!

Но не слышал его Манаил, сдавила боль его сердце и ошеломила все тело, и сдавило все внутри, будто камни втиснули туда. А римлянин уже подтаскивал другой труп — иссохший, обезглавленный — и вот лежали теперь они рядом — два самых дорогих человека на земле — брат и учитель. И дано было Манаилу в эту ночь погresti их рядом и оплакать обоих. Отвязал Манаил от пояса кошелек и отдал римлянину все, что было там, и об одном попросил: оставить его, Манаила, одного у могилы, а потом не искать в крепости. И поклялся Манаил у гробницы — отомстить убийцам...

Есть суд земной, и есть Божий суд, и не дано никому свершить по своей воле то, что не предназначено на небесах, а потому напрасны клятвы человеческие. Поздно понял это Манаил, и в смертный его час вспомнились ему слова Иисуса: «Не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий, ни землею, потому что она подножие ног его... ни головою твоей ни клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным...» Не исполнил Манаил завета своего. И ярость ослепила его. После той страшной ночи в замке Махеро дано было ему стать разбойником галилейским, именем которого пугали детей в Капернауме. Н казалось ему, что в каждом знатном сановнике убивал он ненавистного Ирода Антипу, но ускользал от него главный виновник.

Разошлись дороги того, кто дал клятву отомстить за смерть праведников, и тех, кто свершил непомерное зло. Удалился в Рим изворотливый Ирод Антипа, жаждающий получить из рук императора римского Калигулы царский титул и понуждаемый к тому тщеславной Иродиадой, но предал Антипу его же единокровный брат Ирод Агриппа и оклеветал перед всеильным Калигулой. Был сослан убийца Иоанна Крестителя в далекий,

заброшенный среди скал Лугундум, там и почил он вместе с Иродиадой в нужде, позоре и бесчестии. И настигла смерть бесстыдную Саломею, труп ее обезображенный был найден в крепостном рву. Так отняла судьба у Манаила тех, кто должен был пасть от его руки. И жизнь потеряла смысл. И разбой стал претить ему, и пали его люди от мечей римлян, потому что утратили веру. А сам Манаил был брошен один, израненный, в пустыне близ Мертвого моря. И никто не пришел ему на помощь.

Тело его палило безжалостное солнце, а ночью холод проникал в каждую частицу кожи, и жажда истомила его. Губы потрескались, горло сдавило, и глаза потухли. И в том состоянии, когда человек молит о конце своем, снизошло на него благословение небес. И покаялся он в грехах своих. Впадал в беспамятство и, очнувшись, снова каялся. И в мареве пустыни проходили перед ним тени людей, убиенных в разбое, и проклинали его. Скрипел песок у них на зубах, и пусты были их глазницы. Будто ослепили их перед смертью, как бедного мальчика Иезикииля, свергнутого им, Манаилом, в смертный грех и не вкусившего плодов радостей земных. И виделся Манаилу в потоке жары, нависшей над песками, сам Иоанн Креститель, страшен был его взор, но не произнес Креститель ни единого слова. А на седьмой день Манаиловых мучений, когда, казалось, нет сил терпеть боль от ран и все тело разрывалось на части, отступила вдруг боль и тихое забытие снизошло на изнемогшую плоть. И привиделось¹ — будто Иисус плывет по воздуху, не касаясь раскаленного песка, и простирает руки к нему, Манаилу. Голубой плащ Иисуса колеблется над землей, и волосы Иисуса развеваются — словно ветер живительный возник над пустыней. И прошептал Манаил: «Спаси меня, Господи!» И ответил Иисус: «Претерпевший до конца, спасется». И голос Иисуса был необычным, вроде бы и не говорил Иисус — но слова звучали. «Прости, Спаситель, — произнес Манаил, — нарушил я заповеди твои...»

И исчез безответно Христос, растворился в знойном воздухе пустыни, и в последние мгновения своего пребывания на земле увидел Манаил свет несказанный и озеро Генисаретское, и круг друзей своих, и брата Иезикииля. Все они сидели на рыбацких лодках и вни-

мали словам проповеди, и разносились над гладью вод слова: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас...»

Заиграло бликами Генисаретское озеро, вспыхнуло сиянием радужным и погасло...

Мария Магдалина

Богат плодами и весел праздник кущей. Семь дней не умолкают звонкие флейты и трубы в иерусалимских рощах. Покинутый жителями, отдыхает в молчании белокаменный город. Радостно, как язычники, носятся иудеи среди деревьев, вдыхая свежие ароматы персиков и смоковниц. И утомленные за день, засыпают в шалашах из пальмовых листьев. Яркие осенние звезды смотрят сквозь ветви, и прохлада опускается на землю.

И только Папеуса, законника из Магдалы, не радуется праздник. Ночью он бредет один, и факел в его руке дрожит и бросает неровный свет, вырывая из темноты лица и глаза, сужившиеся от пламени. И в каждой паре влюбленных он готов увидеть Марию. Вспугнутые им, отпрянув друг от друга, люди заслоняются ладонями и прикрываются накидками.

Обида горьким комом подступает к горлу, и рука Папеуса тянется к острозаточенному мечу, спрятанному в складках хитона. Уверен он, что Мария здесь рядом. В бесстыдстве, задирая платье, пляшет в кругу этих бродяг, которые называют себя апостолами. И они хлопают в такт трубам и жадно смотрят на ее смуглые ноги, хватают за бедра, ловят растрепавшиеся в пляске золотистые волосы. И, охваченные страстью и хмелем, стаскивают с нее одежды. Глаза бродяг полны сатанинского огня. И забыты заповеди — слова для глухих, жаждущих веры.

Позавчера еще в Магдале народ в синагоге слушал их и лился елей в толпу праведников: ...если правый глаз соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввергнуто в геенну... и кто разводится с женой, тот подает ей повод прелюбодействовать.

В тот день сказал Папеус распутной жене своей Марии, что не даст разводную. А она выслушала его молча, держалась высокомерно, как будто и не ее грехи, известные всей Магдале, тяготели над домом. И, накинув малиновый плащ, завернулась в него плотнее, как бы пряча от мужа тело свое, и волосы собрала лиловой лентой и спрятала под накидку. И можно было подумать, что святая из святых она. Он не выдержал тяжелого молчания и швырнул в нее супницу, а Мария даже не шелохнулась. В изнеможении откинулся Папеус к стене, а она уже в дверях, обернувшись, сказала:

— Он вчера у Симона простил мне все грехи мои! И я чистой ухожу от тебя!

А на следующий день люди Магдалы смеялись над ним. И старая Рахиль рассказала Папеусу, как на трапезе у Симона, при всех, никого не стесняясь, опустилась Мария на колени перед пришельцем и, взяв алебастровый сосуд с мирром, стоя у ног его и плача, обмывала пыль и песок и оттирала волосами своими грязь и целовала ноги его, и все потешались над ней. И захмелевший Симон крикнул: «Уйди, блудница! Или мало тебе магдальцев и прозвища твоего «Магдалина»! Хочешь ты со всеми возлежать в Иудее!»

И тогда встал пришелец и положил тонкие руки на голову ей и изрек притчу о том, что двое должников есть, один должен пятьсот динариев, другой пятьдесят, и нечем заплатить им, и простил их тот, кому должны они. И спросил Симона: «Скажи, который из них больше возлюбит его?»

И Симон ответил:

— Думаю тот, который более должен.

И сказал пришелец, что правильно рассудил Симон, поднял руку и продолжил:

— Видите эту женщину, прощаются ей грехи многие за то, что она возлюбила много, и мало прощается тому, кто мало любит!

И тут старая Рахиль запричитала:

— Вот они новоявленные мессии! Радуйся Папеус с женой безгрешной!

— Замолчи! — прервал он ее. — Я найду управу на бездельников длинноволосых!

В эту ночь Мария прошла тот же путь, что и Папеус, разыскивая в праздничных толпах Иисуса, и уже на рассвете сказал ей Петр, один из учеников его, что учитель не должен быть здесь, что, оберегая его, отправили они Иисуса на гору Елеонскую. Мария покинула рощи, перебралась через Кедрон и вышла к бескрайнему простору песков, а когда встающее солнце осветило ее и согрело, скинула плащ и праздничное платье из флера и омылась в ручье. И сразу усталость покинула ее, хотя за ночь она ни разу не сомкнула глаз. Предчувствие встречи охватило ее. Она растерла тело елеем и пучок с душистыми травами укрепила на цепочке между грудей.

Долго стояла Мария обнаженная среди ослепительно белого песка и слушала журчание родника в тишине утра, и видела костры, догорающие вдаль. Одно только беспокоило ее: ночью несколько раз мелькнуло перед ней озлобленное лицо Папеуса, и в красном свете факела страшны были его глаза, бугристые руки, темные от загара, розовый шрам на щеке. И мысли о нем ужаснули ее. Почтенный и принятый в собраниях, проносящий истины в суде Магдалы, а ночью зверевший, как будто бесы Иудеи вселились в него. И ласки сменялись воплями и хлыстом, и взрывами упреков, после которых требования ласки и покорности во все новых причудах были невыносимы. По ночам он зажигал яркие свечи в доме и ставил их к изголовью, а девочку-рабыню из Эфиопии заставлял прислуживать, и она смуглая, обнаженная, подносила вино и бесстыдно изгибалась над ложем.

И тогда появился воин из гарнизона Магдалы, молодой и покорный, и мстить с ним было приятно, а потом был судья, знакомый Папеуса, который поначалу все время писал и даже в гости приходил со свитками. Казался он не от мира сего и женщин избегал, а когда остался ночью в доме, и Папеус, утомленный вином и весельем, крепко заснул, оказался настойчивым, и она не могла и не хотела кричать, чтобы не разбудить мужа и служанок. И она отдалась ему на ложе рядом со спящим Папеусом — и это было отмщение: за все слезы, за удары хлыста, черную рабыню, за унижения. И ей было весело смотреть утром, как пьет Папеус с судьей и лобзается с ним, и как клянутся они друг другу в верности, и она не могла сдержаться — и захохотала.

Но сейчас, когда свет любви пришел к ней, как бы хотела Мария превратиться в ту девочку пятнадцати лет, остановить время до того дня, когда ее втолкнули в дом Папеуса, и братья ее радовались, что мужем у нее будет знатный человек Магдалы. И она плакала и не понимала, почему надо ласкать чужого мужчину, который делает ей больно.

— О, Господи! — сказала сама себе Мария. — Если бы ты раньше пришел из Вифлеема! Если бы раньше! Я не была бы Магдалиной, я была бы просто Марией. И ты не ушел бы в пустыню к Иоанну. И мы бы построили дом в Вифсаиде. Счастливый дом у источника! Плотники нужны всюду, а пророков полно в Иерусалиме!

Она долго брела вверх к вершине горы Елеонской. Кружева волн застыли на песке. Легкий ветерок вздымал песчинки, перекатывая их, играл с ними. Песок поскрипывал под ступнями. Она шла босиком, и ей было приятно ощущать тепло пустыни, и на душе у нее было светло. Голубое небо без единого облачка, яркое солнце, цвиркание кузнечиков и спокойствие окружали ее. Когда она взошла на вершину и дыхание ее участилось, она присела на песок, давая отдых ногам. Прямо перед ней, с вершины, в дымке за песками вставал город. И привычные очертания Иерусалима в который раз поразили ее. За городом виднелись голые синие вершины, а перед ним темнели рощи кедров и пиний, и спустились навстречу песку террасы с оливковыми деревьями, а вдали, как зеркало, забытое богами в пустыне, поблескивало Мертвое море.

И Мария поняла, что слишком долго шла сюда, что давно начался день, и Иисус уже в городе. Он не выдержал, не послушал ее предостережений. И ей представилось, что гонятся за ним воины по узким улицам, вскрикивают, обнажив мечи, и жаждут крови. И она откинулась на песок и закричала:

— Господи! Спаси его, Господи!

И, полная бессилия, закрыла глаза и раскинула руки, и так лежала долго, как крест, вдавленный в белый песок. Солнце ласково согревало ее тело, и было что-то в этом тепле от того костра при дороге, когда она вышла усталая на пламя его и увидела учеников Иисуса, возлежащих за трапезой, и его самого среди них. И никто не удивился, заметив ее. И когда Иисус потеснился,

давая ей место между собой и любимым учеником своим златокудрым Иоанном, никто не сказал ни слова. А юноша Иоанн, почти еще мальчик, с голубыми невинными глазами, протянул ей сосуд с виноградным вином. И Канонит, самый старший из них, стал расхваливать рыбу, говоря, что повезло им сегодня. На что Иисус сказал:

— Не говорите, что есть и пить! Этого ищут язычники. Ищите же прежде правды! Вы апостолы — соль земли! А если соль потеряет силу, чем же сделаем мы ее соленой?

Были непонятны Марии его слова, но завораживающая музыка была в них, и звучали они напевнее арамейских песен. Голос у него был четкий, размеренный, глаза его светились, и смотрел он вверх голов в темноту ночи. Осторожно, чтобы никто не заметил, она придвинулась к нему и сквозь легкий хитон почувствовала мускулы его плеча, и рукой коснулась его руки, и кожа у него была нежная и сухая. Он вздрогнул, но не отодвинул руки, и она еще ближе склонилась к нему. И только один из учеников, одноглазый, угрюмо посмотрел на нее исподлобья и подмигнул своим единственным глазом, и взгляд его был тяжел и неприятен. А юноша Иоанн улыбнулся широко и сказал:

— Учитель! Как прекрасно! И женщины понимают путь наш! И они с нами!

Ничего не сказал Иисус любимому ученику и только сжал руку Марии, и пожатие это было и крепкое и ласковое одновременно.

Мария помнила каждое его слово, каждое его движение, и радостное чувство переполнило ее на вершине горы Елеонской, и сладкая дремота охватила ее. Она лежала уже не в песках, а на поляне, освещенной солнцем. В медовых ароматах трав и пении птиц, на ложе из папоротника пришел возлюбленный. Она ласкала его и целовала в тишине, лишь журчал родник вдали у смоковниц. И вот уже любимый весь в ней, и тепло охватывает ее, пронизывает и длится в ней бесконечно, и слова песни песней звучат над ними:

— Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе! Округление бедер твоих, как ожерелье, и как прекрасны ноги твои! Большие воды не могут потушить любви, и реки не зальют ее!

— Агнец мой, — шепчет Мария. — А-а, как мне хо-

рошо с тобой! Мне ни с кем не было так хорошо! Мне уже много раз хорошо! Я изнемогаю от любви!

И вдруг слышит крики, и видит, как бегут к ним стражники, и лучники затаились на деревьях. Она кричит в испуге и набрасывает на себя накидку. И впереди всех одноглазый, и лицо его ощерилось и вдруг превратилось в лицо Папеуса. Злобное, искривленное.

— Прочь! Прочь! — кричит Мария и просыпается.

Солнце уже в зените, над самой головой, жарко и душно вокруг, и так тревожно, и кажется, земля гудит и звенит и стонет от зноя.

— Иисус! — кричит Мария. — Иисус!

Но голос ее теряется в безмолвном пространстве, и дрожь охватывает ее. Она вскакивает и бежит по песку туда, где вдаль белеет город, к оградкам его из песчаника.

На седьмой день праздника кушей покинули иудеи зеленые шалаши в тутовых рощах и двинулись к городу. Сломанные кусты, пустые глиняные сосуды, остатки снеди и потухшие костры остались на месте праздника. Утомленные, невыспавшиеся, медленно брели старцы и служки; взбудораженная весельем молодежь не могла успокоиться и в пути. Юноши и девушки хохотали, забегали вперед, уходили с дороги в пески и растворялись вдаль, приникая друг к другу. В руках люди несли пальмовые ветви и обмахивались ими, как веерами. Рабы волокли поклажу, ревели ослы, ржали лошади и брезгливо смотрели вдаль верблюды.

Папеус шел пешком, в стороне от людей, озлобленный и мрачный, ночью какой-то галилеянин отобрал у него меч, и теперь он чувствовал себя вдвойне ограбленным и не был готов кровью смыть свой позор, хотя твердо был уверен, что там в городе он настигнет своего врага, и тому было подтверждение: в толпе слышал он разговоры о новоявленном пророке. Говорили, что это плотник из Назарета, что он будет проповедовать в Храме и подстрекать народ к смуте, и что первосвященники уже согласились уличить его во лжи, а римляне дали согласие на его изгнание, а некоторые даже утверждали, что назначена цена за его голову. И говорили, что люди, окружающие плотника, — одержимы бесами

и уподобились человеку, строящему дом свой на песке, и чтоб, изгнать римлян, они наложат на сынов Израилевых немислимые подати и построят тюрьмы в Капернауме, и там в пещерах будут умерщвлять инакомыслящих. Разговоры эти постепенно крепили веру Папеуса в скором посрамлении проходимцев. И он уже думал о том, как унизит он Марию, как вернет ее в дом, но не хозяйкою, а навеки прислужницей. Как бы ни была она хороша, волнение крови не замутит разума! Она пожалееет о том дне, когда появилась из чрева матери своей!

В городских воротах толпа сужалась, и люди шли вплотную друг к другу. Стражники лениво заглядывали в лица. Пахнуло от древних камней сыростью и прохладой. Черные проломы в известняковых оградах, проемы внутренних ворот, узкие улицы рассасывали толпу. Люди спешили отоспаться в своих кровлях. И только пришлые, у кого не было друзей или родственников в городе, брели по главной улице к Храму. Папеус тоже спешил туда, он прошел через площадь к белым стенам, за которыми, высь над всем, как бы паря в воздухе, вставал золотистый храм со всеми его многочисленными пристройками. Храм, где обитал бог народа, избранного им.

Предхрамовые пристройки уже были заполнены людьми. Несмотря на праздник, несколько торговцев открыли лавки и наперебой расхваливали свои товары, зазывалы, менялы и скупщики шныряли в толпе.

Папеус купил несколько лепешек и сосуд с вином. Он присел на ступенях у входа в Храм и жадно проглотил пищу, вино растекалось по усам, горячило внутри. Подкрепившись и сотворив молитву, он накрыл голову платком и вошел в Храм.

Величественный снаружи, Храм еще более был прекрасен внутри; стены его, обшитые кедром, светились, пол выложен кипарисовыми досками, блестели золотые подсвечники, свод Храма, казалось, уходил высоко в небо, сливаясь с вечностью, за большим семисвечником святая святых колыхался ковровый полог, там, куда не ступал ни один из смертных, обитал невидимый Бог Иегова, и Папеусу на мгновение стало страшно оттого, что за пологом известны все его мысли, все его грехи и все деяния, настоящие и будущие, и мысли его об убийстве, но он успокоил себя тем, что Бог сейчас на

его стороне и направляет его движения, потому что ему угодна смерть отступника.

Папеус сотворил молитву, постоял среди служек и, заметив в левом углу Храма движение и кучки спорящих, пробрался туда и увидел, как окруженный учениками, сидел его враг на сером большом камне, говорил что-то, уставившись в пол, и чертил пальцем круги на граните. Папеус увидел его совсем близко — сгорбленная фигура, рыжая короткая борода и большие воспаленные глаза, волнистые волосы были расчесаны на пробор и спадали до плеч.

— Что он бормочет? — спросил Папеус у стоящего рядом низкорослого левита.

— Тише! — одернули сзади.

— Иудеи! — закричал Папеус. — Кого вы слушаете! Блудник, порочащий бога! Что он может?

Левит оглянулся и крикнул:

— Успокойте же этого!

Кто-то больно ударил Папеуса ребром ладони по шее, отчего сразу оборвалось внутри и потемнело в глазах, судорожно глотнул он воздух открытым ртом, как рыба, выброшенная на песок. Пинками его протолкнули дальше, и самый последний из стоящих резко швырнул его в сторону, подставив ногу. Папеус упал навзничь, больно ударившись затылком о камень.

Когда Папеус очнулся, он увидел священника, склонившегося над ним. Священник брызгал на него водой, раздувая щеки, и седая его всклокоченная борода дергалась. Папеус лежал у ограды Храма на верблюжьей шкуре, ворот рубахи его был расстегнут и испачкан кровью. Священник, увидев, что Папеус пришел в себя, крикнул: «Вина!»

Папеус жадно сделал несколько глотков и попытался приподняться.

— Лежи, сейчас я смажу раны, — сказал священник, — меня зовут Арш.

— Я узнал, — сказал Папеус и застонал, — я узнал, ты из Вифсаиды.

Старик кивнул.

Папеус привстал, сделал еще несколько глотков из кувшина.

— Прощать нельзя, — сказал Арш.

— Я убью его! — крикнул Папеус.

— Убить — это очень просто, — сказал Арш, — унич-

тожить надо гиену, с корнем вырвать гниль эту и прах развеять. Убить!

— Все равно, — сказал Папеус.

— Помолчи, — прервал Арш, — надо убить учение! Ты понял, законник?

— Дайте меч! — крикнул Папеус.

— Успокойся, ты молод и горяч, — сказал Арш. — Сегодня все будет. Сейчас, даже раньше, чем ты думаешь, свершится твоей плотью, моим разумом.

Арш пригладил бороду, встал и сказал властно:

— Эгенда! Эгенда!

Теперь Папеус разглядел его и понял, как состарился Арш, и подумал, что зря завидовал ему, когда он, назначенный Каиафой для служения Храму, уезжал из Вифсаиды.

— Куда она задевалась, мерзкая, — бормотал Арш. — Сейчас, погоди, законник, и чернь сама раздавит твоего соперника.

Наконец рядом с Аршем появилась женщина в короткой белоснежной накидке, открывавшей почти до колен ее крепкие смуглые ноги. Она кинулась на колени перед священником и стала целовать края его одежды. Губы у нее были пухлые и большие, как у эфиопки. Когда склонялась она, одежды отчетливо обозначали формы ее крутых бедер, и Папеус невольно подался к ней, забыв про боли и унижение.

— Видел ли ты что-либо подобное под небом Израиля, Папеус? — спросил Арш. — Если бы при этом ты еще знал, как она искусна на ложе. И как неутомима она в затеях!

Женщина в смущении отвернулась и сделала шаг в сторону. Сзади длинные рыжие волосы спадали на белую накидку, оголенные руки с ямочками были покрыты золотым пушком.

— Мне подарил ее сам Агриппа, когда ей было двенадцать лет, — сказал Арш. Эгенда сделала шаг в сторону, Арш с необычной ловкостью прыгнул к ней, схватил за руку и толкнул к Папеусу.

— Покажи грудь, Эгенда! — приказал он.

Женщина наклонила голову и закрыла глаза. Тогда Арш рванул край ее одежды. Под накидкой у нее ничего больше не было, и Папеус увидел нежность живота и белую округлость груди с запекшимся соском.

— Смелее! — крикнул Арш. — Она твоя. Не бойся, Эгенда, я прикрою вас хитоном.

И он скинул свой голубой хитон и растянул его в руках, как бы образуя полог, отделивший Эгенду и Папеуса от людей, толпившихся у ограды. Папеус обнял женщину, сжал ее, почувствовал ее испуг и учащенное дыхание. И, освобождая ее от накидки, протиснул свою ногу между ее ног и провел рукой по гладкой коже бедра, скользя вверх. И они медленно осели на землю.

Резкий, пронзительный визг Арша прервал наслаждение. Папеус судорожно дернулся и увидел, что нет покрывала над ними, что Арш и не думал держать хитон и давно отбросил его, и теперь орет, как будто режут его, и бегут люди с камнями, гогочут, надвигаются со всех сторон. Папеус готов был провалиться сквозь землю, он съежился, стал торопливо шарить по земле в поисках плаща, чтобы прикрыть срам, Эгенда рванулась из-под него и стала карабкаться на храмовую ограду. Ее сдернули за ноги, повалили. Толпа прижала их к стене, люди плевались, швыряли гнилыми плодами. А больше всех бесновался Арш.

— Блуд в Храме! — кричал он. — В святом Храме! При всех! Ведите ее к вашему пророку! Вот до чего довели его проповеди!

Папеус кинулся к Аршу, глаза законника налились кровью.— Ты ответишь! — крикнул Папеус и замахнулся. Несколько человек повисли на его руке.

— Беги, — сказал Арш и, защищая Папеуса от толпы, крикнул: — Она соблазнила его. Он не виновен!

И он, обхватив Папеуса за плечи, вытеснил его из круга, оттолкнул и снова протиснулся к Эгенде.

Под свист и улюлюканье женщину поволокли в Храм, кто-то успел вымазать ей лицо дегтем, ее хватили и дергали за волосы, пинали ногами, платье ее была разодрано в клочья, и она кричала, задыхаясь от отчаяния.

Растолкав учеников, окружающих Иисуса, люди, тащившие ее, толкнули Эгенду к ногам плотника, и она, извиваясь на каменных плитах, старалась ухватить его ноги и целовала камень, на котором он сидел.

Арш вылез вперед. Толпа остановилась в нескольких шагах, ожидая развязки, в руках у людей были зажаты камни.

Арш склонился перед Иисусом, оглядел толпу и сказал так, чтобы слышали все в Храме:

— Учитель! Это моя рабыня. Она взята в прелюбодеянии. Моисей заповедывал побивать камнями за это. Что скажешь ты?

Все замерли, ожидая суда нового пророка, в тишине были слышны глухие рыдания Эгенды.

Иисус наклонился к ней, и кровь прилила к его лицу. Потом он встал, заметил кого-то в толпе, и лицо его вновь побледнело. Один из учеников подошел вплотную к нему, как бы приготовившись собой закрыть Иисуса. Иисус отстранил его, сделал шаг вперед и сказал тихо, но внятно:

— Пусть тот из вас, кто без греха, первым бросит камень в нее! — В толпе кто-то выронил камень, люди подались назад. Воспользовавшись минутным замешательством, двое учеников приподняли Эгенду и отвели ее в сторону.

Первым опомнился первосвященник из Вифлеема.

— Лжец, — закричал он. — Пакостник!

— Моисей для него ничто! — взвизгнул Арш.

Камень, брошенный из-за спин, просвистел почти рядом с Иисусом. — Бей его! — закричал Арш и выхватил из рук стоявшего рядом служки сучковатую палку.

— Беги, учитель! — крикнул Петр. — Мы задержим их.

Но Иисус стоял неподвижно и молча смотрел на подступающую толпу. Лица сливались, глаза людей горели гневом.

В это время, растолкав толпу, к Иисусу подбежала женщина в праздничном одеянии. Золотистые волосы ее разметались в беспорядке, она тяжело дышала. Иисус узнал Марию из Магдала и сделал движение ей навстречу. Ученики Иисуса встали вплотную друг к другу, разделяя учителя и толпу.

— Скорее, — задыхалась Мария, — я знаю запасной выход!

И она сдвинула камень, за которым зияло отверстие, и ступени спиралью вели вниз.

— Я так испугалась! — сказала Мария. — Я знала, что он способен на все!

За спиной у них шумела толпа, что-то громко кричал Петр, и несколько камней с грохотом скатились по ступеням.

— Прав Иоанн, — сказал Иисус, — еще не пришло мое время, и напрасно я хочу обогнать его.

И он повернулся и пошел прямо, минуя спасительный выход, пошел навстречу озлобленной толпе, и толпа расступилась, пропуская его. И Мария увидела его глаза, полные печали, и поняла, что все ее мечты о любви напрасны и безысходны.

Гефсиманский сад

Только сейчас почувствовал он, как устал за эти два дня. Ноги ныли и тяжесть сдавливала виски. В мерцании свечей стены казались мягкими и неровными. Часть пола полутемной горницы была покрыта ворсистым ковром, истертым в середине, что свидетельствовало о набожности хозяина дома, подолгу стоявшего здесь на коленях. Хорошо, что выбор свой остановили именно на этом скромном доме, удаленном от шумных площадей, заполненных торговцами. Чудом удалось избавиться от толпы, сюда добирались каждый своим путем: пересекали полутемные дворы, петляли среди оград, натъкались на камни, продирались сквозь заросли. У него до сих пор стоит в ушах шум города, истошные вопли: «Исцелитель! Равви! Царь иудейский! Сжался! Осанна тебе...»

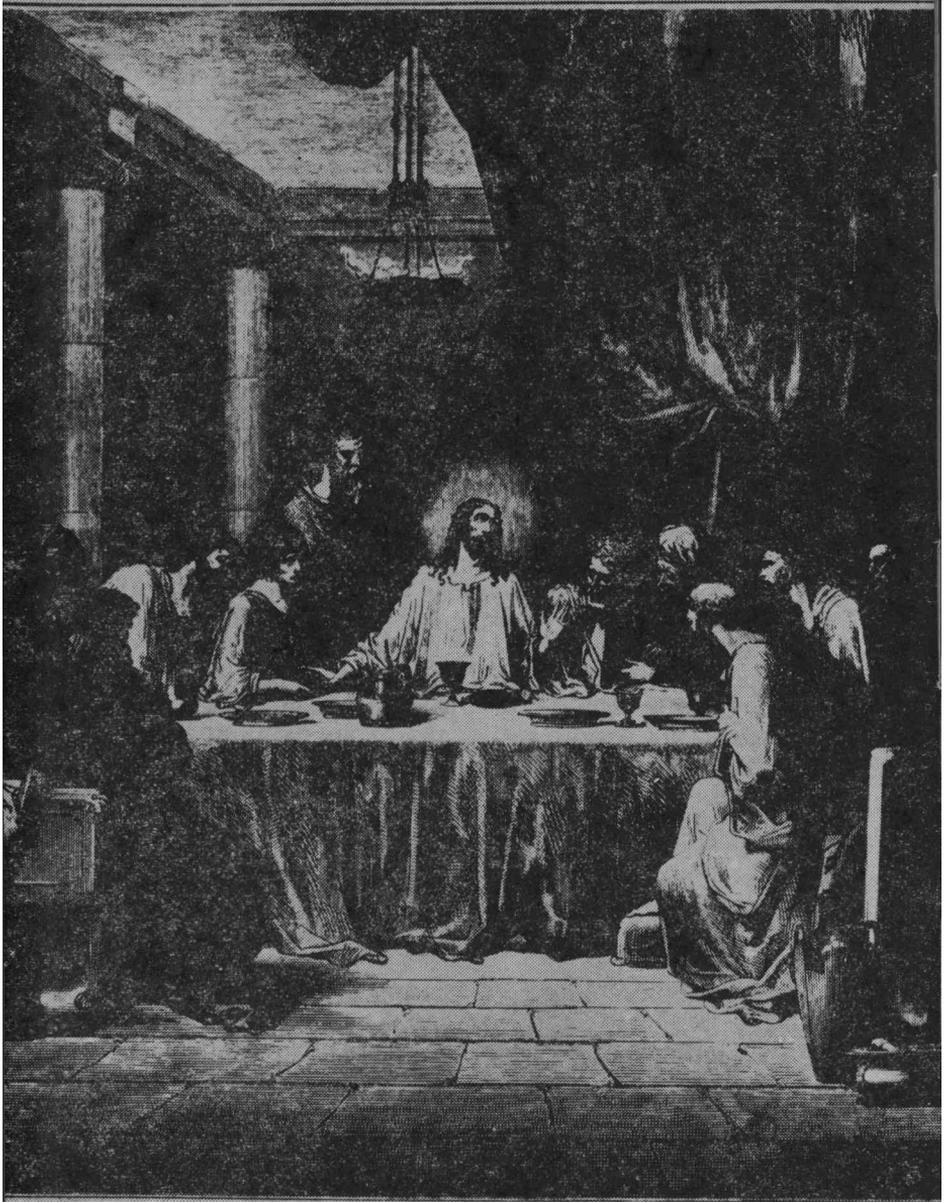
Хромые, слепые, бившиеся в падучей, ковыляли, рвались со всех сторон, дергали. Выскакивали из окон домов, целовали полы хитона, старались прикоснуться, хватали за руки. Не внимающие словам, а лишь жаждущие чуда. Уверовавшие в воскресенье Лазаря, в изгнание бесов, в превращение воды в вино. Дальше, дальше от этих криков. Людям Иерусалима нужно было только чудо. Будто затем въехал он в город, чтобы сотворить чудеса, как халдейские маги. И среди убогих и страждущих неизменно шныряли осведомители и лазутчики синедриона, скрывая лица краями капюшонов. Узнать их немудрено. Мечи топорщатся под плащами, и походка у них вертлявая, будто дергает их кто-то за невидимые нити. Все следят друг за другом. Каждый третий в Иудее — доносчик. И каждому лестно стать первым среди соглядатаев. Первым доказать, что он, Иисус, восстал против священных законов, данных

Моисеем. И того не понимают фарисеи и саддукеи, внимающие жадно ложным доносам, что не нарушить закон он пришел, а исполнить. И давно уже сами они, считающие себя строгими блюстителями закона, отошли от его сути и за мелочностью обрядов забыли о главном. Потому и кощунственными посчитали его слова: «Человек для субботы или суббота для человека?» Следят за каждым шагом, превратно понимая каждое слово. Стараются все записать... И ученики его тоже ведут записи. Нужны ли они? В сердце должно сохраниться слово, а не на бумаге. Вот и Левий, прозванный Матфеем, постоянно что-то пишет на свитках. Кто поручится, что по вечерам он не делится своими записями с законниками из Храма: видели не раз, как исчезал он там, скрываясь за тяжелыми занавесами, впрочем — не исключено, что хочет он доказать саддукеям правоту нового учения... Нет, на тех кто собрался сегодня, можно положиться. Если не они, то кто может служить опорой в этом мире...

Вот и собрались, может быть, в последний раз. Сегодня — четверг, нисана месяца, злосчастное тринадцатое число. Преддверие праздника — самого святого пасхального праздника, данного избранному Богом народу в память об исходе из Египта. В честь этого праздника в святом городе назначены в жертву тысячи агнцов, из них ни одного не достало к их скромному столу. Когда пришли они в этот дом, хозяин сдвинул триклиньем столы и молча удалился, чтобы не мешать им. И вот теперь возлежали они у столов, облокотившись на изголовья диванов левой рукой. Наконец-то успокоились и смолкли. А до этого спорили столь рьяно, кому занять место рядом с ним, Иисусом, что страшно стало — ужели и этих, избранных, гложет червь себялюбия...

Ведь и пример им дан наглядный. Вошли в дом и, по обычаю древнему, сняли сандали. Не было прислужников в доме, и некому было омыть им ноги, покрытые пылью дорог галилейских и улиц иерусалимских. И тогда он, как самый последний раб, снял симху и хитон, обернул пояс полотенцем и молча, набрав воды в медный таз, омыл ноги всем двенадцати. И только Петр устыдился, стал говорить, что сыну Божьему и царю израилюву не гоже столь унижаться.

— Не умоешь ног моих век! — сказал Петр.



— Если не умою тебя, не имеешь части со мною, — спокойно ответил ему.

И уступил Петр, понял, что спорить бесполезно. И только не осознали они, даже Петр, что прощается он с ними. И вот теперь, когда уже уселись все, поняли, что прощальная эта пасха.

И было их в горнице двенадцать, по числу колен народа израилева, большинство из них обрел он, Иисус, на берегах Генисаретского озера среди вольных рыба-рей, живущих в единении с природой, а потому чистых душой своей и помыслами. И особо выделялся предан-ностью прямой и искренний Симон, прозванный на хал-дейском наречии Кифой, а по-гречески Петром, что оз-начает «камень». Искренне полюбил и он, Иисус, этого праведника, оставившего ради божьего дела и детей, и дом свой. Был близок душе Иисуса и брат Петра — молчаливый Андрей, бывший в свое время учеником Иоанна Крестителя. И были надежны сыновья Заведее-вы — Иаков и Иоанн, недаром прозвали братьев «сы-новьями грома», ибо так сильно было их рвение, что готовы были они, будь на то их власть, прибегнуть к молнии и грому небесному, чтобы укрепить новую веру. Кроме них, следовали за ним, Иисусом, с первых его шагов мудрый Филипп из Вифсаиды, сноровистный На-фанаил — сын Толмая из Канн галилейских, извечно сомневающийся Фома и молчаливый Симон сын Зилота. И многих они за собой повлекли, воистину став «лов-цами человеков». Сохранят ли, оставшись без пастыря, новую веру, сумеют ли уберечь зажженный светильник? Но коли не они, то кто же... И если соль потеряет свою силу, что сделает ее соленой?

С какой печалью глядит в его глаза пылкий и юный Иоанн, любимый ученик его, как насторожен и сумра-чен Петр... Чего они ждали? Легкой победы в Иеру-салиме? Преклонения перед ними всех жителей Из-раиля? Их смущают грядущие муки? Кровь? Или груст-ны, что нет жертвенного агнца на их столе, неужели не поняли, что он, Иисус, сегодня и есть тот самый агнец, отданный в жертву за грехи людские...

Сидит, опустив глаза, насупленный Левий Матфей, только трогает руками край стола да перебирает бах-рому накидки. Молчит Петр и смотрит на сотрапезни-ков с беспокойством и тревогой. И лишь Иуда жадно ловит каждое движение, пристроился совсем рядом,

склонил голову набок, открыл рот — сама преданность — никто не станет подозревать его, никто не догадается, чем пополнит казну общины этот пронырливый и вездесущий странник. И Симон, сын Зилота, улыбается Иуде, слишком прям он, слишком обидчив и доверчив...

Справа возлежит Иоанн. Бедный мальчик, ласковый златокудрый Иоанн приник к груди, бормочет что-то непонятное. Как пряно пахнут травами локоны его. Рядом брат его, Иаков, руку свою, изрезанную сетями, положил на стол, потянулся к еде и замер — понял, что быть первым не его право. Нелегко дается людям смирение. Поймут ли это ученики?

И в который раз, а теперь уже в последний, стал говорить им Иисус, что не надо ждать наград земных и земных благ и что самый близкий к Богу тот, кто ради других претерпит тяготы и страдания. Так говорил им, но не смог утаить тревогу, и вырвалось из уст то, что мучило все последние дни:

— Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня...

Глубокая скорбь охватила собравшихся, опустили они головы, и потускнели глаза их. И послышалось со всех сторон:

— Ужели так?.. Нет среди нас такого... Не я ли, Господи?..

И даже Иоанн в испуге отшатнулся от груди, а потом опять припал еще теснее и тихо спросил:

— Господи, кто же? Открой мне. Тяжко подозревать всех. А вдруг я, Господи?

Иисус погладил светлые кудри Иоанна и сказал, склоняясь к уху его:

— Успокойся, не ты... Тот, кому хлеб подам...

И вытянул руку с хлебом под столом наугад, почувствовав, как стеснило сердце и дрожат пальцы. И схватил протянутый кусок Иуда. Тогда сказал Иисус:

— Что делаешь, делай скорее.

И понял, что никто, кроме Иоанна, ни о чем не догадался, встретился с взглядом Иуды, и сразу пришла уверенность — исполнит то, что предназначено. Созрел в черной душе гнусный замысел, и не дано бесплодных отсрочек злодеянию. Сейчас удалится Иуда.

И только подумал об этом, как встал Иуда из-за стола и что-то забормотал о срочных покупках для

праздника, об общей кассе для обездоленных, засуетился, пробираясь к выходу. Никто не остановил его, хотя и понимали все, что ни о каких покупках не может быть и речи. Ведь ночь уже пришла, и сгущается тьма за окнами.

А когда со скрипом затворилась дверь за Иудой, поднял Иисус чашу вина и по очереди отпили из нее. Тогда покинула их скорбь. Заговорили разом. И даже пошутил кто-то, кажется, Фома: вот бы сейчас как в Кане галилейской воду в вино превратить...

Больно кольнули эти слова — ужели для того дана сила от Господа, чтобы воду в вино превращать в день скорби. Ибо свадьба была в Кане галилейской, а здесь другой обряд предстоит.

Замолчал Иисус, склонив голову. И ушел в свои мысли, не вслушиваясь в беседу. Никогда еще жизнь не требовала от него стольких сил. Он понимал, что силы эти зачастую тратятся напрасно, что слишком рано вернулся в святой город, отягощенный неимоверными грехами. Напрасно покинул солнечную Галилею, где даже язычники склонялись к истинной вере, куда съезжались они из Тира и Сидона на истощенных зноем и дальними дорогами верблюдах, чтобы принять крещение и очиститься от скверны. Но ведь не только для язычников явлено миру откровение — надо принести его своему народу. В Храме Иерусалимском должна воссиять новая вера. И пусть благостно и светло было среди рыбарей на берегах Генисарета, грезились по ночам белые стены вечного города и теплый камень его величественных синагог. И было обидно, что осквернены они пусторечием и лицемерием.

И вот свершилось — торжественно он въехал в этот город на осле, зная заранее, что ждет его. И не мог он зачеркнуть предреченное. И ждали его пришествия толпы страждущих, обманутых, задыхающихся в тоске и смятении, бежали впереди него, махали пальмовыми ветками и кричали: «Осанна!»

Верхними одеждами устлали простолюдины путь его, бросая на дорогу свои плащи и хитоны. И открылся перед ним величественный город, утреннее солнце сверкало на мраморе царских дворцов, отражались лучи позолотой сотен кровель синагог и храмов — море золота и света. Воздвигнутый иудеями казалось бы на века,

город этот не предвидел своей судьбы, когда не только жители его, но и камни будут стонать под ударами.

И при въезде в него слезы навернулись на глаза, ибо оплакал он в душе этот город. Истину принес людям его, но не услышали слов, в Храме хотел начать проповедь, но переполнен был Храм торговцами и во дворе храмовом торговцы хозяйничали, занавожен был двор волами и овцами, звон монет раздавался под священными сводами.

И не могли среди этих торгующих услышать слова его, а жаждали лишь узреть в нем царя земного, уверовать в его могущество, требовали чуда и скорого избавления от нищеты и язв своих. Забывали, что не о том надо печься, а о душе своей задуматься.

И тогда изгнал он торгующих из Храма, и казалось, теперь услышат его голос, но темны были его слова для ослепленных золотом глаз и ожесточенных сердец. Может быть, прав Иоанн Креститель — не на городских площадях, а в пустыне первозданной нисходит благодать к человеку. И надо пройти дорогами скитаний и добыть самому путь к истине, чтобы уверовать в нее так, как те двенадцать, что сейчас возлежат за пасхальным столом. Но даже и они не осознали той тяжести, что ложится на плечи, коли вступил на путь искупления. Устоят ли перед соблазнами мирскими...

Полный тоскливых мыслей, в смятении встал из-за стола Иисус, чтобы не мешать трапезе и веселию. И тихо оставил горницу. Лишь верный Петр попытался остановить его и спросил с тоской: «Господи, куда ты идешь?» — «Куда я иду, ты не можешь за мной идти, а после пойдешь за мной», — ответил ему, выделяя каждое слово.

Простодушный рыбарь жаждал прямого ответа, попытываясь, чем вызвано смятение. Голос его выдавал тревогу, когда стояли они у порога дома в сгущающейся темноте иерусалимской ночи:

— Господи! Почему я не могу идти с тобой? Я душу положу за тебя!

Можно ли клясться, не зная своего предназначения, дано ли смертному человеку предвидеть завтрашний день? Что ж, если Петр так уверен, пусть только не таит обиды на слова правды — они всегда кажутся несправедливыми и даже оскорбительными. Слабость человеческая — не самое страшное. Дано ему, Петру,

преодолеть ее, но не сейчас и не завтра... Позже, все будет позже.

— Нет, нет, я не оставлю тебя, учитель, — не успокаивался Петр, и даже в темноте можно было заметить, как блестят зрачки его глаз.

— И трижды не пропоет петух, как отречешься ты от меня трижды, — устало произнес Иисус, и не оглядываясь, двинулся в темноту через двор, поросший кустами, нащупывая ногами узкую тропу. И, казалось, растворился он в тени деревьев.

В этот час вошла полная луна над башнями Иерусалима, и в ее призрачном свете стали отчетливо видны голубоватые камни крепостных стен, и резкие тени от башен упали на древние гробницы.

Иисус прошел через городские ворота, и никто не окликнул его. Он спустился по крутой лощине, перешел по шатким мосткам через реку Кедрон, а затем медленно поднялся вверх, минуя залитые лунным светом виноградники. Густые тени, отбрасываемые деревьями, окружили его, и серебрилась листва и трепыхала от легкого ночного ветра. Он услышал шорохи шагов за своей спиной и ни разу не оглянулся — понял, что ученики покинули пасхальный стол и бредут за ним. Это и радовало и беспокоило его. Теперь поднялся он по взгорью Елеонскому в оливковую рощу. Идущие за ним не оставали. Потом некоторые из них поравнялись, пошли рядом. И опять наперебой пытались убедить его, что никогда не оставят своего учителя, что дал он им истинный свет и свет этот не погаснет в их душах.

Так все вместе вошли они в Гефсиманский сад, обнесенный легкой изгородью, столь низкой, что не стоило никакого труда преодолеть ее. Переплетались у них над головами ветви маслин и гранат, смоковниц и лавров, мягкие травы делали почти неслышными их шаги.

— Посидите тут, — сказал Иисус, — а я пойду помолюсь...

И ученики не стали ему перечить. Они завернулись в плащи, уселись на траву и приготовились к ночлегу. За годы скитаний привыкли они к любому, самому скромному, приюту и чаще всего проводили ночи под открытым небом. И теперь настала для них последняя ночь с учителем. И только Петр, Иаков и Иоанн не желали оставлять Иисуса, и невозможно было им объяснить, что час настал только для него одного.

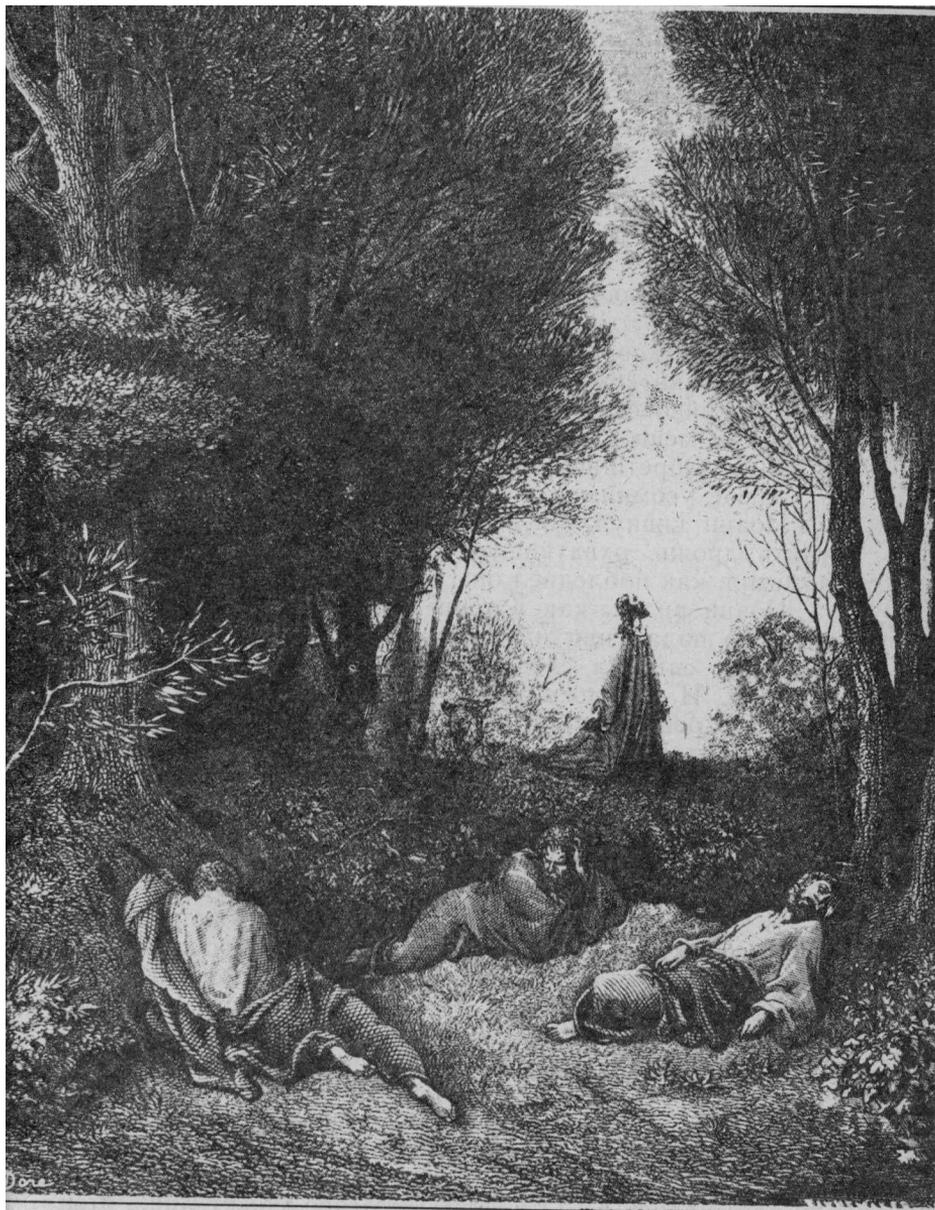
— Душа моя скорбит смертельно, — сказал он, — побудьте здесь и бодрствуйте со мной...

После этих слов он быстро шагнул от них в тень, и они остановились, не различив, куда исчез он.

Ярко светила луна, и в свете ее казался покинутым и призрачным священный город, открывшийся отсюда, с горы Елеонской, во всем своем размахе. Тени искажали очертания храмов и дворцов. И почти не видно было никаких огней, лишь далеко на северной стороне у римских казарм вздрагивали языки костров, да светились два окна в здании синедриона. Иисус знал, что сейчас не до сна там, и ему виделось, как мечется по залам ожиревший Каиафа, как молчит Никодим, не имеющий силы сказать прямо в глаза первосвященнику все, что думает о нем. Бедный Никодим; его связали свои угоды и рабы. И скольких еще опутала тяга к маммоне, сластолюбие, скольких еще соблазнит земное богатство. Что им народ, продающий детей в рабство египетское, поедаящий кору на смоковницах, все это не в пределах их глаз и чаяний. Им дорого только свое земное величие! Отец же небесный создал всех равными по образу и подобию своему, все от колена адамова, и народ сей возлюбил, близкий ему, и все двенадцать колен давидовых... Но велики и нестерпимы грехи, и скрежет и боль души наполнили землю обетованную... Вернутся ли грешники в лоно божье? Слова — они так быстро забываются, проповеди не слышат те, кому предназначены они. Только кровь пробудит их, только кровь и муки...

И ему вспомнился Иоанн Креститель, предтеча... И встреча с ним в пустыне. Иоанн был как мираж, поднявшийся из песков, — лавина грива спутанных волос опускалась на костлявую спину, кожаный пояс свисал с живота, вместо одежды — верблюжья власьяница. И какой неповторимый огонь в опаленных солнцем глазах! Если бы жив был Иоанн, не сделал бы сей грозный пророк и шагу в город святош, ложным все это считал, верил, что пойдут сами к нему от храмов пышных и дворцов. И, окрестив в Иордане, сумеет очистить он их от грехов, посвятить в истинную веру, лишаящую зла и стяжательства, и мечи в ножнах ржаветь будут. Не понимал, что на себя надо взять грехи мира всего; распутство, жестокость, прелюбодения...

Тоска и предчувствия, томившие Иисуса, стали ося-



заемными, как будто воздух вокруг наполнился страхом и тленом. Он опустился на колени и стал истово молиться за народ свой и за город этот, самый прекрасный на земле обетованной.

Иоанн, Петр и Иаков, услышав слова его молитвы, увидели учителя, но стояли в отдалении, не решаясь приблизиться, чтобы не мешать ему. Говорили они вполголоса, почти шепотом, и шепот их сливался с шорохом листьев и таял в тихом плеске Кедрона.

— Я боюсь, — сказал тихо Иоанн, склонившись на грудь брата своего Иакова, — он говорит, что предадут его на муки? Это ведь неправда, люди не позволяют, да и мы... а, Иаков?

— Оставь сомнения, друг мой, — ответил Иаков, — сын божий бессмертен, не плачь! Народ с нами, и под плащами мечи у нас, за римлян и фарисеев многие ли встанут? Обретшие веру, рабство отвергнут...

— Не усомнимся в правоте своей, — сказал Петр.

Иоанн кивнул, соглашаясь с ним, но никак не мог унять дрожь, охватившую его, и в темноте никто не заметил, как побледнел он.

Иоанн видел, как в тени маслин в молчаливом порыве то падал ниц на траву Иисус, то вставал на колени, он слышал слова скорби, вырывавшиеся из уст учителя. И казалось ему, что все это лишь снится, и скоро развеется страшный сон — возвратятся они в солнечную Галилею, будет сверкать голубиной Генисаретское озеро, и никогда не покинет их учитель... И, уже опустившись на землю и засыпая, услышал он слова Иисуса:

— Отче мой! Если возможно, да минет меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как ты...

В этот миг, когда смежились глаза Иоанна, невыносимые страдания охватили Иисуса, и кровавый пот выступил на челе его. Нет, он не боялся смерти. Все смертно на земле, все здесь только гости, вся эта жизнь — лишь преддверие царства божьего. Он в это верил. Но знал и то, какие смертные муки предстоит перенести, не просто смерть принять, а смерть в страданиях. Если бы можно было отмучиться за всех, отомолить все грехи людские, но и это не дано, ибо предчувствовал он, сколько плача услышит эта земля, сколько слез напоят ее. Отвратить это горе может лишь отец небесный. И в этот миг, понимал Иисус, не о своей

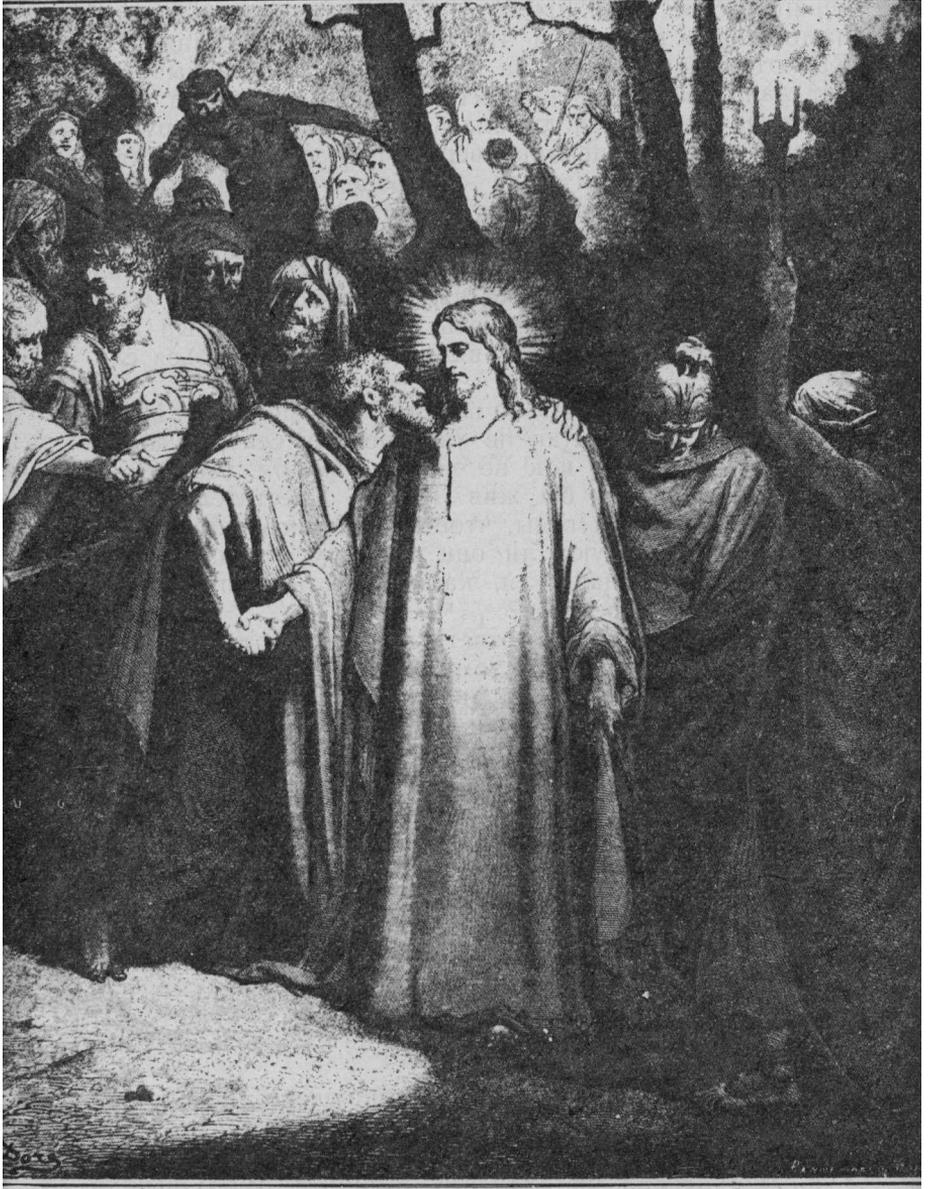
судьбе молиться надо. Да и поздно. Иуда уже начал вершить свое дело. Его можно было остановить — один намек, одно слово — и этот хлопотливый странник из Кариота мог бы стать на праведную стезю, а ныне будет дано ему презрение всех и проклятие мира опустится на него. И подумалось на мгновение: вдруг не поверят первосвященники верткому и всегда ухмыляющемуся казначею, и тогда — свободен, и все можно начать сызнова, укрепив веру свою и веру всех страждущих и отчаявшихся. Но знал — такому исходу быть не дано. Ведь сам торопил Иуду, знал обо всем и торопил, ибо хотя и властны слова над душами, но тают изречения, в небесах растворяясь, и нужен крестный путь мучений, чтобы закрепить их и не дать рассеяться словам этим...

Истомленный молитвой почти до изнеможения, Иисус поднялся с земли. Как не хватало ему сейчас человеческой поддержки, как не хватало рядом такого же, равного себе. Был бы жив Иоанн Креститель! Есть ученики, но нужны годы, чтобы поднялись они к высотам веры. Чувствуют ли они ту меру страданий, что отпущена ему, знают ли, какой крестный путь предстоит им тоже перенести?

Он окликнул Петра, ответа не было, и тогда Иисус вышел из тени маслин к тому месту, где оставил своих любимых учеников. Всех троих увидел он спящими. Лежали они как дети, тесно прижавшись друг к другу и закутавшись плащами. И стало так горестно и тоскливо на душе. А они под его взглядом, очнувшись ото сна, смутились и стали оправдываться. Он же не думал укорять их и даже сказал им в оправдание, что дух бодр, плоть же немощна.

Вспомнились слова псалма Давидова: «Поношение сокрушило сердце мое, и я изнемог, ждал сострадания, но нет его — утешителей, но не нахожу». И заметил он меч, торчавший под плащом Петра, и подумалось: тщетны были слова о непротивлении злу, обнажит этот меч верный ученик, и если это случится, то даже Петр не понял, зачем явлен миру...

Не сразу заметил Иисус, что нарушено спокойствие в Гефсиманской роще. А с южной стороны ее уже мелькали огни факелов. И лязгали мечи, вынимаемые из ножен. И слышал он азартные выкрики, будто вышли охотники на гонимого зверя и радуются удаче.



И понял Иисус—настал его час, и вышел на поляну, освещенную луной, чтобы увидели его сразу. Вот уже рядом услышал он топот торопливых шагов, шум приближающейся толпы. И увидел Иисус то, что уже не раз представлялось ему в мыслях, и ни один мускул не дрогнул на его лице: узнал он Иуду, бегущего впереди всех. И вышел Иисус навстречу — один, безоружный, полный спокойствия, будто и не было сомнений и страданий этой ночи. И поцелуй Иуды он воспринял как должное, и только подивился выдумке — избрать знаком самое доброе. Одна была мысль теперь: как оградить от стражников учеников. Они, ученики, должны уйти невредимыми, чтобы понести далее его учение, чтобы спасти мир, погрязший в грехе. И он не оттолкнул Иуду, а вместе с ним, полуобняв предателя, сделал несколько шагов, уводя его от поляны, где оставались ученики. И подле старого кедра Иисус остановился, и здесь стали окружать его стражники и слуги первосвященников, жаждущие пленить его. А когда спросил он у стражников, кого они ищут, то со всех сторон закричали: Иисуса Назорея!

Ответил он спокойно: это я. Все внезапно смолкли и отшатнулись от него. Наверное, предупрежденные Иудой и насыщенные о творимых чудесах, ожидали, что сейчас он, Иисус, поразит их громом и молниями испепеляющими, и земля разверзнется под ногами. Боязливо смотрели на него, стараясь прикрыть лицо руками, а некоторые поспешно тушили факелы. И ему снова пришлось повторить вопрос: «Кого же ищите?» И опять ответить им, что он и есть тот самый Иисус из Назарета, и дать понять, что более с ним никого нет. И поторопить их—берите, вяжите, коли пришли, не ищите никого другого, не тратьте время...

И тут он заметил, что Петр вышел из-за смоковницы и вид у него воинственный. Он попытался знаками остановить Петра, но тот не хотел ничего замечать. Ярость слепила ему глаза, он выхватил меч и неумелым ударом отсек ухо одному из стражников, то был Малх, служитель первосвященника Каиафы, трусливый раб, всегда заискивающий перед своим хозяином. Малх истошно взвизгнул, схватился за голову и завертелся на месте. Началась паника. И только одна мысль была у Иисуса — как спасти Петра. Пользуясь суетой, Иисус оттолкнул Петра, а сам кинулся навстречу стражникам.

И тут боязнь у стражников сменилась азартом схватки. Убедились они, что тот, о котором насаказано столько легенд, бессилен и не причинит никому вреда, что и не думает он призывать небесное воинство на выручку.

И сразу несколько стражников навалились на Иисуса, стали грубо вязать ему руки, сталкиваясь друг с другом и выкрикивая слова проклятий. И тогда вышли из тени маслин таившиеся там священники и начальники храмовой стражи, не скрывая своего торжества, окружили они связанного и теперь, как казалось им, бессильного врага своего. Но не увидели они испуга в глазах Иисуса. И сказал он им спокойно: «Теперь ваше время и власть тьмы».

Крест

«И когда повели его, то, захвативши некоего Симона Кириянина, шедшего с поля, возложили на него крест, чтобы нес за Иисусом»

гл. 23. Евангелие от Луки

Безжалостно жгло солнце поля Иудеи, листья свертывались в сухие стручки, не успев зазеленеть, песок накалился, а на камнях можно было согреть снесь. Воздух был плотным и душным. И казалось, само небо звенело от зноя. По утопанной тысячами ног дороге, в гору от главного судилища к Голгофе, двигалась огромная разношерстная толпа, здесь были первосвященники из Иерусалима, знать города, слуги их, ремесленники, воины и крестьяне, и праздный люд из других близлежащих городов.

Растопырив кривые ноги и с трудом переставляя их, шел впереди толпы Симон Кириянин, простой пахарь из Аррават, который нес свежееотесанный деревянный крест для распятия. Симон согнулся в три погибели и с трудом удерживал крест. Ступать босыми ногами по раскаленной земле было трудно, и несколько раз поскользнулся он и чуть не упал. Он видел впереди себя узкую спину, покрытую хитомом, расшитым узорами, и терновый венец на слипшихся рыжих волосах осуж-

денного. Чуть поодаль шагали два стройных воина с копьями.

— Где они достали такое дерево, тяжелее камня оно, — прошептал Симон засохшими губами и, встряхнув всем телом, попытался подвинуть выше соскользающую ношу. Он согнулся еще больше и теперь видел только дорогу, черную, покрытую трещинами дорогу на Голгофу.

Вдоль дороги, забегая вперед, останавливаясь, суетились и кричали радостные первосвященники и их служки. Они швыряли в пророка тухлые яйца, гнилые плоды манго и песок. И несколько раз вместо пророка залепили в голову Симона.

Главный первосвященник Каиафа, подобрав полы роскошной накидки, полуобернувшись к осужденному, кричал истошным бабьим голосом:

— Что, царь Иудейский, разрушил Храм, что, разрушил, отступник?! За три дня!

— Сейчас закорчишься! Падаль! Шакал! — кричали из толпы.

— Ну, сын божий! Где твой бог? Ну, самозванец? Отвечай! Где твои ученики, трусливые гиены, где они? — продолжал Каиафа.

Толпа дружно гоготала и улюлюкала.

Изнемогая от усталости, Симон Киринанин проклинал всех святых и пророков, от Илии до Моисея, который привел сюда избранный богом народ с плодородных берегов Нила на клочок бескровной пустыни. И еще больше проклинал Симон свое глупое любопытство.

Утром он, как обычно, спокойно ковырял мотыгой на своем участке, ему помогали жена и сын Руфа. Семья прибавлялась каждый год, и вся надежда была на эту каменистую землю у родника, где — благословение Иегове — не пересыхает вода даже в самые засушливые годы. Симон думал только о том, как бы успеть до захода солнца закончить работу, как надо же было соседу, этому глупому мытарю появиться с воплями:

— Горе нам! Горе нам! Казнят самого праведного пророка, он изгнал бесов из моей дочери, горе нам! Горе земле нашей праведной!

И Симон отбросил мотыгу и побежал за причитающим мытарем.

— Куда ты, Симон, какое нам дело до пророков, пусть казнят их, — закричала его жена и тоже побежала

за ним по вспаханной земле, разбрасывая в стороны свои волосатые ноги. И позади еще долго слышались ее причитания: пророки... фокусники, кто совратил Сару, дочь Якова, тоже мне пророки, знаю я их, бездельники, сколько их шляется по Иудее, остановись Симон!

Симон быстро добежал до дворца. Расталкивая локтями толпу, он протиснулся совсем близко к мраморной лестнице, где стоял на возвышении связанный веревками желтолицый человек с терновым венцом на голове, выдающий себя за пророка. Толпа все росла, задние притискивали передних к каменному барьеру, за которым находились знатные воины и первосвященники. И в окружении их в красном плаще сидел Понтий Пилат — всемогущественный прокуратор Иудеи.

Со всех сторон толпу теснили римские воины. И Симон подвиглся их числу, чуть ли не целая когорта была стянута ко дворцу. Чем так испугал их этот пророк, едва держащийся на ногах. Слышал Симон в толпе и голоса сочувствия и слова, осуждающие первосвященников. Но говорили и о том, сколь опасны были проповеди новоявленного лжепророка, что хотел он разрушить заветы, данные Иеговой, и что есть у него множество сторонников среди евреев Галилеи, и даже, когда схватили его в Гефсиманском саду, сторонники эти обнаженными мечами хотели отбить своего учителя, и один из них, Петр, отсек ухо то ли римскому воину, то ли его рабу, и вот, мол, призывал этот Иисус в своих проповедях — не убий! — а были вооружены его ученики. И не исключено, что попытаются они сегодня отбить у римлян своего предводителя. Шум в толпе все усиливался, и уже невозможно было различить отдельные слова.

И тогда привстал Пилат и приподнял руку, и все на мгновение затихли, лишь угодливые секретари шелестели свитками за его спиной. И такая тишина опустилась на дворец и окружающее его пространство, что шелест бумаг показался громче горных обвалов.

— Кого из осужденных отпустить вам сегодня ради великого праздника Пасхи — разбойника Вар-Авву или лжепророка Иисуса из Назарета, называемого Христом и именующего себя царем Иудейским? — спросил Пилат, глядя вверх толпы.

— Вар-Авву!— дружно закричали первосвященники и фарисеи.

— Авву — авву! — подхватили их прислужники.

— А что же с Иисусом, называемым Христом? — произнес Пилат. — Помиловать или распять?

— А-ааать, — выдохнула толпа.

— Да будет воля народа, — крикнул Каиафа.

— Нет крови праведника на моих руках! — изрек Пилат и склонил свою великолепную царственную голову.

И вдруг все закричали разом, и Симон кричал вместе со всеми. И не было в этом крике одобрения и жажды смерти, а скорее отчаянием и тревогой сотрясал он вечный город. И Каиафа склонился к Пилату и что-то быстро нашептал ему и торопил, потому что понял, что не столь надежна толпа, хотя и собрал он сюда всех своих сторонников. И казнь еврея, пусть он даже и лжепророк, римлянами может возмутить город.

И, наконец, воины сумели начать движение, но когда двинулись к Голгофе — возвышению, именуемому в народе Лысой горой, местом, определенным для свершения казни, — вспомнили, что там нет свободного креста для распятия, крест этот быстро нашли. И теперь главный первосвященник Каиафа стал настаивать на том, чтобы по предначертаниям закона приговоренный сам нес свой крест, но даже мрачный центурион, которому была поручена церемония казни, понял, что слишком слаб тот, кто называет себя сыном Божьим, что он не выдержит дороги и потеряет всякий смысл распятие полумертвого человека. Он пытался объяснить это Каиафе, но тот не желал слушать. И вот приговоренный согнулся под тяжестью креста, но совсем недолго сумел он нести свою смертную ношу. Ноги его подогнулись, он споткнулся и упал.

И тогда тот же Каиафа выхватил из толпы стоящего ближе всех Симона, подвел к центуриону и выкрикнул:

— Он понесет крест, он согласен!

И вот теперь Симон, буквально раздавленный тяжестью, с трудом тащился по бесконечной дороге и ничего не видел вокруг, кроме ног воинов в деревянных сандалиях и ручек их копий.

Воины переругивались.

— Мой хитон, спроси у Пилата, собака!

— Осел, я проткну тебя прежде, чем ты дотронешься до него!

— Я сказал, что хитон возьму я.



— Хватит с тебя синагоги вифагийской...

Спор их таял в криках толпы, сотрясавших древние стены святого города.

«Поделом тебе, старый грешник, Симон Киринанин, — подумал Симон, — все это забавы для бездельников. Подлые, не могли даже крест приготовить заранее. Кому нужно устраивать это распятие? Иоанну Крестителю просто отрубили голову, суда им не понадобилось. Распятие — это казнь для рабов и убийц, для тех, кто восстает против римлян. Лжепророков по закону Моисея просто избивают камнями. Вар-Авва — Это истинно разбойник, он призывал народ к смуте, к низвержению кесаря. А этот проповедник — чем он так напугал всех? Почему посчитали, что возжаждал он стать царем иудейским? После всех бичеваний и допросов этот новоявленный царь едва передвигает ноги».

И в это время Симон повернулся и глаза его встретились с взглядом Иисуса. Была такая печаль в голубых глазах осужденного и вместе с тем какая-то глубокая неведомая притягивающая сила, что Симон внезапно остановился, и крест стал сползать с его спины.

С помощью воина он переложил огромный крест на левое плечо, так нести, правда, было не очень удобно, но правое плечо уже было истерто в кровь. «Завтра в поле нельзя — суббота, если пойдешь — закидают камнями, — подумал Симон, — рабби и так не отстают с попреками, что пропущена очередь при пожертвованиях на алтарь Божий».

И мелькнула в гудящей от жары голове Симона кошунственная мысль: а может быть, и прав этот Иисус из Назарета, утверждавший, как говорят, в своих проповедях, что не человек для субботы, а суббота для человека. И его обещания о царстве Божием для всех страждущих и покаявшихся — вдруг окажутся действительно пророческими. Может быть, это и есть тот мессия, которого предвещал еще Илия. И Симон замотал головой, отгоняя несправедные мысли, и застонал. Нет, нет, если бы осужденный был действительно мессией, то разве бы отдал себя в руки римлян, разве явился бы на землю в столь слабосильном обличии. И если он из рода Давидова, то взмахнул бы пращей, а не подставлял щеки бичующим. И все-таки, может быть, и права жена: сначала казнят этих пророков, потом хватаются и будут сгонять таскать камни и мрамор тесать для гроб-

ниц их. «Проклятый крест», — прошептал Симон и подумал, что еще немного и он, Симон Кириинеянин, свалится на дорогу и тысячи ног пройдут по нему. Левая рука совсем онемела, трет подвязка штанов, ноги изранены.

Он уже почти терял сознание, когда скорее не услышал, а почувствовал — все! И Каиафа взвизгнул: «Здесь!»

И люди, натываясь друг на друга, свистя и пронзительно выкрикивая слова о смерти, двинулись, окружая Голгофу, чтобы увидеть зрелище расправы.

Симон свалился на дорогу, два воина подняли крест, а третий отволоч пахаря в сторону. Симон отдышался, пролез сквозь тесные ряды беснующейся толпы и на лужайке под смоковницей жадно приник к прохладному роднику.

Он не видел, как вонзали гвозди в хилое тело пророка, как совали Иисусу, истомленному муками и жаждой, копьё с губкой на острие, губкой, намоченной уксусом, как выли распятые рядом с Христом разбойники, и как Христос, терпевший весь день и молчавший, как немой, вдруг не выдержал и закричал: «Илиия... Илиия!» И обрадовался Каиафа: «Илиию зовет!» Потому что понял — конец пророку.

Симон ничего этого не видел и не слышал, он лежал на земле под тенью дерева, проклиная свое глупое любопытство и всех лжепророков, и думал о том, какой крик и сколько попреков ожидают его дома за невспаханное поле.

Покаяние Дамаха

Дамах ногой нащупал выступ, обрел опору, гвозди перестали разрывать плоть на руках, и боль утихла. Еще бы несколько глотков пьянящего шекера! Да будут благословенны жены иерусалимские, даровавшие спасительное зелье. Крепок шекер — перебродивший сок граната, — и сладок дурман добавленных трав, вызывающих сон забвения. И в этом сне не страшны смертельные муки, и все качается и плывет там, внизу, на желтой истоптанной земле — и сверкающие на солнце шлемы легионеров, и воздетые к небу острые копыя, и

белые одежды храмовых служек, и серые, как шкура змеи, поросли солончаков и стебли иссопа. И вознесены надо всем этим три креста, и на том, который посередине, вытянулось бледное истощенное тело, и над крестом дощечка с надписью. Легионеры тычут копьями в надпись и гогочут. Не силен в начертаниях арамейских букв Дамах, да и расплываются они в глазах, но прочесть можно: «Царь иудейский». И глухо доносятся крики, и кто-то из очень важных, возможно, сам первосвященник, возмущен: Не царь иудейский! Не царь! Надо было написать: «Он говорил — Я царь иудейский!» Дамаху безразлично, что написано. Он видит, как судороги сводят мышцы, как боль пронзает распятого рядом. Напрасно этот упрямец не стал пить шекер, только прикоснулся тонкими губами к чаше, вздрогнул и отвернулся. Пусть теперь сполна испытает смертные муки!

Дано ему Дисме, прозванному Дамахом, встретить смерть рядом с этим хилым лжепророком. Кому-то захотелось так устроить, что отделяет этот бродячий проповедник его, Дамаха, от давнего друга — неистового задиры самаритянина Тита. Над головой Дамаха и над головой Тита нет надписей — и без того знают в стране Израиля об их кровавых разбоях и грабежах. И сегодня дано им в последний раз смеяться над своими палачами. И беспокойный Тит без усталости поносит всех этих ублюдков. Но слов не разобрать Дамаху. Видит он только, как вздымается волосатая грудь собрата и раздается криком губастый рот. И борода запеклась в крови. Шекер не подействовал на Тита, не пара глотков нужны тому, а бездонная река. И не боится Тит смерти. Он не раз обрекал на нее других, он давно знает ее.

Нет и у него, Дамаха, страха перед гибелью и даже перед смертными муками. И когда привели сюда на эту иссохшую гору, когда повалили на крест и, ожидая, что будет он сопротивляться, насели двое легионеров на ноги, только засмеялся Дамах, увидев молот в руках палача. Ибо понял — недолгим будет мучение. И продолжал он смеяться, когда поднимали крест, хотя и пронзала тело дикая боль, ибо от малейшего движения разрывалась плоть на четырех ранах, и текла изпод гвоздей кровь. Возрадовался — знал и другой мог быть исход: привязали бы к кресту, дня три пришлось бы обвисать на веревках, задыхаясь от жажды. Видел

он тысячи распятых, помнит эти кресты вдоль дорог, ведущих в Иерусалим. Помнит, как расправились римляне с восставшими иудеями. И крики помнит, и мольбы о смерти, стихающие по ночам, а днем раздирающие сердце. Не тратили римляне гвоздей. А теперь — какая щедрость! — раны зажгутся огнем, огонь замутит кровь — и к закату кончатся мучения. Осталось совсем немного. Завтра суббота, праздник Песах, и не допустят блюстители завета, чтобы увидел он, Дамах, восход следующего дня. Перебьют голени или ткнут под мышку копьем — и конец. И не будет больше на этой земле разбойника Дамаха...

Небесам дано было вселить в его тело необузданную силу, пожалуй, только Титу он уступал. А так, мог, не страшась, выйти против любого, гнул подковы и копья на коленях своих и, под верблюда встав, отрывал того от земли. Был подобен Самсону, который разрывал дикого льва, как козленка, и не страшась, мог полчища врагов истребить. Мог, как Самсон, цепи и веревки разрывать на теле своем, напрягая мышцы так, что плавились эти веревки, как перегоревший лен, а цепи плавилась будто в раскаленных тиглях. Но не был Дамах сыном Божьим, как Самсон, рожденный от святого духа у жены человека из Цоры. О, если бы такое было дано, то не оставил бы в смертный час всевидящий Ягве! Явился бы терновым кустом или огненной колесницей, обрушил бы кресты на головы снующих подле них римлян и иудеев, опалил бы их головы огнем. И он, Дамах, восстал бы с креста, и раны бы стянулись, зажив мгновенно. Как бы отомстил он, Дамах, своим палачам! Он бы не стал тратить дерево для распятий — ибо это не самая страшная казнь. Есть мучения невыносимые, есть каленое железо и дыбы в пещерах, превращающие самого сильного воина в жалкую и лстывую гиену...

Только бы выдержать самому, только бы не уподобиться тем, кто валялся в его ногах, вымаливая право на жизнь, целуя эти стопы, которые сейчас пронзил гвоздь, раздирающий жилы. Выдержать все — и соскрести, вернуться в жизнь, пусть в облики самого нищего пахаря — только бы жить, только бы вдыхать свежий воздух, только бы утолить жажду глотком животельной влаги... Все можно изменить, все можно начать сначала...

Совсем рядом прерывисто дышит тот, кого называют не только царем, но и сыном Божиим. А вдруг он обладает неведомой силой и властью над людьми! Но почему тогда молчит? Почему смирился со своей участью? Пусть не ангелов небесных, но своих учеников мог бы призвать... Ведь стекались за ним толпы фанатиков. И радовались их явлению и он, Дамах, и те, кто давно уже обитали в святом городе вместе с неистовым Титом. Призвал Тит многих из пустынь идумейских и с гор иорданских. Торопил. Виделись Титу не только удачливые грабежи. Хотел власти, жаждал захватить несметные богатства, нажитые первосвященниками. Покушался на храмовые сокровища. Убеждал всех, что чужда ему иудейская вера, что возрос в Риме и был знатен. Но никто ему не верил. Как и не верили те, кто окружал Тита и Дамаха, в чудодейственную силу пророка, именуемого Христом, Спасителем, того пророка, что повис сейчас рядом на кресте и не может спасти даже самого себя.

Не верили в его силу, но вести о чудесах разносили охотно. Чем больше народа взойдет в Иерусалим, тем лучше. Есть где развернуться. И скрыться легче в толпе, и легче затеряться среди пришлых людей. А к празднику Песах все прибывали и прибывали они со всех сторон. И не только из страны Израиля. Сошлись верующие из Александрии, Финикии, Сирии, Идумеи, даже из далекой Персии пришел караван. И были здесь не просто странники — голь перекатная, шествовали к Храму обладатели жемчугов и серебра, владельцы римских динариев и греческих драхм, медных статиров и золотых шекелей. Каждый ждал благодати и Божьего знака. А постиг благодать какой-то полунищий Лазарь, воскресший из мертвых. И вернул его к жизни тот, кто сейчас задыхается от смертных мук и не в силах одолеть их. Как ходят его ребра, как запал живот и вздрагивают жилы на тонкой шее! Ему ли сотворить чудо? О, как хотел этот сын Божий всех обратить в свою веру. И рассказывала Марфа, сам слышал ее Дамах, та самая Марфа, что была сестрой Лазаря, будто сказал воскресивший брата пророк: «Я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в меня, не умрет во век...» О, если бы было так! Почему же, сотворив чудо, пророк сам не остерегся, отдался в руки палачей? По-

чему? Говорил открыто. И вдруг вспомнились отчетливо слова его, услышанные ли в городе, переданные ли Марфой: «Город, построенный на высокой горе, укрепленный, не может пасть, и он не может быть тайным...» А ему, Дамаху, приходилось всю жизнь таиться, надо ли было? И почему не дано было обрести веры? Почему?

И опять всплыли из глубины разгоряченного мозга и по-новому осмыслялись услышанные слова распятого рядом: «Если те, которые ведут вас, говорят вам: смотрите церковь в небе! — тогда птицы небесные опередят вас. Если они говорят вам, что она в море, тогда рыбы опередят вас. Но церковь внутри вас и вне вас...»

Уверовать во все это и жить. Только бы не умирать! Жизнь хрупка. О, как легко ее отнять! Для этого — и голод, и холод, и дикие звери, и острые мечи... И над-всем этим Ягве — всемогущий и всевидящий, властный лишить тебя жизни в любое время. Что ты для него — мелкая песчинка — народы, подпавшие под его гнев, исчезали в огне, сметенные лавой и засыпанные горящей серой. Ждать ли пощады ему, Дамаху? Руки в крови, на ногах кровь... Вся жизнь в крови и смертных грехах! И вот наказание — позорная смерть... По делам их воздастся им...

Но та же смерть и тому, кто зовется сыном Божиим. Сыном, который, по словам учеников его, несет спасение всем страждущим и униженным. Всем, кто претерпел муки здесь, на земле, обещан рай на небесах. Препирающий всех проповедников Тит, впервые услышав в Иерусалиме обо всех этих благих посулах, расхохотался и воскликнул: «Осанна новоявленному мессии!» Дамах знал, что радуется собрата. Близился час их удачи, несметные сокровища Авитапула сами плыли к ним в руки. Видели они торговца среди тех, кто слушал нового пророка. Пусть потешит себя напоследок, сказал тогда Тит и обнял его, Дамаха. Но даже сокровища этого торговца уже не прельщали Тита. Он мечтал о власти. И когда возлежали за трапезой у сводного брата Дамаха в Вифсании, сказал Тит: «Сокровища исчезают быстро. Надо поднять народ против знати. Войди со мной в жребий мой, и мы овладеем и городом, и богатствами его, и знатными женами иерусалимскими!»

Дамах не сказал тогда нет, но понял — никогда уже больше не пойдет за своим собратом. И, может быть,

эти откровения испугали тех, кто ранее всегда беспрекословно подчинялся решениям главаря. И нашелся тот, кто донес о задуманном. И они попались, не начав даже действовать. Из темницы, сквозь мутные зарешеченные окна видел он, Дамах, как увели на суд Тита, видел как потом привели того, кто назвался Иисусом, сыном Божиим. И ночью бичевали этого сына плетьюми со свинцовыми наконечниками, и ни у одного из бичующих не отсохли руки. Римские воины были веселы. Все казалось им просто очередной забавой. Завязали новоявленному пророку глаза, били по лицу и кричали: «Прорекли нам, мессия, кто тебя ударил?» И злобно прошипел вышедший к ним священник: «Какой он мессия, какой спаситель? Это же Иешуа — сын плотника из Назарета!» Во дворе горели костры, теснилась подле них любопытствующая дворня, бегали мелкие служки... Не видел только Дамах никого из тех, кто шел по улицам города за этим пророком. Недаром сказано древними: «Поражу пастыря и рассеются овцы стада...»

Дамах был один в темнице, он знал, что обречен. За ночь стены в темнице остыли, стало даже прохладно. О, если бы сейчас снова очутиться там, прижаться лбом к холодному камню, слизать росу со стен. И вытянуть ноги, опереть их о стену, лежать так с поднятыми ногами, уберечь их от сжигающего кости огня...

Омыть бы их, охладить... Окунуться в гладь озерных вод или у оазиса подставить спину под ледяную струю родника. Нет, сначала сунуть в воду голову, раскрыть широко рот и пить непрерывно живительную влагу. Насытиться водой, и тогда не страшны любые муки. Он, Дамах, не какой-нибудь изнеженный фарисей, он привык ко всему — мрачные пещеры и узкие расщелины в скалах служили ему укрытием, были его домом, и раны на нем заживали, как на диком звере. На тропах близ Генисарета тело его пронзило копьё сирийца. Дамах сам выдернул это копьё и отбросил в сторону, не издав даже стопа. А потом, когда делили добычу, и жестокосердный Тут, уверовав, что его сотоварищ не протянет и дня, придвинул его долю к себе, Дамах поднялся с каменного ложа, повернулся раненым боком к сидящим у очага и сказал: «Смотрите — не кровоточит ли тело мое?» И удивились все — запеклась кровь, стянулась смертельная рана. Той же ночью пришлось уходить из пещер, убегать по скрипучим пескам, бросив добычу

и медлительных верблюдов... И всю ночь мелькали позади огни — жгли факелы стражники из Себастии, посланные - вернуть золото, похищенное из дворца тетрарха. Вернуть и убить тех, кто унес его...

Как это просто и легко — убить! И как из века в век нарушается эта заповедь — не убий... Столько смертей повидал он, Дамах, что сердце его и разум его перестали удивляться, перестали страдать. На то и рождается человек, чтобы умереть. Рано или поздно — это свершается... Неотвратим суровый суд Ягве, всемогущего Бога. Вот-вот наступит этот суд — и ужаснется даже Господь, коли поведать ему все без утайки, шархнется в сторону от Дамаха и отвернется навсегда. И он, Дамах, не намерен валяться в ногах Всемогущего...

Никому не дано избежать смерти. Все встретимся с ней. И ты, римский легионер, гордо восседающий в седле, и ты, первосвященник, мнящий себя посредником между Ягве и народом Израиля, и вы, женщины Иерусалима, похотливые суки, жадные до любви и млеющие от вида золоченых безделушек... И ты, распятый рядом пророк, ибо видно сразу — смерть уже поселилась в твоём теле. Как бледно твое чело, увенчанное терновым венцом! Где же те, кто восторженно прыгал вокруг тебя и размахивал пальмовыми ветвями. Лишь один из них здесь, в этой толпе у подножья креста. Вот он, обессилевший, льнет к плачущей женщине. И та гладит его золотистые волосы. Его она утешает, а не тебя! Разве этот юнец решится кинуться на стражу? Остальные же здесь переполнены злобой. Они скалят редкие зубы, они вздергивают вверх головы, бороды их вздрагивают. И все-таки они чего-то боятся, отводят глаза и, чтобы скрыть свой испуг от других, бодрят себя дерзкими выкриками...

Трудно разобрать, что они кричат. Сплошной шум стоит в голове. Набухли вены, не проходит в них кровь, она запекается, она вскипает. Надо бы закинуть руки за перекладину, уцепиться так, чтобы гвозди не рвали тело. Но каждое движение приносит новую боль — сознание туманится, красноватый песок плывет перед глазами, песчинки превращаются в красные пузыри, кажутся, вот-вот они лопнут. И снова острая боль... И она возвращает мыслям ясность и обостряет слух. Будто вытащили пробки из ушей — и хлынули крики:

— Корчится в муках! Других спасал, а себя не мо-

жет спасти. Где твои ангелы? Сойди с креста, чтобы увидели мы! Чтобы уверовали! Спаси себя!

С этими выкриками там, внизу, подбегают к срединному кресту, машут кулаками и тотчас боязливо отскакивают, укрываясь за спинами легионеров. И все крики перекрывает зычный, знакомый, почти звериный рык:

— И-е, и-еха! Змеиные выродки! Чтоб вы передохли, как вонючие мухи! Пусть жен ваших пользуют римляне! Держите крепче свои отвисшие зады, сейчас я сорвусь с креста... Чтоб вы все прогнили от язв и струпов! Чтоб как змеи ползали на брюхе!

Дамах с трудом повернул голову в сторону Тита, хотел крикнуть: «Держись, мы еще им покажем!» — слова застряли в пересохшем горле. Но Тит понял, что еще жив Дамах, что еще не все потеряно. Дамах хотел остеречь своего друга — слишком много сил тот тратит на эти проклятия. Ребра его судорожно вздымаются, шея налилась кровью, глаза неестественно расширились. Вот он уже накинута на истомленного муками пророка:

— Ты, трус из Назарета! Верткий иудей! Что же ты боишься спасти нас? Трусишь, царь иудейский! Будь ты проклят, жалкий бродяга!

Дамах знал, что Тит презирает иудеев, с этим приходилось мириться, Тит всегда помнил о своем высоком происхождении, он считал себя римлянином. Это была выдумка, но никто не осмеливался перечить Титу. Возможно было вмиг лишиться головы. Даже против Вар-Аввы вынашивал коварные замыслы Тит. Вар-Авва, погубивший столько человеческих жизней, проливший столько крови, что никому не приснится в самом ужасном сне, этот Вар-Авва, отпущенный римским прокуратором Понтием Пилатом, пирует сейчас где-нибудь в шумном Дамаске! А может быть, он еще здесь, вдруг он рыскает вдоль крепостных стен, собрал людей, они вооружены. Сейчас грянут коршунами на Голгофу, лихим свистом огласят ее — и разбежится стража, умчатся в страхе конные, спрячутся в маслиновом саду пешие... И вот уже отодраны гвозди! Он, Дамах, сходит с креста, и спасенный Тит обнимает Вар-Авву и кричит: «Хотя ты иудей, но храбр, как настоящий римлянин!» Они снимают с креста того, кто именует себя Иисусом — сыном Божьим, и уходят по тайным тропам за реку Иордан, в горы, чтобы залечить раны, набраться сил, обрушить-

ся на торговые караваны, и мстить, мстить, не пальмовую ветвь неся в руке, а зажав в ладоне рукоять отточенного меча. И у Христа тоже меч...

Дамах напрасно всматривается вдаль. Нет спасения, по принес Господь тучи, и темнеет небо. И шепчет Дамах пересохшими губами: разрастайся туча, хлынь беспрерывным дождем, захлестни невиданным потоком, всех смой, утопи! Не надо искать нового Ноя в этом городе. И напрасно называют его святым! Еще блестят его купола, еще венчают холмы четырехгранные крепостные башни из белого мрамора, еще солнце, не скрытое тучами, высвечивает розоватые стены дворцов, еще не завяли окрестные сады, но скоро все померкнет. И не потому, что погибнет от потопа или огня. Городу этому дано стоять вечно. Исчезнет все для него, Дамаха... Вот и прожита жизнь, и всплыли в памяти слова Иовы-богоборца: «Да сгинет день, в который я родился, и ночь, что сказала: — Зачат мальчик». И выставлено на осмеяние тело, открыта нагота его, и стало оно вместилищем режущей боли. Будто раскаленными клещами вывертывает руки в плечах, словно дикие звери впились в сухожилия, и ползут, ширятся раны на ладонях и стопах. И уставшее от муки обвисает под собственной тяжестью тело. И голова становится тяжелой, будто залили ее расплавленным свинцом, и шея уже не держит ее. И голова качается, качается, и все закручивается и сжимается вокруг. И уже трудно различить тех, кто взирает снизу на крест, все они слились. И нет уже различия между тем, что происходит наяву и в смутных видениях...

И среди этой боли и отчаяния встает оазис, затерянный среди желтых холмов. И женщина, похожая на ту, что бьется сейчас в рыданиях у подножия креста, протягивает ласковые руки и зовет: Дисма, Дисма... Забытое имя детства. Зовет и протягивает сосуд с золотистым прохладным соком. И мальчик, а это он, Дисма, прозванный потом Дамахом, прильнул к узкому горлышку и, торопясь, захлебываясь, чмокает губами. И ощущает бархатные пальцы матери на разгоряченном лбу, а позади стоит сестра — длинноногая Юдифь и дергает его за руку. — Не мешай, Юдифь, я так хочу пить... Да, Дисма, пей, я понимаю, ты набегался, ты устал... Но пощади меня, ты пощадишь меня?.. И возникает бляение, и топот — это стада овец спускаются

с горных пастбищ — и нет им числа... — Все это будет твоим, Дисма, мой первенец Дисма, — шепчет мать, теребя его волосы, — только обещай, что ты никогда не оставишь Юдифь, что будешь щитом для нее, как был для меня надежным щитом отец твой Иаков... А мальчик все пьет, он осушил почти весь сосуд, он просит еще сока, но сока нет, тогда — воды... Глупый, — смеется Юдифь, — воды полно в нашем источнике, беги за овцами, они пьют сейчас воду у трех камней, там чистая вода. Беги, пока они не замутили ее. В мире нет слаще воды, чем в роднике у трех камней...

Но что это? Куда девался родник? Все засыпано песком. Пепел и прах вокруг, дым ест глаза... Дисма бьется в рыданиях. Рука, пахнувшая едким потом, затыкает его рот. Он кусает, что есть силы, он вырывается, он кричит: «Убегай, Юдифь!» И все горит вокруг, рушится крыша, возле пожарища мечется мать, ее настигает волосатый, похожий на огромную обезьяну воин. Одежды его распахнуты, за ним бежит коротышка в медном шлеме. Мать пронзительно кричит. До сих пор в ушах этот крик. Так верещит смертельно раненый заяц. Она падает, мелькают ее обнаженные ноги. Коротышка сопит, садится ей на голову, подбегают еще двое, на ходу сбрасывая одежды... Мальчик делает отчаянный рывок, он бросается в сопящую кучу мучителей, удар ноги в живот — и все обрывается, и он летит, срывается в черную пропасть...

Если бы мать была жива, если бы смог уберечь Юдифь, они бы после захода солнца сняли его тело с креста, омыли бы его, положили в гробницу отца. О, насколько спокойнее встречать смерть, когда знаешь, что оплачут тебя и погребут...

Дамах видит, как убиваются три женщины там, внизу у подножья крестов. Слезы их не о нем! С тоской и любовью взирают они на того, кто распят рядом. И Дамах понимает — одна из этих женщин мать пророка. Но никто не оплачет разбойника Дамаха, и не вспомнит имени его — Дисма, шепчет он, меня зовут Дисма. Он примет смерть, и возликуют убиенные им, возрадуются там, на небесах. А его ждет геенна огненная. И началась она здесь, на кресте. И боль становится все нестерпимей, и туманятся мысли... И тучи все темней. И в их просвете видится гневный взор Ягве, и содрогается в страхе земля. И вопрошает Ягве: поче-

му же не сошел ты с ума от того, что видели глаза твои? Слетятся со всех сторон души замученных и убиенных. И не приведи Господь, объявится душа торговца из Александрии, которого подвешивали на ветвях дуба в рощах Голаадских. И возникнет из облака душа дочери его, принявшей смерть в позоре и мучениях. За какие же грехи предал Господь их в руки наши? Почему ожесточил сердца?

Бороду выжгли старику и, срам его хилый, вырвав, бросили псам. А старик молчал, искусал в кровь губы и молчал. Зачем ему золото? После всего свершенного над ним? Почему упорством своим обрек он на гибель и себя, и дочь свою? Был похож он на собаку, которая спит на кормушке быков, сам не ел и не давал есть быкам...

Дамах вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд, то смотрел на него осуждающе распятый рядом пророк, который — теперь это было уже совершенно ясно — знал мысли Дамаха, проникая в самую суть их. И ничего нельзя было скрыть от него! Но почему хранил молчание этот провидец? Скажи что-нибудь, прошептал Дамах, не молчи, прокляни меня, я нарушил заповеди, данные Господом Моисею. Я грабил и убивал...

И если твой отец — всемогущий Ягве, то спроси его: почему столь слаба и незащищенна плоть человека? Почему не даровал он человеку панцирь, как черепахе? И вот — один удар меча может отсечь голову. И даже малая толика яда может лишить жизни. И зачем послал Господь на землю золото и серебро, из-за которых введены в соблазн многие, ибо там, где много золота, уже пахнет убийством. Когда убиваешь человека неизвестного тебе, впервые встреченного на караванной тропе — воспоминания об убийстве не томят по ночам. Но когда гибнет близкий тебе человек, когда принимает смерть из-за тебя, он приходит в твои сны. И ты просыпаешься в поту и ждешь расплаты. Я боюсь этих снов! Я жалкий трус и убийца, я недостойн даже этих снов!

Ты презираешь меня, Иисус? Почему ты молчишь? Ты ведь обещал всем спасение! — Дамах пристально смотрел в глаза распятого рядом, стараясь уловить ответ, и с ужасом ждал он этот ответ: — Будь проклят ты, разбойник Дамах, во веки веков! Но были сомкнуты губы Христа и не было ни презрения, ни ненависти в

его взоре, а исходил из глаз его мягкий обволакивающий свет. И этот свет проникал в душу Дамаха, и было так много смысла и в этом излучении, в этом свете, льющемся из глаз и даже в молчании, ибо это было не просто молчание, это было царственное молчание. Победа над мучителями, ибо тот, кто, казалось, должен был сразу испустить дух, не издал даже стога. Дамах был уверен, что хилое тело пророка не выдержит мучений. Он ошибся! И вдруг догадался Дамах, что Иисус отверг шекер, потому что хотел сполна испытать мучения, он сам взошел на крест, принеся себя в жертву.

Отчетливо вспомнилось Дамаху то, о чем говорил этот проповедник в Иерусалиме, и те слова, на которые раньше не обращал внимания, теперь обрели истинный смысл. Так, значит, истинно говорил тогда пророк, что хочет принять на себя все грехи, что послан затем на землю... Но представляет ли он, сын Божий, сколь велики бывают грехи, и есть ли мера страданий, после которых даруется искупление? Если мучениями можно искупить вину свою, он, Дамах, готов к любым мукам...

Пусть гвозди рвут плоть, пусть раскалывается голова, пусть выворачивает кости, пусть жажда разрывает нутро! Разве не страшнее те мучения, которые испепеляют сердце, рвут душу... И нет искупления!

Губы Дамаха шевелились беззвучно. Но ему казалось, что он кричит, и еще казалось ему, что Иисус слушает его, что даже кивнул, и что-то говорит в ответ, только вязнут звуки в накаленном воздухе и никак не могут достичь ушей Дамаха. И Дамах кричит — вернее, ему представляется, что он кричит. И что-то кричат и воины, и фарисеи,двигающиеся вокруг крестов. Но в голове у Дамаха только свои слова, и слова эти обжигают, они страшны, их нельзя произнести вслух, они безумны, им никто не поверит, никто, кроме распятого рядом Спасителя.

— Слушай, Иисус, ты многое узнал обо мне и думаю, что сердце твое уже успело отворотить тебя от меня. Но самое страшное я еще поведаю тебе. Ум мой потемнел, и душа помрачилась, а может быть, и давно окаменела она. И нет ее, и нечего спасать тогда! И есть грехи, которые никогда не прощаются, ты поймешь это, напрасно ты обещаешь всепрощение. Ты просто не ведаешь, насколько низко может пасть человек. Может быть, только сегодня, в день своей смерти, ты поймешь

это! Ты узнал, что такое предательство, тебя ведь тоже предали? Ты простишь этот грех?

И тут увидел Дамах, что Иисус отвернулся, что голова его склонилась и взор помутился. Но это было лишь на мгновение. И снова разглядел Дамах сочувствие и сострадание в глазах Иисуса. И хотел продолжить, и зашевелил беззвучно губами. Но очнулся на кресте Тит, взревел яростно, судорожно заходили ребра на его могучем теле, мускулы рук напряглись так, что показалось Дамаху — сейчас соберет все силы Тит, сведет руки, вырвет гвозди из дерева — и рухнет крест, и в ужасе разбегутся стражники. Но Тит только передернулся на кресте и выплеснулся из его уст хриплый стон, и кровавая пена выступила на губах. И выкрикнул Тит из последних сил: «Будьте прокляты! Римские твари, иудейские менялы, будьте прокляты! И ты, кто назвался пророком, тоже будь проклят! Ты обманул нас всех!»

Дамах дернулся, и от резкого движения будто огненная рана зажглась на левой руке, а грудь сдавило раскаленными камнями. Ушел под ребра опавший живот. Дамах застонал, стараясь окликнуть сотоварища по разбоям.

Опомнись, Тит, в смертный наш час не возводи напрасную хулу! Покайся, Тит! Перед ним, перед сыном Божьим! Мы с тобой принимаем муки за грехи свои, а он за что? Он воскрешал, а не лишал жизни! — примерно это хотел выкрикнуть Дамах, а потом уже обратиться к Иисусу: — Не слушай его, Христос, человек становится безумен от нестерпимых мук, невыносимая боль мутит разум, и у меня становятся несвязными мысли. Не знаю, что ищу я в свой последний час. Мне не на что надеяться. Не дано никому возвратиться в прежние годы. А если бы было дано? Все равно я не смог бы отвратить беду от своего дома. Мне было тогда слишком мало лет, я смог только затаить злость и скрываться, и ждать терпеливо, пока не налились мышцы силой и не обрел я умения без промаха метать и нож, и копьё. Я снова бы начал мстить, как мстил я в своей жизни каждому, в ком была хоть толика сходства с насильниками... За мать я расквитался сполна, но я нарушил данную ей клятву, а потому избави меня, Господь, от встречи с оскорбленной душой той, что произвела меня на этот безумный свет...

— Слушай меня, Христос, слушай внимательно — это случилось в Себастии, пышном и кичливом городе, где скрывались мы после нападений на торговые галеры, привозящие товары из Египта. У нас были даже свои быстроходные лодки, мы не ждали, когда ветер наполнит паруса, у нас были самые сильные гребцы — отчаянные филистимляне. В море нельзя медлить и ждать, надо успеть вовремя вспрыгнуть на борт чужого корабля, надо первым метнуть нож — и некогда раздумывать и разбираться — кто перед тобой. Мы нападали по ночам, когда никто не ожидал этого. Радостными возгласами встречали нашу победу рабы, прикованные к веслам. Мы освобождали их руки от железных оков. Они пытались увязаться за нами, они жаждали крови. Но Вар-Авва всегда говорил, что из раба никогда не выйдет вольного разбойника. Раб похож на наложницу из гарема, он всегда может предать тебя. Может быть, Вар-Авва был не прав, но его поддерживал Тит. Наложниц мы уводили с собой, мы бросали сонных женщин в лодки, мы предавались любви, еще не дойдя до берега. Мы слишком подолгу оставались без женщин, мы не умели терпеть. Представляешь — темная ночь, зыбкие волны, лодки, нагруженные богатой добычей, свет факелов, и яркие звезды на небе, и ты можешь почувствовать себя свободным и самым богатым на побережье! Будь же проклята та ночь, которая казалась мне самой прекрасной и счастливой в моей жизни! Почему, Господи, ты не утопил мою лодку, почему не послал бури? Если бы было дано мне утонуть тогда. О, какое счастье — погибнуть, захлебываясь водой, холодной водой — и вокруг только вода, и в тебе — вода, пусть соленая, но все же вода. Но не было дано мне этого счастья.

Оставив лодки у побережья, мы добрались до махаонского ущелья и там в надежном месте разделили добычу и женщин... Я уже не помню, в пещерах это было, или мы расположились в оазисе, среди пальм. Было много цветов... Все смешалось, и цветы, и соленая вода. И крики — кому-то не досталось женщины. О, если бы мне! Но меня не посмели обойти, меня боялись не меньше, чем жестокого Тита. Была слишком темная ночь. А потом слишком яркий свет, но это не солнце. Это подожгли скирды, и все вокруг полыхало. И потом опять наступила тьма, и после всплеска огня она была

еще гуще. Я не помню более плотной тьмы. Или продолжалась ночь, или тучи, вот как и сейчас, застлали небо. Скорее всего был рассвет, но небо оставалось слишком хмурым. Нет, я не могу ничего вспомнить. Я не в силах даже вспомнить — рассвет это был или закат. Возможно, я все перепутал. Как и сейчас — я не пойму — почему невозможно пошевелить рукой, все горит внутри... Нет, я не могу молчать, я попытаюсь говорить, хотя мне трудно, мой рот стянуло запекшейся кровью, мои глаза слезятся, никогда я еще не чувствовал себя столь беспомощным, может быть только в детстве, когда надругались над моей матерью. Но тогда я мог визжать, я мог кусать, я мог вырываться. Что я могу сейчас. Да, я могу говорить правду, если ты слышишь меня, то я стану ее говорить.

Я ничего не требовал, они сами бросили мне к ногам женщину с бархатистой кожей. Пламя факела вырвало из тьмы ее глаза — они были полны слез и затаенной ненависти. Но они были и прекрасны, как гладь Генисаретского озера. Я не узнал их. Моя голова кружилась, вот как и сейчас, но не от того, что я не в силах был удержать ее, а от пьянящего арабского вина. Женщина была мне нужна. И чем больше она сопротивлялась, тем больший азарт охватывал меня. Она кричала что-то по-арамейски, потом по-гречески, я заткнул ей рот, я ударил ее! И только за это моя ладонь должна была быть прибита к кресту! Я избил ее, прежде чем заставил корчиться в своих объятиях. Я узнал ее имя — Юдифь, и это не насторожило меня. Мало ли женщин среди народа Израиля носят это имя. И когда вошло солнце, когда рассеялся хмель, а на душе стало пусто, предчувствие чего-то страшного подступило ко мне. Я взгляделся в лежащую рядом, я увидел ее лицо, я все уже понял. Она была неподвижна. Я схватил ее руки. И холодными были они, но обожгли меня, словно каленым железом приложили печать к телу моему. Даже сейчас в самых страшных мучениях мне легче, чем было в то утро. Ты скажешь, Дамах, ты мог ошибиться, ты бредишь, Дамах, и хочешь взять на душу самый большой грех! В то злосчастное утро я тоже хотел поверить, что ошибся. Но я увидел родинку у нее на спине, точно такую как у меня, точно такую как у матери. «Юдифь! — закричал я — Юдифь!» Привели лекаря, он пытался оживить ее, он разминал ее засты-

вающее тело, он растирал ее.. Но яд, который она приняла, был смертелен. Сейчас бы нам такой яд! О, какое блаженство в том, что можешь избавить себя от мучений! Она сделала это, обрекая на мучения меня! У меня одна надежда — Юдифь не могла снести насилия, она слишком любила своего господина, того, кого мы спихнули с борта. Хочется верить, что это так.. А вдруг иное? Что, если она узнала меня? Может быть, ночью пыталась мне все объяснить, а я, одурманенный хмелем и похотью, не слушал ее, заламывал ей руки, силой принуждал к оскорбительным для нее ласкам! О, тогда самое страшное наказание послал мне Господь! Даже для Нова он не догадался выдумать такого жестокого испытания! И за этот грех, которым он повязал меня, нет прощения! Никто, кроме тебя, Христос, еще не слышал об этом, никому я не покаялся! Но сейчас я не могу молчать, сейчас, когда осталось совсем немного, и солнце уже близится к последней черте. Темнеют тучи, воины устали — они готовы преломить нам кости, чтобы ускорить смерть. Я готов держать ответ, я готов на любые муки во стократ более страшные и позорные, чем распятие. Пусть ниспошлет мне их Господь за грех мой!

Дамах был уверен, что Христос слышит его, это поначалу Дамах пытался кричать, но все во рту пере-сохло, язык тяжелел и слипался с гортанью, но звуки звенели внутри, повторялись в голове, их не мог не услышать распятый рядом. Дамах сделал неосторожное движение, хотел подтянуть сползающую с выступа ногу, но вместо этого внезапно потерял опору для другой ноги, и потому резко рвануло руки, раздрало ладони гвоздями — и Дамах закричал от невыносимой боли. Этот крик услышали и оживились те, кто там, на земле, взирал на его мучения. Они заулюлюкали в ответ. Сколько злости, сколько насмешки, сколько радости было в их визге — ага, не выдержал, понял, что такое смертельная боль! Почувствуй же теперь, каково было тем, которых ты мучил! И среди всеобщей злобы и зло-радства было только одно облегчение — глаза его встретились с глазами Христа, и не было во взгляде распятого рядом ни осуждения, ни злобы — будто повеяло легким ветерком, охлаждающим истомленное измученное тело. И вспомнилась материнская ласка, ибо так, как смотрел на него Христос, могла смотреть только

мать. Только мать может простить своему чаду самый смертный грех. Мать и Господь. И сразу стихла боль, и на мгновение показалось, что тело отделилось от креста, что парит оно в воздухе, что плывет в теплых укачивающих волнах, и это вовсе уже не воздух, это желанная вода, штилевое море, ласково омывающее тело, и вот уже не море это — а теплое материнское лоно, в котором ты защищен от всех, спасен от мучений, надежно упрятан... И лишь на миг дернуло болью — и подумалось — все, это конец...

И, собрав все силы для последнего вскрика, Дамах обратил снова свой взгляд к Христу, теперь уже только у него одного спрашивая прощения, уверовав в одного его. И язык вдруг стал подвижен, и слова исторглись из запекшейся глотки. И Дамах понял, что эти слова услышаны, ибо повторились они в темнеющем небе, в уступках крепостных стен, среди толпы у подножья крестов:

— Помяни меня, Господи, когда придешь во царствие твое!

И тот, кто был распят рядом и уже почти не подавал признаков жизни, кивнул и произнес отчетливо:

— Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю!

И затрепетало сердце Дамаха, и сразу стало так легко, так покойно на душе, будто замер весь мир и вся злоба его испарилась. Поплыло все вокруг, будто невидимые паруса выросли за спиной и наполнились ветром... И уже ничего не чувствовал Дамах.

И пришел час, предначертанный свыше, упала голова Христа на грудь его, тело вытянулось и застыло. Свершилось...

Дамах еще жил, он был в полузабытьи, взгляд его затуманился, и он не почувствовал никакой боли, когда римский воин сильным ударом молота перебил его голени, чтобы ускорить смерть. Тот же воин сокрушил кости голени Титу, грузное тело разбойника передернулось смертельной судорогой и обвисло. И подошел один из легионеров к распятому Иисусу и, чтобы убедиться в смерти, — ткнул копьем в грудь. И тотчас истекла кровь и вода, ибо острие копья разорвало предсердие. И загромыхал вдали гром, и на мгновение в глазах у всех потемнело, и забились в рыданиях женщина, припавшая к кресту.

Валентин Зорин

**ГРЕХ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ
МАРИАМ-САМАРЯНКИ
ВЕРНУТЬСЯ В ИЕРУШАЛОМ
КЕСАРЮ - КЕСАРЕВО**

Грех и преображение

Мариам-самарянки

**Рассказал Манассия сын Рувимов из Иерихона,
а записал Вениамин бен-Иосия из Хафараима**

1

Во имя Всемогущего Бога — Единого для всего живущего под Солнцем, Всеблагого и Милосердного! Да снизойдет на сказавшего это благословение Творца, ибо лишь Ему открыта Истина — а как постигнуть ее смертному? Завещано праотцу нашему Моисею Господом: «Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло, и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды...» Потому-то я вновь и вновь переношу с места на место камни прожитых дней, дабы выровнялись они в единственном, присущем им порядке, и открыли мне те повороты судьбы моей, от которых зависели правота и неправота последующих решений. И хотя нельзя изменить прошлого, но лишь отобранным зерном истинно рачительный хозяин намерен засеять поле завтрашнего дня. И да сумеет он избавиться от плевел!

Аминь.

2

Создателю всего сущего было угодно, чтобы я появился на свет за два года до того, как божественный цезарь Август стал богом, передав власть над миром божественному Тиберию, в земле Иудейской, управляемой Великим Иродом, в семье кожевника Рувима бен-Нафана—четвертым, последним сыном. Мать моя умерла, едва разрешившись мной, и по рассказам старших братьев моих и соседей, немало потешавшихся над этим, откармливали меня молоком ослицы, а затем болтушкой из финиковой муки. Именно это, по словам насмешников, и стало причиной для моего упрямого характера

и волосатости тела. Этими свойствами я весьма сильно отличался от братьев и двух сестер своих, и мне доброты пророчили судьбу, отличную от их судьбы.

Но кто в детстве способен задуматься о своем будущем? И кто может сказать заранее: что именно обеспечит его завтрашний хлеб? И были у отца нашего работники, и не было отбоя от служителей конюшен, караванных возчиков, нуждающихся в упряжке; и от мастеров, шьющих сандалии, которым потребна мягкая, но прочная кожа... Однажды был заказ даже из Кесарии — об этом отец, пропахший кожаной вонью, с почерневшими пальцами и ладонями, но неизменно веселый, любил рассказывать товарищам по ремеслу, отхлебывая из плоской чаши галилейское вино. Самый старший из братьев проводил свои дни в синагоге, где под навесом галереи два или три десятка таких же, как и он, юнцов, раскачивались торсами одновременно, нараспев повторяя слова из святой Книги. Второй брат страдал заиканием, отличался угрюмостью, но был уже силен, почти как мужчина, — и отец обучал его своему ремеслу.

Сестры-близнецы отличались худобой и застенчивостью, но были трудолюбивыми и старательными, им нравилось помогать отцовой наложнице, с некоторых пор заменившей нам мать. Мы называли ее в шутку «Агарью», хотя она не принадлежала к ханаанскому племени, а была наполовину моавитянкой из Беф-Гарана, расположенного на левом берегу Иерихона. Отец сердился, когда слышал имя «Агарь».

Предпоследний брат походил на росток смоковницы — стройностью и хрупкостью телосложения — но зато был хитрецом и выдумщиком. Я — младше его на два года — был сильнее вдвое, да и ростом превосходил на голову. И мы составляли прекрасную пару, очень скоро прославившуюся среди своих сверстников проделками — на караванных стоянках, где подавленные однообразием пустыни погонщики простодушно радовались любой забаве, щедро бросая мелкие монеты; на базаре, где можно было притвориться калекой и получить гроздь черного сладкого винограда, кусок овечьего сыра, а потом под общий смех открыть, что ты совсем не калека...

А рядом журчал и пенился среди черных кдмней совсем узкий в этих местах Иерихон, и серо-синие от пыли скалистые горы подступали к самому городу —

тоже серо-синему от каменной кладки из здешних пород, от вечной пыли, поднимаемой проходившими на Иерушалам и на Вирсавию караванами... Рассказывали, что в незапамятные времена этот город построил древний израильский царь Ахав, прогневавший Всемогущего Бога своими грехами и преступлениями, поклонением языческому Ваалу. И настал день, когда при звуке труб и одновременном крике всех воинов Иисуса Навина, осадившего безбожный город, рухнули его крепостные стены.

Старики показывали остатки этих стен, но мы, мальчишки, видели, что это просто-напросто камни-валуны, вросшие в землю, покрытую жесткой травой, терниями... И мы дивились, что взрослым, а то и совсем старым людям зачем-то нужно, чтобы прошлое отличалось величием, имело какую-либо тайну...

А подлинной тайной для каждого из людей является будущее — я стал догадываться об этом, когда внезапно заболел наш отец: подобием падучей, с периодами полного беспомыслия, с черными язвами по телу. Выяснилось, что незадолго до этого он купил у сирийских караванщиков несколько лошадиных шкур. Лекарь ремесленников бен-Схарья, всплескивал руками, тонким голосом требовал немедленно разыскать и сжечь эти шкуры, ибо они способны навлечь страшную болезнь на весь город. Шкуры сожгли, но два дня спустя отец умер, сотрясаемый ознобом и судорогами, а затем заболел и вскоре умер один из работников. Живущие по соседству с нами были объаты ужасом, и по приказу равви Салмона бен-Ира, осуществившего в Иерихоне власть от царя Иудейского, наш дом со всем имуществом был сожжен, а мы — четверо сыновей, две дочери — поручены синагоге, как сироты, нуждающиеся в призрении со стороны общины. Наложница же покойного отца, названная нами в шутку «Агарью», и вправду обрела несчастную судьбу легендарной Агари, ибо была предоставлена самой себе, и покинула город — нищая и никому не нужная.

Прошли годы, и я свылся с жизнью поденщика, который всегда делает то, за что ему платят; и идет туда, где могут заплатить больше. Такой оказалась моя участь, ибо самый старший брат получил место гассаначтеца при синагоге; второй брат стал помощником у кожевника Нахума в Галгале — городке, неподалеку от

Иерихона; мой напарник в забавах детства оказался усыновленным неким бездетным торговцем, знавшим нашего отца; сестры вошли в дома мытарей — откупщиков на сбор податей для римского фиска: людей, презираемых иудеями, но с деньгами и не жадных. Они прислуживали хозяевам, но могли надеяться и на то, чтобы стать наложницами...

Я копал колодцы в долинах на границе с Моавом, где проходили караванные тропы; плотничал в Иудее; собирал щедрые плоды земли Галилеи; работал в давилнях Идумеи, где, кажется, каждый камень пахнет свежим оливковым маслом; впрягался в плуг в благословенной долине Шарона, где ветер носит запахи моря, вина и роз; в Иоппии-Яффе в цепочке таких же, как и я, полуголых, облитых потом и обожженных солнцем грузчиков таскал амфоры с зерном на черные римские корабли, на красные — эллинские, на странные, с двумя кузовами, ладьи с полосатыми парусами и чернокожими мореходами из неведомых полуденных стран за Геркулесовыми столпами. У того, кто ничего не имеет, кроме рук, преимущество даже перед птицей, которая обречена на перелеты с однообразным чередованием — дороги же поденщика непредсказуемы. А для того, кто еще не отупел от работы и поисков пищи с ночлегом, нередко и любопытны. Я был любопытствующим, еще жадным к жизни, и наниматели на базарах, замечая дружелюбие и пытливость в моих глазах, подходили ко мне с доверием. Этого доверия я никогда не обманывал, хотя среди поденщиков было немало и таких, кто никогда не пройдет мимо того, что плохо, по их мнению, лежит. Поэтому в городках на нас с подозрением косила стража, а римские патрули на караванных дорогах — особенно из вспомогательных когорт, в которых служили сирийцы, а также проходимцы из Каппадокии и Киликии могли остановить и обыскать, продержат сутки-другие в эргастуле.

Что ж, и рабы, случалось, убегали от хозяев, хоть и заповедано от Господа, и высечено Моисеем на каменных скрижалях, что коли раб — еврей, то давать ему положено свободу без выкупа на седьмой год неволи... Одни не в силах были дожидаться этого седьмого года, другие не были евреями и ни на что не могли надеяться. И становились они «латронами», как называли дорожных разбойников из беглецов римляне.

Время было беспокойным. Ревнители Моисеева Закона то и дело принимались волновать простой народ, поднимая голос то против царей — четверовластников, поставленных Римом, а то и против самих императорских орлов, как символа самого откровенного идолопоклонства. И опасливыми шепотками — ибо всюду хватало тайных соглядатаев и подслушивателей — рассказывалось про Иегуду бен-Сарифа и Матфея бен-Маргалота, прославленных знатоков Закона, восставших против римлян и их прислужников и казненных Иродом Антипатром с согласия тогдашнего прокуратора Иудеи — Валерия Грата.

Ходили слухи об иудеях — «сикариях», поклявшихся убивать и убивавших всякого, кто нарушал Закон. Впрочем, этим отчаянным мстителям было не добраться до тех, кто находился за стенами крепости Махэрон на берегу Мертвого моря, кто жил во дворцах Кесарии и тем более за мраморными колоннадами Капреи... И еще памятен всем был мятеж, поднятый Иудой из Галилейской Гадлы, и поддержанный Иудой из Гамалы, фарисеем Саддоком и их многочисленными сторонниками — в горных расщелинах еще можно было обнаружить золу лагерных костров, выбеленные кости и черепа тех, кого захватили врасплох конники из сирийских отрядов, входивших во вспомогательные римские войска, или окружили и уничтожили когорты «Молниеносного» легиона.

Римляне не церемонились с подвластными им народами — сначала они аннулировали право Иерушалома на самоуправление, а затем из прежних царств: Иудеи, Идумеи и Самарии сделали нечто вроде округа провинции Сирии...

И вот опять ходят слухи о том, что в пещерах — там, где пустыня подходит к самым берегам Мертвого моря, — среди белохитонных ессеев, у которых все общее и которые живут в полных бессребреничестве и воздержании, появился некий Иоханаан, сын Захарии из Назарета — громоголосый и неистовый, с пророческим даром. Передают, что пророчества Иоханаана темны и жутковаты, намекают на близкий конец мира, ибо «секира уже лежит у корней дерева» и чаша гнева Господня переполнена... Передают, что голос неистового пророка становится напевным и сладостным, когда он вещает о приходе Мессии и о возможном спасении рода человеческого — если люди очистятся от житей-

ской мерзости и греховности. И омываются люди в водах Иордана, и идут вслед за пророком Иоханааном, и внимают тому, что он говорит.

Рассказывают, что спросили его: «— А не ты ли Мессия?» И ответил Иоханаан: «— Придет он, когда меня не станет». Спросили: «— Кто он? Не Илия ли? Не сын ли Давидов?» И ответил Иоханаан: «— Сын человеческого».

И еще рассказывают, что сам тетрарх Галилейский и Пирейский Ирод Антипатр считает Иоханаана истинным пророком и боится его, хотя Иоханаан и открыто клеймит его позором за кровосмесительный грех с Иродиадой, женой брата Ирода — Филиппа, что по Закону карается смертью...

Так что нет ничего странного и непонятного в том, что с каждым годом дороги и тропы земли Израильской становятся как бы уже, и много чего приходится опасаться.

Но человеку не напрасно даны Создателем две руки, две ноги, два глаза и два уха, но один рот, и одно сердце. Больше работай, умей уйти от опасности и соблазна, смотри в оба, слушай, чтобы не упустить ничего, поменьше болтай... И всегда сберегай в сердце надежду на лучшее Завтра.

Так я пришел в город Сихар — в двух пеших переходах от Самарии, и, немного отдохнув на окраине в тени небольшой рощи смоковниц, обтер травой свои пропыленные и стоптанные сандалии, отряхнул пыль с одежды. Было жаль, что поблизости нет никакого источника — хотелось пить, и не помешало бы омыть лицо и руки.

Среди разлапистых сочных листьев над моей головой заманчиво краснели поспевшие смоквы — чуть ребристая кожица их поверхности, казалось, вот-вот должна лопнуть под напором созревшей плоти и показать мелкозернистую мякоть. Она была матовой и как бы покрытой пушком... Уже давно я взял себе за правило: никогда не протягивать руку за тем, что мне не принадлежит, — ибо и ночному мотыльку огонек светильника на окне кажется зовущим именно его... Кое-кто над таким моим жизненным правилом посмеивался, а то и откровенно издевался — ведь мне, если разобраться, в мире почти ничего и не принадлежало. Да и не могло принадлежать.

И я закрыл глаза, чтобы не видеть над собой спелых плодов, а немного спустя поднялся с травы и свернул в первую же узкую улочку, которая, судя по обильному конскому, верблюжьему и ослиному помету, вела к агоре — торговой площади. Мне почудилось, что кто-то смотрит мне вслед — это чувство знакомо всем, кто скитался, не имея крыши над головой; кто по той или иной причине имел повод как можно реже попадаться на глаза власти имущим... Я оглянулся — из-за стволов смоковниц, возле которых я только что находился, вышел человек в темной и широкой одежде с посохом в руках. Вполне вероятно, это был сторож, который имел возможность тайно наблюдать за мной — неведомым пришельцем, явившимся в Сихар по Яффской дороге. И я мысленно возблагодарил Всемогущего и Милостивого Создателя, уберегшего меня от соблазна, ибо всякому вору — даже самому мелкому — по существу, не на что надеяться.

Правда, спустя самое малое время мне подумалось, что и честному человеку не на что надеяться, поскольку площадь оказалась совсем маленькой, покрытой густым слоем пыли, пустой, а помет животных говорил лишь о том, что через городок недавно прошел большой караван, который здесь не стал и останавливаться. Впрочем, это было и не нужно, поскольку совсем недалеко Самария...

Я задержался у каменного замшелого колодца — на два длинных, глубоко ушедших в землю камня опиралась бронзовая ось большого колеса со ступенями-ковшами, и свисали короткие бронзовые цепи, чтобы можно было крутить это колесо, черпая воду, которая лилась бы в каменный же корытоподобный желоб... Вода поблескивала совсем близко, и приятно было ощущать запах сырости, исходивший от этого древнего сооружения: зной приближавшегося полудня как бы растворялся в этом запахе вечной свежести и жизни. И я потянул за конец свисавшей сверху цепи, напрягся, и колесо закрипело, дрогнуло, стало поворачиваться, я перехватил конец другой цепи, колесо сделало половину оборота, пошло тяжелее, еще почти половина оборота, — и со ступени-ковша ударила широкая струя прозрачной прохлады, с плеском, раскидывая брызги, достигла желоба... Закрыв глаза, вздрагивая от наслаждения, я окунул в эту струю лицо, глотнул раз-другой, почувст-

вовал, как быстрые капли скользнули у меня по шее, по груди...

Когда я открыл глаза, напротив меня, держа амфору в опущенных руках, стояла женщина. По краю белой ткани, прикрывавшей лицо, я догадался, что она — самарянка, но не было во мне той иступленной, непрощающей веры, какой отличаются иудеи, живущие к югу от горы Гаризим; каким был когда-то и я сам в годы жизни в Иерихоне. Может, все дело в том, что кроме проезжих торговцев, не бывало почти в этих краях людей из других народов? Тех, которые селились бы здесь, жили и оставляли потомство... Когда ты бродишь, продавая труд своих рук, не до поисков различий и тем более не до проявлений вражды. И я хорошо уже знал, что чем севернее простирались земли, тем смешаннее были люди — здесь и природа отличалась большей щедростью, и другие царства были слишком близки. Да и римские власти чувствовали себя здесь более полноправными хозяевами...

Я отодвинулся от очередной струи, хлынувшей со следующей ступеньки колодезного колеса, сделал жест, приглашающий женщину наполнить ее амфору.

— Ты уступаешь мне, не утолив своей жажды? — она не очень правильно, с резковатой гортанностью выговаривала арамейские слова, но в этих краях — я уже знал это — такое произношение было у всех. У этой женщины оно получалось с определенной приятностью. Может, потому, что я увидел за сдвинувшимся краем ткани молодой и как бы пушистый глаз, наполненный грустью, а может, задумчивостью; мягкий овал щеки, завиток смоляных, с синеватым оттенком волос... А может, потому, что, изо дня в день заботясь о хлебе насущном, о ночлеге, я почти забыл о женщинах... Эта самарянка у колодца напомнила мне о многом.

— Я только путник, — пожал я плечами. Я никогда не отличался красотой, и волосатость моего кряжистого тела не только не уменьшилась с тех пор, как меня дразнили за ослиное молоко, но и увеличилась. Еще имелась молодость, но это было тем капиталом, который уменьшался с каждым новым днем.

— Я вижу, позади у тебя большая дорога, — кивнула она с готовностью, неторопливо произнося слова, словно ей не хотелось, чтобы разговор прервал-

ся. — Этот колодец, как говорят старые люди, был построен вашим праотцом Иаковом...

Она была скромной, а кроме того, предусмотрительно намекала, что я принадлежу к народу, больше всего на свете чтящему Закон; что в Самарии снисходительны и к язычникам, и никто не пытается разрушать храмы и алтари, посвященные и Ваал-Баалу, и Аштарот.

— У всех нас одни праотцы, — сказал я, чтобы не отделять ее от себя, и понял, что это понравилось ей: ткань сдвинулась еще больше, и глаз как бы увлажнился, и щека покрылась румянцем. — Иди, женщина, тебе ждут, наверное, муж и дети...

— У меня нет мужа, — сказала она затуманившись и отвела горло амфоры от струи, ибо амфора давно наполнилась, и вода лилась через край, темный и блестящий, как коровьи губы. — И детей нет...

— Это плохо, когда нет детей, — как эхо, отозвался я, подумав о своей участи, но и вспомнив в то же время о своих отце и матери, о нас, с братьями и сестрами, об отцовой наложнице — Агари. — Значит, Всемогущий Бог не дал тебе радости?

— Я чем-то прогневала Всемогущего Бога, — вздохнула она. — И мой мужья были немощны и бесплодны...

— И много их было у тебя? — спросил я, немного забавляясь этой слишком уж доверительной откровенностью и в то же время ощущая в себе некий прилив сил, ибо вряд ли найдется мужчина — если он действительно мужчина — которого такой разговор оставит совсем равнодушным. Ведь он, как мольба о помощи.

— Четверо, — сказала она совсем просто и открыла лицо.

Ей было не больше двадцати весен, и лицо ее было лицом девушки, а не вдовы, и не служительницы греха, какие обитают в Сирии при храмах, отдаваясь любому во имя Аштарот-Иштар. И трудно было представить, что вот это лицо искажалось когда-либо гримасой страсти или похоти, и вот эти пухлые, совсем девчоночьи губы произносили слова, какие произносятся с женщиной на ложе. И в то же время представлялось это весьма живо, и не могло не волновать.

— И они... живы?

— Они ушли к праотцам, — на ее глазах как бы вскипели слезы.

Несомненно, что ее прежние мужья действительно оказались бесплодными, ибо в противном случае они были бы живы, отвергнув ее и обретя вполне законную свободу. И даже если она была причиной их смерти — а женщина, тоскующая о наполнении лона своего, бывает жадна и безжалостна — она искренно жалела их.

— Я сочувствую твоему одиночеству.

— Ложе мое узко и холодно...

— Но ведь я небогат, — пробормотал я, испытывая немалое замешательство.

— Я это вижу, — она опустила глаза.

— И я не красавец...

— У сердца свои глаза... Как твое имя, мужчина?

— Манассия, сын Рувимов. А твое, женщина?

— Мариам.

— Это иудейское имя.

— Моя мать была родом из Вифлеема. Ты согласен войти в мой дом, Манассия, сын Рувимов?

— Я ведь уже иду, — засмеялся я, думая прежде всего о том, что молодость Мариам вместе с ее несомненной опытностью на ложе сулят немалые наслаждения.

— Погрузи руку свою в воду, Манассия, сын Рувимов, — попросила она.

— Зачем это?

— Таков обычай самарийский.

Наши пальцы встретились в прохладе падавшей струи, переплелись, стиснули друг друга.

— Тебе не придется пожалеть, — прошептала она.

И, подставив ладонь под узкое дно амфоры, держа ее другой рукой за изогнутую ручку, Мариам легко подняла ее до уровня плеча и, чуть наклонив голову в сторону тяжести, быстрым, скольльзящим шагом двинулась вдоль стены, сложенной из неровного дикого камня. Она явно не сомневалась, что я иду следом.

3

Во имя Господа Бога — Единого для всего живущего, Всемогущего, Всевидящего, Милосердного! И мне ли, ничтожному, вышедшему из праха и обреченному, снова возвратиться во прах, пытаться кривить душой и говорить неправду? Именно так, а не иначе, нежданно и негаданно началась моя семейная жизнь в земле

Самарийской, в городе Сихаре, который был известен в Самарии тем, что в нем находился колодец, построенный Иаковом по древнему египетскому образцу, и проездом через город однажды самого императорского легата провинции, сенатора и бывшего консула Публия Сульпиция Квириния. Легенда рассказывала, что римский властитель остановился со своей свитой на городской агоре, показал рукой на недалёную вершину Гаризим и сказал, что у этих живописных мест великое будущее. А затем бросил подвернувшемуся мальчишке целый серебряный сестерций.

Имя удостоившегося такой щедрой награды не сохранилось в памяти горожан, тем более, что с тех пор цены в провинции на все заметно поднялись. Одни говорили, что во всем виноваты местные, власти, все более и более склонявшиеся к мздоимству, другие — оглянувшись — многозначительно поднимали палец и сообщали, что дело в неудачах римских легионов в Галлии... По поводу же легендарного высказывания легата и сенатора Квириния о великом будущем этих мест этнарх Сихара полугрек, полугалилеянин Амос, сравнительно недавно назначенный сюда из Самарии, утверждал при легионе удобном случае, что было высказано личное пожелание божественного цезаря, который рано или поздно, но вспомнит о нем и приедет в Сихар. Поэтому был введен единовременный налог на имущество, и на собранные средства возле дома этнарха поставили глиняный, но умело раскрашенный бюст императора...

Обо всем этом поведала мне Мариам, которая оказалась действительно умеющей делать мужчину на ложе юным и неутомимым — сколько бы лет ему ни было. Можно смело сказать, что не было у ее тела — несколько полноватого, но гибкого и как бы одетого персиковым пушком, — ни единого места, которое не способно было бы участвовать в ласках. Говорят, что в единении на ложе между мужчиной и женщиной происходит некий поединок, некое противоборство в пробуждении и удовлетворении страсти — да что там «говорят», я ведь и сам в прошлом не раз убеждался в подобном. С Мариам же поединка не было — было поглощение всем ее существом мужской животворной силы — ласковое и требовательное — и хотелось, чтобы не было этому конца. И днем с нетерпением ожидалось, чтобы скорее настала ночь.

Мне было понятно теперь, как случилось, что все четыре мужа этой женщины ушли в страну праотцов — хотя, конечно же, они не были столь молодыми и полными сил, как я. Они — каждый вложил свою долю и сделали Мариам владелицей этого жилья, в котором всегда имелся запас муки, масла и вина; и ложе было мягким; и висели под потолком пучки пахучих трав, отпугивавших скорпионов и злобных зеленых мух; и еще были овцы, которыми занимался брат ее предпоследнего мужа — Махир.

— Махир будет недоволен, но об овцах теперь придется позаботиться тебе, — сказала Мариам через несколько дней, когда поняла, что мне нравится жить с ней. — Загон для них всего в броске камня пониже Змеинового ручья, там, где Завулоновы овраги...

— Он ухаживал за овцами, получая долю от приплода? — Я слышал, что в некоторых местах пастухов нанимали и на таких условиях.

— И это тоже, — Мариам чуточку порозовела и опустила глаза, может быть, вспоминая нечто. — Махир ведь брат моего бывшего мужа...

— Но ведь был еще и последний муж? И при нем?

— Последний мой муж был совсем не ревнивым, — она по-кошачьи прижалась ко мне, низкий ворот туники отошел, оттопырился, и я увидел, как небольшая грудь Мариам вздрогнула, напряглась, и коричневатые соски, похожие на галилейские виноградины, сами собой приподнялись. — Не смотри на меня так, Всемогущий Бог создал меня женщиной... Между прочим, Махир видел тебя в тот день, когда ты пришел в Сихар и отдыхал под смоковницами. Он очень хвалил твою честность...

Так я узнал, что мужчина, смотревший мне вслед, когда я направился к городской агоре, был, в сущности, моим предшественником на ложе Мариам.

Все это, разумеется, мало смущало меня — мог ли я всего несколько дней назад рассчитывать не только на какое-либо имущество, но и на крышу над головой, на похлебку из поджаренного проса? Нынче — по своим привычным меркам — я стал богатым. А кроме того, Мариам была молода и красива. Слышал я как-то в Иоппии-Яффе среди портовых грузчиков шутку: «Лучше наслаждаться жареным павлином с друзьями, чем грызть воловий помет в одиночку!» Шутка не слишком-

то обнадеживающая, тем более, что в ней не говорится: какая доля от жареного павлина тебе достается. Но у случайно найденной на дороге драхмы вес не проверяют, как известно.

Меня могли беспокоить только две вещи: хватило бы чувств в сердце моем и сил в чреслах моих; а также — не возникло бы у Мариам желания когда-либо обвинить меня в бесплодии, дабы найти мне замену до того, как я отправлюсь к праотцам. Ибо не уходило из моей памяти упоминание — у колодца Иакова — о бесплодии бывших мужей Мариам. Думалось мне, что бесплодна-то она, и вот этим-то и можно объяснить ненасытимость ее лона мужскими ласками и семенем, бунт чрева ее, похожего на пустыню Негев, жаждущей новых и новых дождевых туч с моря...

Но так или иначе, а жизнь моя неожиданно стала легка и приятна, и дни убегали в темноту, как муравьи в песчаное отверстие, где у них совсем иные обязанности, нежели на поверхности. У Мариам имелись деньги; кроме того, в большом ларе находились два небольших сосуда из полупрозрачного шпата, оставшиеся женщине от ее родителей. На эти сосуды давно целился местный меняла и ростовщик Нахумон, у которого они однажды были в залоге. По поводу овец мне удалось уговорить Мариам не отказывать пока Махиру в его доле на приплод, но чтобы ни на что, кроме этой доли, он не рассчитывал. Я исходил из того, что должно пройти немалое время, прежде чем я стану привычной фигурой для живущих по соседству людей, и никто уже не станет коситься на меня, как это водится обычно, не будут лететь мне вслед скользкие шуточки, на которые и ответить-то не всегда можешь...

Пока же я старался пореже бывать на людях, занимался починкой задней стены дома Мариам, кое-где осыпавшейся, заново переложил очаг, который дымил, когда ветер поворачивал со стороны Аравии, а ведь в зимнюю пору он чаще всего и дул именно из Аравии, из Египта. Мариам была явно довольна мной.

А вот с Махиром мне все-таки пришлось столкнуться. Он загородил мне путь, когда я тащил на плече из каменоломни плиту для очага.

— Я мог бы помочь, Манассия, — сказал Махир хрипло, как говорят не умеющие притворяться, но вполне вежливо. Он был одного роста со мной, но много стар-

ше, с густой сединой в бороде, но уже в плечах и хлипковат сложением. У смуглой блестящей от пота его ключицы билась выпуклая жилка, и мне почему-то подумалось, что стоит нажать пальцем на эту жилку, и мой предшественник на ложе Мариам умрет.

Я осторожно опустил плиту к ногам, посмотрел в глубоко запавшие серые глаза Махира.

— Я всегда все делаю сам, — сказал я тоже вежливо

— Тот, кто был до тебя на ложе вдовы Мариам, тоже думал, что он хозяин всему, — Махир говорил медленно, и было понятно, что он тщательно продумывает каждое слово.

— Ты говоришь о себе? — спросил я.

Он моргнул раз и другой, как от неожиданных укусов, и я заметил, что веки у него воспаленные, припухшие. Вероятно, Махир был уверен, что я не захочу упоминать его отношения с Мариам, а, может, думал, что я об этом не догадываюсь, или что она мне об этом не скажет. Но так поступила бы любая иная женщина, но не Мариам.

— Я говорю о последнем муже Мариам, — в тоне его проскользнула откровенная злоба.

— При чем же здесь ты, Махир?

Он стиснул кулаки, но я его не боялся. Если бы мы были в Иудее, Махир мог бы обвинить Мариам в прелюбодеянии, но в Самарии не было столь строгого Закона, и нравы сильно отличались от нравов и обычаев иудейских. Что же касается кулаков, то они у меня были покрепче и жестче, и дыхание у меня поглубже, и Махир понимал это — он же видел, какую плиту я тащил на плече...

— Ты мог бы иногда уступать мне, — нерешительно произнес Махир.

Я засмеялся.

— Ты спроси у Мариам, хорошо?

Он понял издевку и потемнел лицом. А затем сделал шаг в сторону, словно и не было этого разговора, и он только уступил мне дорогу. Я снова взвалил плиту на плечо, размышляя о том, что теперь нужно как можно скорее решать с овцами: либо самому находиться при стаде, которое я так и не видел пока, либо нанять пастуха — уж теперь-то Махир постарается принести Мариам как можно больше убытка, но, разумеется, так,

чтобы это не стало поводом для судебного разбирательства у этнарха Сихара.

— А ты смелый, — с напевной протяжностью сказала Мариам, когда я поведал о нашей беседе с Махиром, и зябко передернула плечами, словно на миг увидела нечто страшное.

— Я моложе и сильнее, — упрямо сказал я, радуясь тому, что это так и есть.

Она вздохнула, словно была уверена, что я все равно не пойму ее доводов.

— Я найму пастуха, а потом уже ты, Манассия, придешь к овцам... Ты не знаешь истинного облика Махира... И не надо тебе узнавать его.

Позднее, когда я уже знал в Сихаре многих и многие знали меня и относились ко мне с дружелюбием, ибо никогда и никому я не делал зла, а напротив того, старался помочь в меру возможностей своих, был сделан мне очень осторожный намек на то, что на Махире лежит не опровергнутое подозрение в Каиновом грехе, хотя, разумеется, брат его и муж Мариам умер под крышей дома... Еще позднее некий торговец винным уксусом — его в Самарии щедро добавляли в овощные блюда, им разбавляли воду, делая напиток, который римляне называли «поской» — питьем для рабов — сказал, что Махир разбирается в травах, которые растут в горных ущельях и могут содержать яд...

Как я уже упоминал, мне в моих скитаниях по земле Израиля доводилось слышать и видеть многое — не новым для меня было и еще одно известие о соперничестве двух братьев: так или иначе, а все, о чем ученые равви читают в Великой Книге, о чем говорят с амвона в синагогах, возвещают ученикам, снова и снова повторяется в мире, и будет повторяться, пока этот мир по воле Всемогущего и Всевидящего Господа Бога существует.

Что же касается именно Мариам, то не было ничего удивительного в том, что молодость, красота и богатство вдовы привлекало новых и новых претендентов на них...

Удивительным было то, что не было у меня больше встреч с Махиром — ни добрых, ни враждебных. Может, он просто понял свой полный проигрыш и решил не тратить напрасно времени? Возникшие же было опасения, что отвергнутый Махир может нанести вред стаду, оказались, к счастью, напрасными. Пастух отыскался

без особых трудов и за небольшую плату — деньги были дороги в селеньях и городках, где торговля не слишком-то процветала. Правда, пастухом был подросток, склонный к лени, и мне приходилось время от времени отправляться к Змеиному ручью, чтобы заставить этого лентяя пошевелиться. В общем-то овцы — их было у Мариам три раза по десять и еще четыре — отличались привычкой к этим местам и не слишком удалялись от ручья, бродя почти по кругу, да и шакалы — единственные хищники в предгорьях — здесь почти не показывались...

Дни были похожи один на другой, и я наслаждался сознанием прочности и неизбежности своего житья, хотя и знал, что если сама жизнь по воле Всемогущего Бога временна и подвержена бесчисленному множеству случайностей, то и прочность моего существования только представляется мне такой. Но я впервые в свои почти тридцать лет жил в таком довольстве и спокойствии...

Конечно, известия о событиях в большом мире так или иначе не обходили маленький Сихар — о них узнавали от караванных торговцев, проходивших через город и порой устраивавших на окраине привал; от писцов этнархата, живших скудно и никогда не отказывавшихся от чаши вина со специями, от бобовой похлебки с чесноком и травами; а то и просто от бродяг. Так стало известно, что легата Публия Сульпиция Квирина во дворце в Кесарии сменил новый куратор провинции — Луций Вителлий, а прокуратора Иудеи Валерия Грата сменил Понтий Пилат; что римские власти повысили пошлины на пшеницу из африканских провинций, которую частично ввозили в Хайфу и Яффу, ибо скудны бывали урожаи злаковых в Сирии и в Иудее; что произведено перемещение римских легионов, стоявших постоянными гарнизонами во всех больших городах, кроме Иерушалома; что в Галилее упали цены на вино — из-за того, что урожай винограда был хорош, а вывоз вина сократился по причине торговой ловкости виноделов Кипра, перехвативших заморские заказы; что в Махэронском дворце тетрарха Иудеи Ирода Антипатра был казнен проповедник Иоханаан, которого называли Неистовым и еще Провозвестником грядущего Мессии... Говорили, что голову Провозвестника попросила у тетрарха дочь Иродиады — Саломея в награду за свой понравившийся Антипатру танец... Возможно, это было выдумкой, неким украшением народного слуха.

Был также слух, что после казни Иоханаана тетрарх, ненавидевший иудеев вообще, а белохитонников-есееев особенно — причем, ненависть была абсолютно взаимной — несколько помягчел характером, распорядился не трогать проповедующих отказ от жизненных благ и равенство людей и даже устроил у себя в Махэрене диспут книжников из иудейских синагог, а победителей наградил... А может, все дело было в смене римских кураторов, и тетрарху хотелось выяснить: не изменились ли ветры, которые до того дули с острова Капреи, с Козьего острова, на котором имел резиденцию божественный император Тиберий? Было известно, что цезарь все чаще и чаще впадает в болезненную подозрительность и порой излишнее усердие своих подданных расценивает, как попытку скрыть нечто злоумышленное.

4

В тот день, незадолго до того, как солнце сделает тени совсем короткими, я пристраивал специально принесенные кольца по верхам глиняной стены вокруг нашего крохотного дворика — чтобы устроить подобие вэлариума из травяной циновки: Мариам видела такой навес у своей знакомой — дочери менялы и ростовщика. Я был изрядно утомлен минувшей ночью, наполненной требовательностью женщины, но нет ничего более приятного для мужчины, нежели сознание того, что ты ни в чем не обманул надежд женщины, что ты по-прежнему неутомим и полон соков жизни. Тогда, несмотря на любую усталость, ты радостен, и работа тебе тоже в радость. И я работал с удовольствием и с удовольствием вдыхал запах стряпни — пряный и аппетитный. Я хорошо представлял тот момент, когда мы с Мариам усядемся под вэлариумом на такую же циновку, и между нами будет стоять глиняная миска с едой, будут лежать свежие лепешки из пшеничной муки, и вино будет отсвечивать алым и лиловым в плоских и широких сосудах... Помнится, мне подумалось, что мой жизненный жребий — если разобраться — вполне возможно, лучше жребиев, выпавших на долю моих братьев.

И тогда я услышал шуршание подошв и негромкие голоса — по узкой улочке шли люди по направлению к агоре. Я перегнулся через край стены, но так, чтобы не беспокоить посторонних своим любопытством: из-за

камня, которым удерживался кол-стержень для крепления угла цинковки.

Их было человек двенадцать-пятнадцать, и они держались так, словно были одним целым, то есть, не как, скажем, торговцы или просители, идущие, чтобы подать жалобу властителю. И слова, которые они говорили друг другу, были немногие и Негромкие — они прекрасно понимали друг друга и не нуждались в многословии. На них была сильно поношенная, выцветшая под солнцем дорог одежда; запыленными были ноги — там, где их не покрывали ремни тоже сильно заношенных, растоптанных сандалий. Какого они все были возраста? Вероятно, большинство были молодыми — не увидел я среди них кого-либо отставшего и тянувшегося позади, как это часто бывает среди путников. Иные прикрывали голову и лицо краем капюшона...

Двигавшийся первым — плавным и уверенным шагом человека, привыкшего к странствиям, — словно ощутив на себе мой взгляд, повернул голову, и мне открылось усталое, покрытое грязными потеками от пота, смешанного с пылью, но удивительно красивое лицо человека лет тридцати. Он был иудеем, чтящим Закон, ибо голову его прикрывала серая войлочная шапочка, и пряди с чуть рыжеватым оттенком, обрамлявшие его лицо, были пропыленными, слежавшимися, и можно было бы подумать, что это молодой законник-книжник, ищущий новой и новой мудрости от учителей в синагогах — немало встречалось и таких на дорогах и тропях Израиля. Но в то же время лицо это сразу же задерживало чужое внимание выражением задумчивости и кротости — словно владелец его находился в совершенно ином мире и не имел, и не мог иметь никакого отношения к жизни мира сущего. Да, его тело вынуждено было страдать от зноя и жесткости пропотевшей и пропитавшейся солью одежды, от усталости и мучительной жажды, но дух, а не потребности тела ведут его и направляют в пути, и бессильны перед крепостью и величием этого духа любые трудности... Он, бесспорно, отличался от своих спутников — как отличается в строю летящих в Африку из северных варварских стран птиц вожак строя: он не крупнее других, но есть в нем некая красота, которую сразу и не уловить и даже не осознать, в чем тут главное. И еще я заметил влажный блеск внимательных глаз и молодую бородку.

— Он, как молодой бог, — услышал я рядом с собой тихий голос Мариам.

Я не слышал, как она подошла, как встала на цыпочки на камень у подножья стены и выглянула через ее край. Неведомые путники уже миновали наш дом, они удалялись.

Мариам сошла с камня и подняла голову ко мне — в ее глазах был тот же влажный блеск, что и у неведомого путника. Кто из мужчин скажет мне честно, что он совершенно равнодушен к тому, что его жена восхищается другим мужчиной? Пусть даже это ровно ничего не значит и не может иметь никаких последствий...

— Бог не может быть ни молодым, ни старым. Он невидим и непостижим, — сказал я строго и спустился вниз.

— Это у вас, иудеев.

— А разве не твоя мать родом из Вифлеема?

— Но отец мой самарянин...

— Между прочим, путник, который так пришелся тебе по душе, — сказал я, — тоже иудей. И может быть, законник.

Мариам посмотрела на меня с сожалением.

— Когда ты сердисься, ты похож на испуганного сурка.

Сама она в этот миг была похожа на кошку, которая застигнута на ларе с едой, но делает вид, что ее интересует совсем иное, высокомерно и грациозно изгибает свое прекрасное тело, смотрит в сторону.

Но, клянусь жизнью, я ничего не сказал Мариам, ибо учат мудрые люди: не вздумай приласкать змею, и не спорь с женщиной... Мне были дороги и Мариам, открывшая мне еще неведомое и подарившая радость, и крыша над головой, и достоинство мужа. Но на душе появилась некая горечь — так бывает, когда раскусишь сладкий плод и вдруг обнаружишь, что в нем червоточина, и черный извилистый ход отдает плесенью.

Вероятно, Мариам каким-то чутьем уловила ту тень, которая проскользнула в моих мыслях. Она улыбнулась — виновато и ласково.

— Разве не я сама подошла тогда к колодцу Иакова, заговорила с тобой?

— Вот это меня и наводит сейчас на размышления.

— Почему же ты не размышлял так тогда?

И она пошла от меня в дом той же походкой, какой

двигалась тогда, — с тяжелой амфорой на плече, немного склонив голову к плечу. Я догнал ее, обнял, и мы окунулись в прохладный сумрак дома, а немного спустя уже лихорадочно избавлялись от одежды, и я жадно вдыхал ее запах, который шел от нее в минуты страсти, — как бы свежей ивовой коры и густого млека на изломе стебля чуть недозревшей смоквы. А она тиха смеялась, вскрикивала, словно ей было больно, и прятала лицо в путанице волос на моей груди.

А потом мы лежали без сил, и не нужно было ни О чем говорить, и все постороннее, что могло происходить в мире, не имело никакого значения.

Поразмыслив же через несколько дней, когда о раз-молвке нашей мы и не вспоминали, я пришел к выводу, что, вероятно, были виноваты зной, духота, ветер из пустыни, который всегда делает людей раздражительными. И еще моя склонность к ревности, хотя, мне казалось, что этим чувством я прежде не грешил... Или вспыхнувшая боязнь потерять то, чему я теперь был хозяином — а почему именно я должен что-то терять?

На Ослином базаре, хотя именно ослами там торговали меньше всего, а назывался он так из-за постоянной несурезицы всевозможных слухов, которые, как правило, возникали именно здесь, а затем расходились по всему Сихару — было всегда суетно и шумно, потому что где еще люди могут обменяться услышанным или приснившимся? Было еще место, где собирались мужчины, — двор торговца вином Мешеа, бородача с объемистым чревом и привычкой оглаживать себе бока всегда влажными руками. Но здесь всегда околачивались двое или трое наушников этнарха, и люди остерегались распускать язык... Так вот: на Ослином базаре болтали, что в Сихаре появился человек, который был любимым учеником казненного тетрархом Иоханаана-Провозвестника, и зовут его не то Иоссий, не то Иешу; что живет он в Сихаре неизвестно где, но каждый день собираются люди в ущелье под городом, и пришелец учит тому, что для обращения к Богу человеку не нужны никакие посредники — ни священнослужители, ни жрецы.

Услышав такое, одни только удивлялись, другие посмеивались со злорадством, третьи — отказывались верить: сказать можно всякое. Были и такие, кто говорил и еще более смело, и даже против римлян высказывал-

ся, а что вышло из этого? Большую силу нужно иметь за собой, чтобы решаться на такое. И тогда сомневающиеся узнавали, что этот Иоссий или Иешу всюду где бывал—а бывал он и в Иудее, и в Галилее, и в Самарии — успел прославиться чудесами: там изгнал из человека бесов, там избавил кого-то от черной немочи, а кое-кого излечил даже от проказы... В Кане же Галилейской, на свадьбе, куда был приглашен вместе со своими товарищами, изумил всех тем, что обыкновенную воду превратил в вино.

— В Кане Галилейской? — удивлялся кто-нибудь из хорошо знавших, что к чему. — Но ведь в Галилее вино и так кое-где дешевле воды! Там ведь на каждом шагу виноградники!..

— Дело совсем не в вине, — презрительно отвечали такому, — а в чуде. Понятно?

Рассказывали и многое иное, и обо всем услышанном я как-то однажды со смехом поведал Мариам. К моему удивлению, лицо ее как бы окаменело, когда я закончил свой рассказ о базарных выдумках.

— А хоть во что-нибудь ты веришь? — тихо спросила Мариам.

— Верю во Всемогущего и Всемиловитого Господа Бога....

— Это провозглашается во всех храмах, — губы Мариам пренебрежительно дрогнули и слегка оттопырились.

— Верю в тепло и холод, в сушь и влагу, в добро и зло... Впрочем, все это легко переходит одно в другое.

— Ты похож на траву-полынь, — сказала она, и в глазах ее как бы вскипели слезы, которые она тут же вытерла тыльной стороной ладони.

— Почему?

— Не знаю, — наклонила она голову, и в этом ее движении я увидел уныние.

— Разве тебе плохо со мной? — спросил я.

— А разве я об этом? — вопросом на вопрос отозвалась Мариам.

5

Была гроза, и огненная стрела упала возле Змеиного ручья на овечье укровище, сложенное из камней и сухих веток, — двух овец убило, а кошара сгорела, и пас-

тух, ополоумевший от всего этого, бросился на ограду, повалил часть ее и пустился бежать, забыв обо всем на свете. Мокрого, покрытого синяками, с трудом выговаривавшего слова, я и нашел его в доме его матери. Он наотрез отказался возвращаться к Змеиному ручью, трясся и говорил, что не нужна и плата. Я бросил у порога несколько драхм, решив, что динария, который должен был бы заплатить по прежнему уговору, его труд никак не стоит.

— Пусть дом твой посетит проказа! — пожелала мне на прощанье Пастухова старуха-мать.

К Змеиному ручью я отправился сам, едва тучи над предгорьями слегка разошлись и вершина горы Гаризим очертилась на фоне лилового неба — такой была примета: если Гаризим была хорошо видна, то погода устанавливалась надолго. В ушах у меня еще звенели проклятье старухи, а затем сокрушенные причитания Мариам, утверждавшей, что все случившееся — кара за грех и неверие.

Уцелевших овец мне удалось собрать почти всех, предварительно починив изгородь и закопав две опаленных тушки в недалнем распадке, чтобы запах падали не тревожил животных. Все, похоже, складывалось так, что мне было необходимо становиться овечьим сторожем, как Махир, а этого мне никйк не хотелось. В то же время я прекрасно понимал, что если хочу сохранить свое положение, то обязан добиваться не только любви за доставление радости в постели, но и уважения, как добытчик и защитник от возможных житейских невзгод. Хотя бы вот таких, как эта гроза, принесшая немалый убыток...

Возвращаться к поденной работе? Она, как правило, случайна и прокормит — и то скудно — лишь одного. А я поймал себя недавно на том, что хотел бы, чтобы Мариам забеременела и родила... Для начала же любого дела нужна немалая горсть динариев.

Вооружившись посохом и оскользясь подошвами новых сандалий на каменистых осыпях, проклиная тупых животных, не очень-то подчинявшихся моему охрипшему голосу, ощущая некую тяжесть в своем раздобревшем за месяцы слишком спокойной жизни теле, я отогнал овец к более прочной, на мой взгляд, стороне ограды. Пока они топтались тут, выщипывая травинки, я прикинул: можно ли восстановить кошару, а так-

же место для собственного спанья? Получалось, что можно, но потаскать камни придется изрядно, да и сухих веток понадобится немало, а корявый от ветров лесок растет не ближе, как в двух полетах стрелы...

Я знал, что Мариам, не дождавшись меня и поняв, что я никак не могу оставить овец одних, найдет какого-нибудь мальчишку, чтобы тот принес мне еду; а утром — я без радости думал о предстоявшей мне ночи — придет сама. Гроза глухо погромыхивала, уходя в сторону Эдома и Мадяна.

Стали сгущаться сумерки, они надвигались очень быстро, и я встретил ночь, сидя в гуще сбившихся овец. Было тепло, остро воняло грязной шерстью, овцы вздыхали и сопели, как толпа неудачников, разочаровавшихся в жизни; кричали ночные птицы, завывали шакалы, и овцы то и дело еще плотнее прижимались ко мне. И мне приходилось все время просыпаться, чтобы почесаться, попробовать поймать назойливое насекомое... Все это напомнило мне о бесчисленных — не таких, но похожих тем или иным — ночевках, где придется, когда я бродил по земле Израиля — да будет всегда с ней благословение Всемогущего и Всевидящего Господа Бога! Тогда такие ночи не казались мне особо трудными или бессонными — да, человек привыкает ко всему, но к хорошему привыкает всего быстрее и легче.

Из теплой и живой тесноты я выбрался задолго до рассвета и, подрагивая от озноба, обостренного чувством все растущего голода, бродил взад-вперед в пределах ограды. Сначала я мысленно ругал Мариам, которая, вероятно, из-за нашей последней размолвки и того, что я слишком разнежился от безделья в последнее время, решила наказать меня. Конечно, наказание чисто женское — болезненное, но не глубокое. Затем где-то в самых затаенных уголках моей души начала зарождаться тревога: а если произошло что-либо непредвиденное? Если что-то случилось с Мариам? Или с ее жилищем? Совсем некстати вспомнился проклятый Махир, который, вполне возможно, совсем и не отказывался от мести и следил за нашим домом, а теперь, когда меня нет... Я очень надеялся, что новый день расставит все по своим местам, и ждал его прихода с нетерпением, которое может понять только тот, кто хоть раз в жизни был в таком же положении.

Небо на востоке — мизрах — наконец просветлело

едва заметно, затем начало наливаться розовостью. Велика благодать Господня, дарующая всему живому свет и тепло! Сколь ужасен был бы поднебесный мир, если бы мы были лишены надежды на приход нового дня! День сменяет ночь, весна сменяет зиму, детство и юность сменяют зрелость и старость... И нет предела чередованию времен!

Человек постигает величие Творца в течение всей своей жизни, и, хотя не дано ему постигнуть это величие во всей его полноте, но подарены человеку мгновения, когда его словно озаряет краешек чего-то непознаваемого и чудесного. Вот и приход этого рассвета был для меня крупицей такого озарения. Ночь — со зловещими криками птиц и воем шакалов, с шорохами, страшными зарницами по краю неба — таяла, как и должны исчезать любая недобрая сила, зло. Разумеется, все живое знало, что тьма придет снова, но пока приближался свет, суливший радость. И что с того, что только Всемиловитый Бог знал, кто победит в этой вечной борьбе тьмы со светом — человек мог надеяться на лучшее, верить в него.

Овцы уже топтались возле того места в ограде, где еще вчера откидывались жерди, перекликались нетерпеливым мемеканьем, требовали корма, водопоя... Самых нетерпеливых я успокаивал несильными толчками посоха, пытаюсь сообразить, как мне следует действовать, если и теперь мне не будет никакой помощи. Милостив и щедр был Господь, когда во время Великого Исхода усеял пустыню белыми шариками манны, когда жирные перепелы сами давались в руки отчаявшимся евреям... Так было, когда праотец и Учитель Моисей вел тысячи и тысячи — к свободе, к новой жизни. А кто ведет меня — одинокого и ничтожного? И кому нужны мои опасения и такие, в сущности, недолгие страдания? Да и страдания ли, если разобраться?

Отсюда, из горного распадка, были видны рощи смоковниц и оливок на окраине Сихара, в просветах кое-где белели плоские крыши ближних домов, дальше плавало довольно различимое марево, какое всегда бывает там, где жилища многих людей, где дым очагов смешивается с пылью, поднимаемой подошвами и копытами. В конце концов я мог бы, оставив овец в ограде, на какое-то время отправиться в Сихар или в глубину распадка, где находятся становища других вла-

дельцев стада; мог бы высечь огонь и разжечь костер, а потом, убив ягненка, с помощью острого камня снять с него шкуру и кое-как выпотрошить, а затем обернуть тушку листьями терна и падуба испечь в угольях, в горящей золе. Я не изнежен, видал всякое и выходил в жизни из многих трудных положений...

Мучили неопределенность, отсутствие каких-либо известий и еще то, что я никогда не забывал: что там ни говори и ни думай, а я не хозяин ни этого стада, ни прочего имущества. И динарий, который я не отдал вчера пастуху, испугавшемуся грозы, принадлежал не мне. Правда, я сберег его...

Тонкий и немного визгливый голос я услышал издалека, и в первый миг не поверил своим ушам — показалось, что это отголоски птичьих криков из ущелья. Но вот голос раздался ближе, а затем еще ближе, и я различил, что он сыплет отборными ругательствами. Это было похоже на одержимую бесами старуху, которую я видел года два назад в Аримафее, — безжалостные мальчишки бросали в нее мелкие камешки, куски сухого навоза, а она визжала и проклинала своих мучителей, называя их «стервятниками».

Очень скоро выяснилось, что никакая это не старуха и явно не человек, одержимый бесами, — из-за поворота тропы показался осел, на котором восседал широкоплечий остробородый здоровяк, ноги которого почти волочились по каменистой земле. Здоровяк ругался и колол длинноухое животное по бокам и крупу, а оно через каждые несколько шагов останавливалось — было видно, что ослу совсем не нравится тащить на себе такой груз. Вблизи неудачливый всадник не выглядел здоровяком — он был дряблым, словно налитый водой, на морщинистом лице выделялись тяжелые мешки в подглазьях.

Осел в очередной раз замер у края починенной мной ограды, град ударов, возобновившись было, прервался.

— Пустынная падаль, чтоб копыта твои обьели термиты, носил бы ты на себе Каина и его потомков, мерзкая тварь Авадонна!.. — он был сирийцем, поскольку ухитрялся произносить в арамейских словах гортанные звуки даже там, где они не требовались. — Добрый человек, не скажешь ли ты мне, где здесь может находиться овечьё становище, которое принадлежит вдове Мариам, дочери Садока?

Я подумал, что если речь идет о Мариам, в доме которой я живу и с которой я делю ложе, то, во-первых, я совсем не знал, что отца ее звали Садоком, и это действительно самарийское имя; а во-вторых, странно, что ее называют «вдовой», ибо уже многим известно, что она не одинока, хотя брак наш и не записан в свитках Сихарского храма.

— Мне не известен отец упомянутой тобой вдовы, уважаемый, — ответил я, сочувственно посмотрев на осла, моргавшего длинными белесыми ресницами и мотавшего хвостом с репьями в кисточке. — Но, возможно, тебе известны еще какие-нибудь приметы, которые помогут мне ответить на твой вопрос?

Ослиный мучитель посмотрел на меня с неожидан-ным уважением, пропищал:

— Овец может пасти некто Манассия из Иудеи...

— Не сын ли Рувима? — кротко осведомился я, испытывая ненависть к этому тонкоголосому болтуну, которого, вероятно, оскотили еще в детстве — вот только борода его приводила меня в некоторое замешательство, ибо известно, что у кастратов не только тонкий голос, но и лица женские, и даже груди весьма увеличены.

— Ты сказал правду, добрый человек: мне именно так говорились об упомянутом иудее Манассии.

— Ты видишь его перед собой, уважаемый, — я даже смиренно наклонил голову, но тут же посмотрел ему в лицо.

Лицо это побагровело, мешки под глазами налились кровью, а в бесцветных глазах обозначились кровавые жилки.

— Так что же ты, сын греха, держимого бесами, со змеей!..

— Тихо! — сказал я, перегибаясь через ограду и крепко взяв за ткань широкой одежды, затрепавшей под моей рукой. — Если не хочешь, чтобы я сделал из тебя пустую шкуру для бурдюка, придержи свой грязный язык, уважаемый!.. Кто ты и что тебе нужно от меня?

Лицо его пожелтело, и он с опаской, но довольно вежливо освободил свою одежду из моих пальцев, толкнул осла задниками довольно новых туфель, но осел, конечно, и с места не сдвинулся.

— Мое имя Амалик ибн-Амалик, я перекупщик...

Не знаю, кто ты здесь, но вдовой Мариам было сказано, что овцы принадлежат ей.

— Она сказала истину, уважаемый.

— Я так и думал, — приободрился перекупщик и не назвал меня «добрым человеком». — И если ты не только пастух, но и доверенное лицо почтенной вдовы...

— И сейчас ты сказал истину.

— ...То ставлю тебя в известность, что за овец этих я уже заплатил уважаемой вдове, и все они принадлежат мне, Амалику ибн-Амалику.

— Ну, что ж, — я отбросил посох и тут же перебрался через ограду.

— Куда же ты, добрый человек? — возопил перекупщик, пытаясь повернуть упрямого осла в мою сторону. Амалик ибн-Амалик вывернулся всем своим грузным и дряблым телом так, что, казалось, вот-вот свалится на землю.

— В Сихар, куда же еще?

— Но я здесь только затем, чтобы пересчитать овец, а потом отправиться нанимать пастуха...

— Две овцы убиты огненной стрелой, — злорадно сказал я. — Уважаемая вдова, конечно, не могла знать этого. Они закопаны вон там, еще земля рыхлая...

— О, горе мне! Может, мы сговоримся с тобой, добрый человек, и ты...

— Сговаривайся, уважаемый, со своим ослом, — посоветовал я перекупщику, уже делая первые шаги по тропе в направлении города. — Только ведь и с ним ты не сумеешь сговориться! Прощай!

Было понятно, что в доме Мариам произошло нечто совершенно непредвиденное и пока необъяснимое для меня. Во-первых, то, что я оказался забытым; во-вторых, она вспомнила об овцах, но не вспомнила обо мне; и в-третьих, Мариам всегда дорожила своим немногочисленным стадом и никогда даже не упоминала о возможной его продаже, тем более перекупщику, который, разумеется, дает самую малую цену...

Я входил в Сихар тем же путем, каким пришел сюда несколько месяцев назад, и почти в такой же утренний час. Оставалось только полежать на траве под смоковницами, а затем почувствовать на себе пристальный взгляд Махира... Если бы плоды смоковниц не были собраны давным-давно, на этот раз я не стал бы удерживаться.

Миновав так памятную мне городскую площадь — агору с древним колодцем Иакова на противоположной от меня стороне, я свернул к жилищу Мариам, обогнул слепую глиняную стену, из-за которой я еще всего день назад выглядывал на каких-то случайных путников — правда, среди них был некто, который сам того, конечно, не ведая, внес некоторую смуту в нашу с Мариам совместную жизнь...

Я чуть не столкнулся с женщиной, закутанной в серое покрывало, которая шла рядом с мужчиной — тоже одетым весьма бедно и невзрачно, но крепким и мускулистым, с жилистой шеей и тяжелыми руками, как бы расправившими короткие рукава туники. Я посторонился, но женщина откинула край покрывала, и я увидел лицо Мариам. Оно было бледным и как бы лишенным жизни.

— Мариам? — удивился я. — Что произошло? Почему ты никого не прислала к Змеиному ручью? То есть... Приехал этот перекупщик... Я ничего не могу понять, Мариам!

— Ты поймешь, — очень тихо произнесла она.

— Ты заболела?

— Я увидела свет...

— Двух овец убило огненной стрелой... Я всю ночь стерег стадо...

— Я должна идти.

— Куда? Кто этот человек? Почему ты идешь с ним?

— Он — мой брат.

— Но ты никогда не говорила, что у тебя есть братья.

— Он брат мне по озарившему меня свету истины.

— И давно он озарил тебя, женщина? — меня начинали выводить из себя туманность ответов Мариам, ее новый облик — словно она была одурманена чем-то или опилась секерой из ягод тутовника. Меня выводил из себя очень спокойный, отрешенный, но в то же время очень уверенный вид мужчины, стоявшего со скрещенными на груди руками.

— Гроза миновала вчера, и прошлая жизнь моя тоже миновала, — она нерешительно покосилась на своего спутника, и тот кивнул, соглашаясь с ее ответом.

У меня было чувство, какое, вероятно, может быть у человека, который неожиданно узнает, что он приговорен к смертной казни.

— Твоя «прошлая жизнь», это и я тоже?—спросил я.

Она кивнула — одинаковым движением с ее спутником.

— Не у колодца ли Иакова ты узнала, что должна поступить именно так? — Я спрашивал, как бы поворачивая нож в своем теле.

— Ты прав, — тихо сказала она, словно во сне; словно заглядывала в глубину себя. — Он заговорил со мной и перевернул всю мою душу... Я ухожу... Но ты волен жить в этом доме, я не отнимаю его у тебя. Оставайся и живи.

Я ударил ее. Я мог бы ее убить, но ударил, как бьют собаку, вдруг проявившую свой воровитый нрав, предательскую неблагодарность. Мариам отшатнулась и закрыла глаза.

— Блудница! Сука эдомская! — я замахнулся снова.

И тогда ее спутник перехватил мою руку — он был очень силен, и мне показалось, что мои жилы сейчас разорвутся, и лопнет грудь, и я задохнусь от ненависти и безысходности.

Именно эта безысходность, внезапное крушение всего, что еще вчера представлялось мне неизменным, требовало выхода — пусть даже в небытие... Я вырвался из тисков спутника Мариам и ударил его, вложив в этот удар все, что чувствовал и думал. Его отбросило к стене, но он устоял-таки на ногах, пригнулся, собираясь кинуться на меня.

— Рав-Толмай! — крикнула Мариам, прижимая стиснутые ладони к груди.

И, словно плеть хлестнула моего соперника, — он побледнел и выпрямился, опустил руки и вскинул голову, подставляя всего себя, беззащитного, под любое проявление моей ярости. И я, невольно сделав шаг назад, тоже опустил руки.

— Зверь! — это вырвалось у Мариам, как стон. — Можешь делать с ним все, что хочешь, он не ответит тебе! Ну? Что же ты медлишь?

— Он из тех, ну... — я взглянул на нее в растерянности, — которые в пещерах у Мертвого моря?

— Он брат мой, — повторила она то, с чего и начинался у нас этот несчастный разговор, и все оставалось по-прежнему темным и непонятым, кроме того, что Мариам уходила и мне нечем было удержать ее.

— Если ты вернешься, — сказал я, словно кто-то посторонний вложил мне эти слова в душу, — я буду ждать тебя, Мариам...

И, наверное, это было самое лучшее, что я мог сказать вчерашней моей жене перед Богом. Потому что на какой-то миг мне показалось, что во взгляде Мариам мелькнуло нечто теплое — как когда-то.

Я отошел в сторону и отвернулся, стараясь не слышать шороха подошв. И когда я посмотрел им вслед, то никого не увидел.

6

В этот день я не покидал жилища, которое еще вчера радовало меня, а теперь всем, что находилось в нем, напоминало о потере — вероятно, было бы гораздо лучше, если бы Мариам изгнала меня из этого дома: прошлая жизнь обрубалась бы, как ударом секиры. И злоба, и ревность, и ненависть, и обида мои были бы очищены от всего постороннего. А так все, что окружало меня, только усиливало мучительство.

Допустим, Мариам действительно встретила мужчину, за которым вдруг оказалась готовой идти хоть на край света... Но, будучи четырежды замужем, а теперь, если говорить честно, и пять уже раз, променяла бы она то, что уже есть, на неведомое? Никто в зрелом возрасте и здравом рассудке так не поступит. И тем не менее Мариам поступила именно так.

Женщине присуще держаться за жильё, как кошке — за привычную и обжитую нору, тем более если это жильё не бедно. Тот, с кем ушла Мариам, отнюдь не производит впечатления человека богатого. Да и откуда богатство, если он держался, как ессей, как пещерный отшельник, покаявшийся не сопротивляться злу? И где это видано, чтобы женщина оставляла свои жильё и имущество покинутому ею мужчине?

Или настолько она виновата перед ним? В чем? Все оставалось темным, как слова Каббалы, которые бормочет иной начетчик в галерее синагоги, рассчитывая, что некто примет его за мудреца...

Неужели все произошло потому, что между мной и Мариам в последние дни случилось несколько размолвок? В это невозможно было поверить!

Что ж, я вел себя так, как и любой иной на моем

месте — люди, как мне довелось понять, мало отличаются друг от друга в обычной жизни. Необычными людей делает необычное. Сначала я готов был крушить все вокруг себя, сыпал проклятиями, от которых, казалось, должно было вспыхнуть пламенем все это жилище. Я разбил несколько глиняных амфор, окровавил руку о косяк двери, которую распахивал ударом... Потом меня жгли слезы, и я стонал, не в силах подавить в душе боль, которая сильнее любой другой боли. Потом я не заметил, как провалился в забытье: сказались ночь у Змеиного ручья среди овец, тогдашняя растерянность, а затем — отчаянье.

В таком состоянии я находился недолго: может быть, половину одной стражи. Во всяком случае, когда я выглянул наружу, солнце не намного перевалило через зенит. Было ощущение тупого равнодушия, и еще мучил голод.

Я отыскал лепешку там, где всегда хранился хлеб, целый овечий сыр, завернутый в папоротниковые листья; на глиняном блюде лежали горькие и пахучие травы, которые так нравились и мне, и Мариам. Все это было свежим — словно женщина думала о том, чтобы мне не было плохо, чтобы я мог насытиться. В одной корзине с крышкой лежали стручки гороха, несколько корнеплодов, кувшин с оливковым маслом; в другой — пахнущие вином перезревшие смоквы, сладкие рожки... Я зачерпнул вина из закопанного в землю объемистого сосуда и поел, возблагодарив Господа Бога за то, что я не оказался лишенным крыши и еды.

А потом я услышал уже знакомый мне тонкий голос, который настойчиво звал «почтенную вдову Мариам». В голосе звучали нетерпение и гнев.

Амалик ибн-Амалик заметно удивился, увидев меня, выходящим из этого дома. Сирийский перекупщик выглядел невыспавшимся и усталым, но, видимо, все дело было в его упрямом осле, на боках которого были прямо-таки полосы и проплешины от ударов палкой.

— Э-э-э, а где твоя хозяйка?

Я снова не был для него «добрым человеком», и меня отчасти заинтересовало: на кого этот торговец ухитрился оставить купленное стадо? Не на шакалов же?

— Ее нет, — коротко ответил я.

— Но она придет? Э-э, стой же на месте, порожденные ехидны и нильского крокодила! — последние слова

относились, разумеется, не ко мне, а к длинноухому животному, которое теперь решило не стоять, а идти. Палка взметнулась и ударила осла по ушам, заставив его попятиться. Я засмеялся, а перекупщик обиделся.

— Ты не имеешь понятия о приличиях, пастух...э-э. сын Рувима! Я спросил: придет ли твоя хозяйка, и когда это будет?

— Вернее всего, никогда, — я сказал это, чтобы обрезать дальнейшие расспросы, избавиться от этого неприятного мне человека, но как бы ударил и самого себя, напомнив себе о случившемся.

— Значит, почтенная вдова все-таки ушла к ним? — воскликнул Амалик ибн-Амалик и огладил ладонями свою скудноватую бороду с проплешинами и сединой.

— К кому это «к ним»? — спросил я, недоумеваю.

Он хмыкнул, продолжая справляться с ослом. Я все больше убеждался, что этот перекупщик был великим пронырой и мошенником, не лишенным ума и хитрости.

— К кому? — переспросил Амалик-ибн-Амалик, и мерзкая ухмылка перекосила его дряблый рот,—А к тем, которые проповедуют, что завтра будет обязательно по-другому чем сегодня... И обязательно лучше, чем сегодня... Разве ворон перестанет клевать падаль, а?

Я вспомнил нашу последнюю размолвку из-за слухов о чудесах, слова Мариам «мой брат», протянул руку к перекупщику:

— Те, которые проповедуют, ты сказал, уважаемый!...

— А я-то надеялся, — осклабился перекупщик, — что ты все-таки не только пастух... Именно так я и сказал: проповедуют! Царство, которое не от мира сего... А драхмы, тетрадрахмы и сестерции, которые вполне от сего мира, им не мешают! Прогуляйся к роще Саула, как дело к вечеру будет — может, свою хозяйку увидишь. Между прочим, я ведь и приехал сейчас к ней, чтобы поговорить насчет павших двух овец — деньги были выплачены за всех... Правда, ты...

— Возьми, — я протянул ему динарий, который вчера не отдал настоящему и такому неудачливому пастуху. Две овцы, конечно, не могли стоить денег, и кроме того, у меня не оставалось никаких наличных средств, но сообщение этого проклятого сирийца проливалось на все случившееся хоть какой-то свет. Вполне вероятно, что Рав-Толмай, которого я ударил и который не стал защищаться по какой-то неведомой мне причине, и не

был ни в чем виноват... Но тогда и Мариам виновна совсем не в том, в чем я обвинял ее!..

— Я так и думал! — обрадованно захихикал сириец. — Ты не только пастух, добрый человек, но еще и... сторож! Между прочим, я передал твоей хозяйке кое-что лишнее, и динарий как раз...

— Пусть хоть раз в жизни твоя дорога будет прямой! — пожелал я ему.

— Такие дороги бывают только у божественного цезаря, да хранят его боги! — Вскинул перекупщик руки к небу, причем я совсем не успел заметить, куда и как он спрятал полученный только что динарий. — Прощай! И не забудь: роща Саула — это через Ивлеемские ворота...

Он хлестнул осла, и тот без какого-либо упрямства зашагал по улочке, поперек которой тени уже порядочно удлиннились, — словно животное было довольно, что его грузный и злой хозяин наконец-то сделал хоть одно доброе дело. Правда, получив за это целый динарий.

— А как имя этого проповедника, уважаемый? — крикнул я вслед перекупщику.

Он обернулся.

— Иешу! — В его тонком, почти женском или детском голосе мне послышалась издевка. И я мысленно пожелал, чтобы его дети и внуки стали сборщиками подати, хотя тут же подумал, что, во-первых, вряд ли у этого сирийца есть дети; а во-вторых если есть, то именно такой должности он им, вернее всего, и сам желает.

7

За то недолгое время, в течение которого я прожил в Сихаре, от Мариам и от других людей я кое-что узнал об этом маленьком городе, хотя до сих пор не мог бы искренно сказать, пришелся ли он мне по сердцу? Ивлеемские ворота только назывались «воротами», ибо от них остались лишь грубо отесанные и полуразрушившиеся камни, сохранившие борозды от прежних — бронзовых — петель для воротных ставков. Дорогой этой не пользовались уже много лет — караванные и прочие пути, в том числе и предписанные для передвижения римских легионов, проходили на Дафан — к северо-западу и на Самарию — к юго-западу. То же, кто намеревался попасть, скажем, в Авелмехолу, в Галадский Рамоф

в области Гаад или дальше — в Авран и Васан, должны были идти кружными тропами через Беф-Сан, огибая подножье горы Гелвуй — ее скалистая, двухзубая вершина была видна на фоне белесого неба с любой точки на этом пути, да и с окраины Сихара тоже.

По преданию, роща Саула называлась так потому,, что именно здесь стоял шатер этого израильского царя, против которого выступил его сын Авессалом. Но во время моих скитаний по земле Израиля мне показывали несколько мест, называвшихся точно так же. Может быть, царь Саул действительно приказывал всюду разбивать свои шатры, ибо был достаточно воинственным; а может, все дело было в том, что любой иудей читил великую Книгу и стремился запечатлеть все, что сказано в ней о минувших временах. К сожалению, порок названия уже и не соответствовали тому, что видели сегодняшние люди — в той же роще Саула за Ивлеемскими воротами Сихара не было никакой растительности выше чахлах травинки и мха, которыми кое-как пушились каменные нагромождения. Камни торчали неравномерными уступами, подобиями ступенек, а ниже них было подобие ложбины. Вероятно, именно это и привлекло сюда Иешу и тех, кто тянулся к нему, слушал его слова и повторял их для других — здесь никто никому не мог мешать, и всякий посторонний оказывался на виду, и о нем можно было судить по его истинному достоинству.

Правда, достоинство это оценивалось сторонниками проповедника, а значит, суждение могло быть самым простым: враг или друг? И если не замахивается сразу же с угрозой, значит, вполне может быть другом... Еще не имея никакого представления обо всем этом, стремясь лишь получить полную ясность о причинах случившегося с Мариам и со мной; понять — временная это беда, или она уже бесповоротна, как чума или проказа, — и лишь боясь, что не пройдет мне даром ярость моя по отношению к Рав-Толмаю, я и отправился в тот же вечер к Ивлеемским воротам.

Небо теряло белесость, голубело и медленно сгущала эту голубизну, а на закате озарялось последним золотом, и очерчивалась вершина горы Гелвуй, похожая на двух странников в плащах, как бы склонившихся друг к другу для тихого разговора. Зной спадал, разливалась пока еще едва заметная свежесть, доносимая едва за-

метным движением воздуха от далекого моря, и лишь камни продолжали отдавать накопленный за день жар. И уже скакали среди серой травы такие же серые птицы, суетливо перекликались, словно бросали звонкие капельки воды, ловили и склевывали ящерок, выползавших из своих норок жуков.

Было время, когда жизнь в Сихаре оживала вторично за день—утром она как бы раскачивалась, определяла свои сегодняшние интересы и свою злобу, чтобы наметить сделки, запастись едой, наполнить амфоры водой, а лари и корзины — плодами земли и людского труда, а затем замирала, оставив лишь качающиеся фигуры беседующих с Богом в галерее у белых стен синагоги. Часы же близости к закату, самого заката и того недолгого времени, когда день от ночи отделяют сумерки, становятся как бы каждодневным маленьким праздником, на котором любой из жителей городка получает ту радость, на которую может рассчитывать по своему положению и достатку. Поднимаются навесы лавок, стучат молотки медников и гребни ткачководовщиков, менялы в своих нишах раскладывают разнофигурные монеты и брусочки металла, хотя и очень мало в Сихаре тех, кто заинтересован в обмене денег. После восстания, поднятого Иудой Голонитом, по приказу римских властей, тетрархи всех четырех областей-царств Израиля запретили продавать приготовленную еду, закрыли все харчевни, в которых собирались люди. Но всякий запрет со временем теряет смысл, и вот уже сегодня то здесь, то там стали появляться лавки, в которых можно было провести время за кратером с вином, за блюдом с нехитрой едой, вроде посоленных оливковых выжимок, вареных бараньих потрохов... А когда сгустятся сумерки, зажгутся огоньки светильников — до начала первой стражи.

Я прошел по двум торговым улочкам, свернул к Ивлеемским воротам и, к удивлению своему, увидел, что здесь далеко не так безлюдно — мимо грубо обтесанных когда-то камней, ныне поросших мхом и лишь отдаленно похожих на основания ворот, двигались, выходя из города, люди: большинство мужчин, но мелькали и женские одеяния. Было заметно, что хотя все шли в одном направлении, но как бы каждый в отдельности, не вступая друг с другом ни в какие разговоры. Многие прятали лица, словно стыдились чего-то. Преимущественно

это были бедно одетые люди, среди которых находились и рабы, узнаваемые по лохмотьям, едва прикрывавшим обожженные солнцем тела, по уродливо обстриженным головам — богатые иудеи не клеймили своих рабов, даже предоставляли им кое-какую личную свободу, а порой и без выкупа отпускали на волю, но тем не менее никогда не забывали, что раб есть раб и он должен отличаться от свободного человека...

Как ни удивительно, я мысленно поймал себя на том, что мне совсем не хочется спрашивать кого-либо: правилен ли мой путь? Словно я вступил со всеми этими людьми в некий безмолвный сговор, и незачем было спрашивать о чем-нибудь — все и так разумелось само собой. Мне показалось, что среди двигавшихся к роще Саула я заметил подростка, бывшего пастухом стада Мариам, с которым я в сердцах обошелся не совсем справедливо. Но, может, я и ошибся. Тем более что мой взгляд невольно останавливался только на очертаниях женских фигур — мне все время мерещилось, что какая-нибудь из них обязательно должна оказаться Мариам...

В ложбине перед каменными уступами и подобиями ступенек на скальном поросшем травой и мхом взгорбке собралось, вероятно, не меньше ста человек. Издалека это было похоже на небольшой базар, но удивляла стоявшая тишина, а также обращенность всех собравшихся в одну сторону: к взгорбку. И я, подойдя, стал позади других и обратил лицо в ту же сторону, а затем отыскал вросший в землю округлый камень, поднялся на него, заглядывая через головы и плечи.

Я увидел Рав-Толмая — того, с которым ушла Мариам. Кулаки у меня сжались сами собой, и понадобилось немалое усилие, чтобы хоть немного успокоиться. Рав-Толмай, находясь на взгорбке, над собравшимися, перепрыгнул с одного каменного выступа на другой, взмахнул рукой, с улыбкой отозвался на чьи-то слова от стоявших ниже... И тут же рядом с ним оказался другой человек — ему помогал утвердиться на скальном подобии ступени кряжистый мужчина в серой хламиде, с лысым, смуглым от солнца черепом. Человек утвердился, повернулся — и я узнал в нем того, с длинными кудрями, с небольшой бородкой, кротколицего и прекрасного своей задумчивой отрешенностью, который всего несколько дней назад вместе с другими странниками прошел мимо нашего с Мариам жилища.

Да, так всегда бывает — разве может человек знать, в какой именно миг происходит то, что сразу же меняет его судьбу? Или и вправду каждый из нас, живущих под солнцем, — Иов, которому нужно покоряться ударам судьбы, лишь слава Господа Бога? Иов получил в конце концов награду за всю свою жертвенность, но ведь каждый иной — уже не Иов, и его можно даже заподозрить в надежде на награду.

Увидев и, вероятно, узнав кротколище, с кудрями до плеч, в раскрытой на груди хламиде были видны худые ключицы, ямка между ними, капельки пота на высоком лбу, толпа заметно оживилась, правда по-прежнему с ноги на ногу. Рав-Толмай приподнял руку, как бы прося не волноваться.

— Кто он? — Я тронул плечо стоявшего передо мной.

Он обернулся и ответил не сразу, как бы просыпаясь, хотя вид у него был совсем не сонный. Это был человек преклонных лет, с головой, иссеченной уродливыми шрамами: бывший воин, а может, раб из рудников возле Антиохии.

— Сын человеческий, — глухо ответил обладатель шрамов.

— Я тоже сын человеческий, — начиная раздражаться, сказал я.

— Ты? — Его седые брови, как бы разрубленные на частицы, приподнялись, выражая удивление и сожаление.—Ты, да будет истина тебе не врагом, а другом, пока лишь раб страстей своих...

— Говори это детям своим! — посоветовал я, понимая в то же время, что веду себя не так, как следовало бы.

— Все мы пока неразумные дети единого Отца.

Несколько человек оглянулись на нас с явным осуждением.

— Я спросил тебя только о том, кто этот человек? Ведь у него есть имя...

— Мессия ему имя.

Я с невольной опаской посмотрел по сторонам, оглянулся, вспомнив, что ведь и казненный Голонит, и другие мятежные пророки называли себя «Мессиями», ибо именно этим стремились привлечь сторонников. И тогда среди тех, кто находится рядом с этим проповедником, наверняка есть соглядатаи; возможно, и этнарх Сихара

предупрежден... Покрытый шрамами, похоже, отгадал мои мысли, посмотрел на меня с презрением и откровенной жалостью.

— Не он, а я это сказал... Иешу-Галилеянин имя его. Ты доволен, любопытствующий?

— Прости, пожалуйста, уважаемый, — пробормотал я. Кажется, этот покрытый шрамами меня принял за соглядатая, только этого не хватало!

Снизу Иешу-Галилеянину женская рука протянула лоскут белой ткани, и он, благодарно улыбнувшись, вытер вспотевший лоб. Я привстал на цыпочки на камне, стараясь увидеть ту, которая так вовремя проявила заботу о проповеднике, не увидел, собрался протолкаться в передние ряды... И тут Иешу заговорил. И все замерли, и стало понятно, что мне просто не позволят проталкиваться куда бы то ни было.

Каким был его голос? Чистым и звучным, но Иешу как бы не хватало дыхания, и потому он говорил совсем не громко, и словно не с толпой, а с самим собой. Словно он вслушивался в вопросы, которые рождались в его душе, и отвечал на них — доверительно и доверчиво, ни в чем не кривя совестью. И не вскидывал он рук к небу, как это делают все священнослужители и проповедующие, не делал резких движений, и не грозил карами... О чем говорил Иешу-Галилеянин?

Вопреки тому, что я слышал прежде об этом ученике Иоханаана-Провозвестника и что передавала Мариама, сейчас он ни словом, ни намеком не упомянул о священниках, взявших на себя обязанности посредников между Богом и людьми; не призывал отречься от чего-то и не увещевал, чтобы люди служили чему-то. Он просто рассуждал о человеческих жизни и доле, не делая никакого различия между теми, кто деревянным клином вспахивает свое крохотное поле, чтобы прокормить себя и свою семью, и теми, кого проносят в богатых носилках, кто наряжен в пурпур и виссон. Он с болью говорил об обреченности только что рожденного на свет — если не на болезнь и на горе для себя, то на горе для других: ведь только злодей с заросшим волосами сердцем скажет, что быть палачом лучше, нежели быть жертвой... Но мир безжалостен, и паук, едва появившись, уже натягивает смертоносную сеть, а глаза котенка ловят любое движение, сокращая зрачки, и нежные пальчики младенца цепко обхватывают все, что

попадаете в них. Но человеку дан Господом Богом дар осознавать взаимосвязь явлений, последствия любого своего поступка... Человек всегда способен отличить голод от алчности, простодушие, от расчётливости, запасливость от скупости, осторожность от трусости, отвагу от безумия... А если не кривить душой, то и у себя самого. Так не кривите же душой, люди! И каждый миг вашей жизни будет на пользу вам и другим!

И еще Иешу говорил, что никакое деяние человеческое — не впустию, ибо есть закон воздаяния. И всякий помысел — тоже деяние. И как в глазах людей беда из-за недомыслия ее виновника заслуживает снисхождения, так в глазах Господа добрый поступок из-за корыстных побуждений заслуживает не награды, а наказания...

И я, не кривя душой, мысленно признался себе, что видел в Мариам только красивую и удобную для себя женщину, осознавал в ней свою удачу, любил, ее и был привязан к ней, но именно как к удаче. И никогда не пытался увидеть в ней существо, которое стремится найти смысл в своем бытии. А может, Мариам и не стремилась к смыслу? Может, только случайный разговор с Иешу и его товарищами и открыл ей глаза, уже подготовленные к этому запавшим в память обликком проповедника? И семена упали в почву, давно тосковавшую по ним... Я видел, как слушали люди этого Иешу — я ведь и сам не оставался равнодушным, тем более насмешливым или враждебным...

Да, я понемногу сознавал, что как бы раздваиваюсь: один Манассия, сын Рувима, вытирал повлажневшие глаза, мысленно благодарил этого кротколицего и не слишком сладкоголового молодого человека за те чувства, которые он пробуждал, за полное согласие, которое воцарялось в смятенной до того душе; другой Манассия мстительно помнил обо всем, что произошло с ним, разгорался ревностью и ненавистью. В памяти услужливо всплывали чьи-то давние рассказы о сектантах-есееях, которые живут в пещерах на берегах Мертвого моря, и не жены у них, а общие женщины, доступные каждому, как обломок черствой ячменной лепешки. Иоханаан-Провозвестник учился у ессеев, а Иешу-Галилеянин был учеником Иоханаана... И моему воображению представлялось, как спят вповалку все, пришедшие с Галилеянином, и лежит среди них Мариам, и то один, то другой

мужчина переползает к ней, и гладит жесткой и требовательной рукой ее бедра, будя, а затем, побряхтывая, раздвигает коленом ее ноги, прижимается своим волосатым телом к ее нежным чреслам, и животу и стонет, ожидая сладкой судороги, и потом упрекает, что не одновременно были их судороги...

Изнеможенный, ощущая зуд во всем теле, облившимся холодным потом, с помутившимся перед глазами миром, я не сразу очнулся, когда почувствовал чье-то прикосновение. Перед мной стоял Рав-Толмай, смотрел с участием.

— Что тебе нужно? — с трудом выговорил я.

— Я увидел тебя, узнал, подошел, — просто ответил Рав-Толмай. — Ты ведь хотел увидеть ее, правда? Ее здесь нет.

— Спрятали? — у меня перехватило горло. Мне подумалось, что Мариам уже поняла свою страшную ошибку, что она рвется возвратиться, но ее не отпускают, как это водится в преступных шайках...

Рав-Толмай пожал плечами.

— Она помогает готовить трапезу...

Он, как бы понимая, что происходит в моей душе, не называл Мариам по имени.

— Вы, конечно, не дадите мне увидеть ее?

— За нашим столом находится место всем.

— Так же, как и на ложе?

— Это неправда, — мягко сказал Рав-Толмай, как говорят ребенку, произнесшему непозволительные слова. — Так иногда говорят о нас злые и лживые люди... Учитель будет говорить людям до сумерек, а потом мы можем пойти вместе.

«Лжешь! — хотелось мне крикнуть прямо в его спокойное лицо, в лицо человека, уверенного, что он прав. — Сманили женщину, а теперь морочите голову, лишь бы не воззвал к властям!..» Но, стараясь изо всех сил тоже выглядеть спокойным, я спросил:

— Это далеко?

— На улице Белой Цапли, в доме Цивеона, сына Зерахова. Это у Самарийских ворот.

— Я знаю, где улица Белой Цапли и где Самарийские ворота, знаю.

— Я не хотел обидеть тебя, но Мариам говорила, что ты не очень давно пришел в Сихар...

— Ничего, все-таки раньше, чем сюда пришли вы, —

со злостью ответил я, раздраженный и поучением, и тем, что имя Мариам прозвучало-таки, и тем, что этот ученик Иешу, похоже, отгадал мои мысли.

Он кивнул мне почти дружески, как бы напоминая о приглашении, и пошел, огибая толпу слушающих Иешу, к взгорбку с каменными выступами и подобиями ступеней. И ни разу не оглянулся, словно был твердо уверен, что все будет так, как он сказал.

Именно поэтому я поступил совсем иначе: повернулся и зашагал обратно к Ивлеемским воротам города — тем более что до сумерек еще было время.

Ощущение раздвоения самого существа моего, мыслей моих, которое возникло во мне совсем недавно, как ни странно, и по мере моего удаления от роши Саула ничуть не слабело, а даже как бы и усиливалось. Один я хотел остаться здесь, чтобы и дальше внимать негромкому, но такому проникновенному голосу Иешу, говорившему то, что и до того находилось на дне души моей, но не было пока извлечено, а теперь я узнавал собственные затаенные прежде мысли и радовался, что они словно обретали плоть... Другой я — хотел как можно скорее, и во что бы то ни стало разоблачить коварных посетителей Мариам, и вернуть ее под крышу ее жилища, о котором она, конечно же, тоскует. Пусть даже она захвачена новой любовью, но что может ждать ее с этими бродягами, хотя и умеющими говорить? Не в словах же дело!.. Даже в самых правильных, берущих за душу! Интересно было бы расспросить поподробнее насчет воды, превращенной в вино; насчет прочих чудес...

Солнце уже провалилось за иззубренную кромку гор, и уже небо теряло последнюю золотистость и наливалось лиловыми и фиолетовыми глубокими тенями, когда я достиг Самарийских ворот, маленькой площади, где обычно топтались два-три стражника общинной охраны. Здесь обычно показывали свою последнюю красоту одинокие вдовы и девицы из самых нестрогих, но сюда приходили и блюстители Закона из храмовой службы, и горе было тем, кто способен бывал забыть о кануне святой субботы... Мне почему-то представилась Мариам, беспомощно и бессильно вскидывающая обнаженные руки навстречу летящим камням...

Направо от ворот — к торговым рядам — вела улица Серой Цапли. Улица Белой Цапли вела налево — туда, где жили сборщики овечьего помета, гадальщики, ни-

щие, те, кто промышлял всевозможными темными делами и способами. Находили здесь приют и беглые рабы. Честный труженик, пусть и последний бедняк, старался не общаться со здешними обитателями. И я в ожесточившихся мыслях своих поклялся вырвать Мариам из когтей порока.

Ковылявший на костылях горбун-оборванец с седыми космами, падавшими на его морщинистое лицо, покрытое не то грязью, не то коростой, ощерил черный провал рта.

— Ты спрашиваешь про дом Цивеона, сына Зерахова, человек? Мне сдается, ты из тех, кто знает, где его искать...

— Почему ты так подумал, обиженный Господом?

— Ты смеешься надо мной? Разве ты не Мешех— игрок в белые и красные зерна?

— Ты обознался, — уже более осторожно сказал я. Мне вспомнился перекупщик, принявший меня за пастуха, а потом затеявший издевательский разговор. Теперь вот этот калека на подозрительной улице... Может, действительно не следовало менять свою жизнь, превращаться во владельца того, что не могло и не должно было принадлежать мне? Но разве человеку не свойственно стремиться к лучшему? Разве не только беда, преступление или безумие способны толкнуть человека в обратную сторону?

— Обознался, говоришь? — Калека заглянул мне совсем близко в лицо, дрогнув воспаленными вывернутыми веками, дыхнул какой-то гнилью, засмеялся. — Как хочешь, как хочешь, человек!.. Значит, дом Цивеона? А вот как пройдешь кишкомойню, будет жильё тесальщика надгробных камней, а за ним — как раз и живёт сын Зерахов... Ха, «обознался»!.. Сдается мне, что ты все-таки Мешех-игрок!..

Кишкомойня, конечно, была самой надежной вехой, чтобы не сбиться с пути — вонь от бараньих кишок забивала дыхание. Правда, кишкомойня находилась немного в низине, стоило пройти дальше, и зловонье быстро слабело. Здесь уже стояли рядами надробные камни на любую цену и на любой вкус: большие, маленькие, из черного, серого и белого базальта, гранита, известняка... За рядами камней, вызывавших не очень-то веселые мысли, виднелось добротное жильё с подобием галереи, в которой дымился очаг, двигались люди.

Я остановился, перевел дух. Дальше было нечто вроде пустыря, кое-где поросшего сорной травой, коллючками. На краю пустыря горбатилась хижина, кое-как сложенная из неровных камней, обмазанных глиной, прикрытая охапками сухой травы, придавленной тоже камнями. Возле хижины тянулся навес из переплетенных веток, подпертых жердями. Дышал паром котел, стоявший на краях канавки, в которой дымил и алел языками огня костерок. Я повернулся на шорох и вздрогнул.

По тропинке среди камней и коллючек, с амфорой, округлое и узкое дно которой было уперто в ладонь на уровне плеча, плавно шла Мариам.

— Мариам! — вывалось у меня, и я шагнул к ней навстречу, протянул руки. — Мариам!

Ее взгляд встретился с моим взглядом. Лицо ее побледнело, но не утратило какого-то торжественного выражения, величавости, словно ей теперь было известно нечто, не известное другим.

— Мир тебе, Манассия, — произнесла она тихо и ровно. — Если тебя мучает жажда, утоли ее.

Она опустила амфору к ногам, придерживая ее за изогнутую ручку. И меня как бы пронзило болью, ибо все это так было похоже на нашу первую встречу возле колодца Иакова.

— Разве я пришел сюда из-за жажды?

— Я знаю, — сказала она. — Ты хочешь, чтобы я ушла с тобой.

— Да.

— Не сердись, но я не пойду...

В течение какого-то мига мне хотелось опять ударить ее, даже убить, бросить в ее спокойное лицо все, что думал о ней и ее новых друзьях, вероятно, любовниках, но я как-то сразу вдруг осознал полное свое бессилие. И на плечи легла неожиданно такая усталость, словно я прошагал несколько верблюжьих переходов, да еще с вьюком на спине...

— С кем ты из них? Или?..

Слабое подобие улыбки осветило лицо женщины, и это была улыбка жалости.

— Тебе все равно не понять...

— Да, — согласился я. — Не понять... Но я пойму.

К счастью, это прозвучало неопределенно, даже задумчиво, и в глазах Мариам я уловил нечто вроде

надежды. И в этот миг я сообразил, что именно мне следует сделать, чтобы Мариам возвратилась ко мне и чтобы отомстить моему сопернику, а если все обстоит так, как мне и представлять страшновато, то — всем, кто виновен в этом. Эта мысль наполнила меня ощущением холода, ибо я уже успел привыкнуть к спокойной и сытой жизни, к определенному уюту и даже довольству.

«Может, повернуться и уйти? И пусть эта женщина забудется как можно скорее?» — подумалось мне.

Теперь-то я знаю, что именно так и следовало поступить — все можно отдавать в залог, кроме души. Я же в тот миг отдавал душу. Я все еще был привязан к Мариам, я все еще уверял себя, что она обманута, что она нуждается в спасении.

Возле хижины появился мужчина — «значит, не все пошли к роще Саула, оставили присматривать», — подумал я, еще больше утверждаясь в своем решении. Пригнувшись под навесом из ветвей, мужчина неуклюже добрался до котла на огне, выпрямился и посмотрел в нашу сторону. Даже в сгущавшихся сумерках было видно, что он высок ростом и строен.

— Это Иуда, сын Симона из Кериофа, — в голосе Мариам чувствовалась ласковость, и я стиснул зубы, опустил глаза, чтобы не выругаться, не выдать себя. — Ему нездоровилось сегодня... Он тоже знает о тебе...

— А вот я не знаю о нем, — сказал я сквозь зубы, по-прежнему не глядя на нее.

— Люди говорят про нас столько плохого, — вздохнула Мариам. — Я не поверила бы, если бы мне сказали, что ты придешь... Может, узнав все, ты перестанешь осуждать меня?

Иуда-Кериофянин неторопливо приближался к нам, явно заинтересованный, с кем же разговаривает Мариам. Я уже различал его красновато-рыжую, хорошо ухоженную молодую бороду, мелкие кольца рыжих волос, придавленных круглой маленькой шапкой, несколько островатые черты лица, которые смягчались большими и широко расставленными глазами. И странное дело: он не вызывал во мне неприязни, как это было с Рав-Толмаем; скорее, Иуда-Кериофянин был чем-то симпатичен мне.

Чутье — а в каждом человеке живет настороженный зверь, большой или маленький — и на этот раз не обмануло меня: и в самом деле, среди сопровождавших Иешу-Галилеянина и тянувшихся к нему, кроме Иуды, сына Симона, не было ни одного, кто не вызывал бы удивления, а то и недоумения. Нет, они пока не пустили меня в свой круг, но мне довелось потрапезовать с ними, увидеть и услышать каждого; и этого на первый раз было достаточно. Подозреваю, что Иуда догадывается, что я — совсем не тот простак, каким хочу выглядеть: я то и дело ловил на себе или чувствовал пристальный взгляд его глаз, зрачки которых — как у кошки — сокращались от красных бликов костра. Но мне почему-то думается, что Иуда не станет разоблачать меня или пытаться уличить в обмане — держится он независимо, даже с какой-то внутренней насмешливостью, вступает в споры и с самим Иешу, не говоря о других. Это не вызывает любви к Иуде, но он — единственный из всех, кто не теряется в любом случае, умеет найти пристанище, наладить пропитание, поощрить добродетельных — есть и такие, и немало — дарителей. У Иуды руки мастерового человека и сообразительность торговца. Он, кстати, сын мелкого купца, из таких, которые в складчину нанимают караваны в Дамаск и в Киликию, а то и в парфянские пределы — полагаю, мне еще удастся выяснить, что привело Иуду к Иешу...

Что можно сказать о самом Иешу, сыне плотника Иосифа из Галилейского Назарета? Он действительно из людей, каких я еще никогда не встречал, и только слышал, что бывают такие, — Иешу как будто постоянно находится совсем не в том мире, в котором находимся все мы, остальные; он словно прислушивается к словам или музыке, которую никто другой не слышит; и выражение кроткости на лице, и слабая улыбка такие, что трудно отвести взгляд. Говорит он порой непонятные вещи — о росистых полях, на которых счастливые люди; о звездах, склоняющихся к земле; об источниках Мудрости и Доброты... А иногда проповедует, как священнослужитель-книжник в синагоге, причем приписанное великим пророком и отцом нашим Моисеем усугубляет дополнительной требовательностью, словно Закон недостаточно суров.

Но всегда и всюду найдутся люди, которые либо обижены жизнью, либо столь жадно заглатывали ее, что наступило несварение; которые боялись возмездия, верят в некий рок. Таким всегда кажется, что стоит хоть на время ужесточить Закон, и жадность вчерашнего дня простится им. А тем, кому жизнь недодала, кажется, что за пережитую суровость обязательно воздастся. Среди же учеников Иешу, похоже, большинство верят, что он научит их истинам, с помощью которых можно будет избавить мир от его скверны... А мир отвратен, жесток и несправедлив, и нет ничего удивительного, что еще один пророк, появившийся в Израиле, привлекает все новых и новых последователей — тем более что к мятежу и восстанию он не призывает, мстью никому не грозит, а предлагает лишь совершенствовать самих себя.

Говорят, что мать Иешу — Мариам — сестра матери казненного по приказу Ирода Антипатра Иоханаана-Провозвестника, который омовением в Иордане снимал грехи мира со своих последователей. Говорят, что предсказано было: придет в мир сын священнослужителя назаретского Иоханаан, чтобы возвестить грядущее явление Мессии — Христа. И когда Иешу пришел на Иордан, чтобы омыться от грехов мира, то Иоханаан объявил людям, что Иешу и есть Мессия. Но так говорят, а люди многое что говорят напрасно. Потому что жизнь человека коротка, наполнена заботами о пропитании, болезнями, страхами, и нет в ней ничего чудесного. Недаром в синагоге с такой горечью повторяется вопрос, заданный некогда Проповедником: «Душа ли скота опускается вниз, душа ли человека поднимается вверх?» И потому человек придумывает чудеса сам. А о чем они, эти выдумки? О голоде, болезни, смерти.

Иуда, сын Симонов, шепнул мне, что Иешу прожил на свете тридцать с лишним лет, что вот уже больше года скитается по Израилю, призывая людей стать лучше, чем они были до этого; что, как и все его однолетки, учился в школе при синагоге Назарета.

— А потом? — спросил я.

Иуда с лукавым видом пожал плечами.

— А чудеса? — задал я новый вопрос.

— А разве не чудо, что мы сидим за этой вот трапезой, без вражды смотрим в глаза друг другу?

Впрочем, об одном истинном чуде мне рассказали и показали на Мариам из Магдалы — не очень молодую,

но тонкую и змеино-гибкую красавицу с густыми и длинными волосами цвета старой бронзы, с глазами, окруженными глубокими тенями, с чувственными губами, по которым она то и дело скользила кончиком языка — словно мучил ее внутренний обжигающий жар. Она пристроилась у ног Иешу, вероятно, не ощущая боли, которую должны были причинять ее коленям мелкие, разбросанные по сухой земле камешки, следила за каждым движением Иешу, вся в напряженной готовности подать ему кратер с водой, свежую лепешку, добавить в блюдо вареных овощей... По морщинке возле уголка рта Иешу, по легкой тени, как бы набегавшей на его лицо, можно было догадаться, что эта чрезмерная преданность, эта готовность услужить не радуют проповедника, даже огорчают его. Иешу, как бы благословляя, и в то же время сдерживая женщину, легко касался концами пальцев ее волос или плеча. И лицо ее — прекрасное и одновременно пугающе откровенной чувственностью — озарялось радостью, теряло свою исступленность.

Все тот же Иуда, сын Симона, намекнул мне, что в недавнем прошлом эту красавицу из Магдалы одолевали «семь иссушающих кровь демонов», и лишь Иешу может лишать их силы. Мне показалось, что в словах Иуды таится некая насмешка, внимательно взглянул на него, но он был серьезен и полон почтительного уважения к Иешу, к своим «братьям», как все сподвижники Галилеянина называли друг друга.

«Сестрами» называли и красавицу из Магдалы, и вчерашнюю мою жену Мариам, и еще некую Анну, не слишком молодую и привлекательную, но с царственными манерами и тяжелым золотым ожерельем, то и дело блестящим в распахе ее грубой хламиды, накинута поверх тонкотканной туники эллинского покроя. Женщины благоговейно прислуживали за «столом», которым называли старую и ветхую, но, правда, чистую верблюжью попону, неведомо какими путями попавшую к владельцу этого пустыря и хижины — одноглазому с сухой правой рукой Цивеону, сыну Зерахову. Он сидел тут же, по-арабски поджав ноги, жадно тянулся за лепешками, зеленью, торопливо жевал, и единственный глаз его, полуприкрытый седой лохматой бровью, светился довольством.

Все было так, словно я никогда и ни при каких об-

стоятельствах не имел никакого отношения к Мариам — просто пришел к трапезе еще один привлеченный проповедями Иешу, и с ним разделили то, что было даровано Господом Богом... Не знаю, всем ли была известна история Мариам, но Рав-Толмай, явно беспокоившийся возле рощи Саула, здесь посматривал на меня весьма одобрительно, даже по-дружески...

Похоже, всем этим положением больше других оказалась озабочена лишь Мариам — она то и дело смотрела на меня то с тревогой и опаской, то с надеждой и радостью. Я догадывался, что встреча с Иешу переломила ее жизнь, но она была бы довольна, если бы и я поступил, как она. Правда, это совсем не значило, что мы были бы мужем и женой или любовниками... Кажется, здесь царили иные отношения, но люди есть люди. Пока твердо я знал только одно: буду приходить сюда снова и снова — эти люди не из тех, кто способен прогнать пришедшего к ним — ведь не об этом говорит все, чему учит Иешу-Галилеянин, а совсем о другом.

Вот они — ученики Иешу и его спутники, «братья». Они трапезуют — кто с большой охотой, кто как бы не замечая того, что ест. Но все они почти не отводят глаз от Иешу, от его лица, от его губ, готовые не пропустить любое произнесенное им слово. Все они, разумеется, любят Иешу, преданы ему, готовы на все ради него. Но каждый, наверное, по-своему. Они перебрасываются негромкими словами, замечаниями, называют имена. А я — как на охоте, не пропускаю ничего и все запоминаю сразу же.

Среди следующих за Галилеянином, ныне вкушающих совсем не богатую, скорее даже скудную пищу, есть настоящие братья: Симон и Андрей, сыновья Ионы из Вифсаиды. Из этого же селения родом и братья Иаков и Иоанн, сыновья Зеведея. Симон — немолодой, кражистый, с сильно уже облысевшей головой, с тяжелыми, перевитыми жилами, руками. Его называют то по-гречески: «Петросом», то по-арамейски: «Кифой», что обозначает одно: «Камень». Может, потому что Симон нетороплив и тугодум, но уже если что решил, то не отступит. Андрей гораздо младше, мягче, он то и дело проводит рукой по редким, слегка вьющимся волосам — от лба к затылку, смотрит по сторонам как бы с доверчивым удивлением. Иешу к этим обоим братьям относится с особым вниманием — по нескольким случайным

фразам можно предположить, что они знают друг друга давно, еще с берегов Иордана, где Иоанн-Провозвестник звал очищаться от скверны мира омовением в реке.

Сыновья Зеведея, как и сыновья Ионы, — в прошлом рыбаки, бросавшие сети в глубокие воды Тивериадского озера, которое ныне называют также Галилейским морем. Похоже, Зеведей имел несколько больших лодок, которые давал под залог и за долю в улове. Братья Иоанн и Иаков очень похожи друг на друга: курчавые и жестковолосые, как африканцы, но малорослые и хрупкие по сложению. Они весьма дружны между собой и почти не разлучаются. По характеру вспыльчивы, способны поднять крик из-за пустяка, но быстро отходчивы и зла не таят. Их с любовной шутливостью называют «сынами грома», вероятно, намекая на грозы в этих местах Израиля: частые, но крайне непродолжительные...

Из Вифсаиды же и Филипп — молодой, но хворый на вид из-за нездоровой желтизны кожи, очень коротко и неровно остриженных волос на шишковатой голове, слабого зрения, которое постоянно заставляет его щуриться, как при стрельбе из лука.

Симон Зилот здесь самый старший — он сутул и угрюм, а левую щеку его пересекает, уходя по шее к плечу, уродливый багровый шрам. Когда в общем разговоре кто-нибудь случайно упоминает первосвященников иерусалимских или римские власти, Симон вздрагивает и хмурится. Возможно, Симона Зилота что-то связывает с Цивеоном, сыном Зераховым, владельцем этой хижины — я дважды заметил, как они переглянулись, кивнули друг другу.

Рядом с Иешу находится еще бородатый Леввей, хмурый, с морщинистым темным лицом, с привычкой оглядываться через плечо, со щербатым и тонкогубым ртом. Он похож на беглого раба.

Бородат и Матфей — но борода его ухожена и подстрижена. У него надо лбом высокие залысины, привычка часто закрывать глаза, немного откидывать голову и шевелить губами, словно он вспоминает нечто и повторяет это шепотом. Особое отношение у него, кроме Иешу, к некому Варсаве — высокому ростом, очень худому и бледнокожему, похожему на писца; может, потому что Варсава не расстается с кожаным мешком-футляром, в каких писцы обычно держат медные чер-

нильницы, тростинки с раздвоенным и заточенным кончиком, покрытые воском таблички, стальное стило, свиток чистого папируса, скребок. Варсава молчалив, прежде чем сказать что-либо, долго думает. Его называют полатыни «Юстус», что означает «Справедливый».

Высок также ростом и очень костляв Фома, которого иногда называют по-гречески «Дидимос» — может, потому, что он любит вставлять в свою речь греческие слова, и даже однажды процитировал напевную строку из какого-то театрального действия, чем вызвал некоторое замешательство среди остальных. Удивленно шевельнул бровью Иешу, хотя и без осуждения. Конечно, на земле Израиля по воле священников и по ходатайству тетрархов перед римскими властями никаких зрелищ на подмостках не позволено — разве что перед заезжими торговцами покрутит животом и бедрами продажная танцовщица — тоже чужеземная, из Халдеи или Моава... Фома-Дидимос смотрит на мир как ребенок: как бы стремясь все потрогать, чтобы убедиться, что это действительно существует. Даже переломив лепешку, он рассматривает излом так, словно ожидает увидеть в хлебе нечто запеченное, вопреки всем правилам и обычаям.

У самого дальнего от Иешу края «стола», почти напротив меня, сосредоточился на еде и тщательно жует мужчина лет тридцати пяти, с суховатыми чертами лица, черноволосый, с шеей и плечами атлета, похожий на римлянина. У него и туника, как у римлянина, — из грубого желтоватого льна, с синей каемкой на коротких рукавах, с продетой в округлый ворот тесьмой. Сначала я подумал, что этот человек — вроде меня, может, несчастный муж вон той, с дорогим ожерельем и с царственными манерами — слишком уж он молчалив и как бы чужд всем остальным. А потом Рав-Толмай спросил его через стол:

— Здоров ли ты, брат Аристион?

— Я здоров, брат Рав-Толмай, — коротко отозвался мой сосед.

Не буду кривить душой — мне понравилась эта общая трапеза, хотя едой она могла порадовать лишь нищих погонщиков ослов, у иных хозяев рабов кормят обильнее и сытнее. Понравился мне дух трапезы — мирный, дружелюбный, возвышенный. И обращение «брат» здесь произносилось без лицемерия. И время летело

незаметно. Негромко звучали голоса, говорившего никто никогда не перебивал, каждый терпеливо дожидался того мига, когда он сможет заговорить—и он знал, что его услышат. И в одну из капель тишины я вдруг услышал стрекот ночных цикад, осознал, что давным-давно горит, почти не колеблясь, огонек светильника, от которого по земле двигаются большие тени, а сами люди кажутся изображениями, как на скалах в глубоких пещерах Кумрана у Мертвого моря.

Конечно, больше всего я размышлял не об этих людях, которые, разумеется, сильно отличались от обычных людей и жизнью своей, и мыслями, и словами, и поведением — я думал о Мариам и о себе. Но ведь и совсем не думать об этих людях я не мог — они не хотели мне зла, как не хотели зла никому в мире, и стремились приносить другим лишь доброе, но ведь так или иначе, а мне они принесли зло... И уловил я среди разговоров — в нем я, само собой, не участвовал — что Иешу-Галилеянин хотел бы идти в Иерушалам, чтобы говорить перед тамошними людьми, а его сподвижники и ученики считают, что спешить ни в коем случае нельзя, что время для Иерушалома еще не пришло. И эти доводы сильно огорчают Иешу, который с грустью смотрит на желтый огонек светильника, и в его зрачках светятся уже два желтых крохотных огонька, и Мариам из Магдалы с осуждением косится на «братьев» и нежно гладит запястье Иешу...

И еще я заметил, что вопреки введенному властями правилу и закону, согласно которому за всяким застольем произносится хвала цезарю-императору, здесь об этом правиле никто не вспомнил — это было неосторожно, ибо не ограждали братьев четыре стены и крыша, и, каким бы тихим ни был разговор, чужие уши — не всегда принадлежат друзьям или хотя бы равнодушным.

Котел я сказать об этом сидевшему ближе других Аристиону, но сообразил, что именно мои слова могут быть расценены, как некая угроза.

Сразу же после трапезы ко мне подошел Рав-Толмай.

— Братья благодарят тебя, Манассия, сын Рувимов, за то, что ты не погнушался нашей бедной трапезой, — сказал он смиренно, складывая сильные руки на груди.

Было понятно, что мне предлагается покинуть этот пустырь возле хижины Цивеона.

Я тоже смиренно поклонился, хотя все во мне было, как тетива лука. Тем более в поле моего зрения на миг попали очертания склоненной фигуры Мариам.

— Я рад, что дары женщины, близкой мне, дали вам возможность получить пропитание, — такие слова любой иной мужчина по праву счел бы жесточайшим оскорблением.

— Многие были бы рады помочь нам, — не дрогнув голосом, не изменившись в лице, произнес Рав-Толмай. — Но много призванных и мало избранных, как учит наш брат и сын человеческий Иешу.

— Скорблю, что избранность миновала меня...

— К нам приходят с открытым и чистым сердцем.

— А как же дары? — злость и чувство бессилия сделали меня находчивым.

— От тебя, Манассия, сын Рувимов, нам не нужно даров.

— То, что вам нужно, вы взяли сами, — тихо сказал я, хорошо понимая, что задуманной роли я не сыграл, сообразительности мне не хватило, и Мариам отдаляется от меня вернее всего навсегда — ведь эти бродяги могут нынче же ночью покинуть Сихар и уйти в любом направлении, куда они сочтут нужным им.

— Мы не берем, — медленно покачал головой Рав-Толмай, — мы лишь не отталкиваем руки дающего. В тебе говорит твоя обида, но за ней корысть, и потому нет правоты ни в словах, ни в делах твоих... Ступай с миром!

Хуже всего было то, что Рав-Толмай как бы заглянул на самое доньшко моей души и совести; как бы отделил то, чем я прикрывался сам для себя — самолюбием и ревностью мужчины, у которого соперник отнял женщину, — от страха, что я снова буду обречен скитаться по дорогам и тропам Израиля, не имею ни пристанища, ни привязанности. Конечно, Мариам оставила мне жилище и все, что находится в нем и при нем. Но ведь людям известно, что я — не муж Мариам и не родственник, а любой обман может обойтись мне очень дорого — и служители тетрарха, и сам тетрарх, и власти в Кесарии, и даже в Антиохии не упустят возможности взять в казну то, что вызывает сомнение во владельце... И вот мне оставалось только повернуться и уходить — тем более что ученики Иешу укладывались на ночлег тут же, под навесом.

И тут мое плечо обвила крепкая, но, по мгновенному ощущению, дружеская рука, и немножко насмешливо знакомый голос произнес:

— Труднее всего прощать обиды, которых не было... Брат Рав-Толмай, разве не ты сожалел перед братьями, что едва не поддался несправедному гневу?

Это был Иуда, сын Симона из города Кериофа. В убавленном блеске светильника, который и так позволял видеть только то, что рядом, резкие черты лица Иуды совсем размывались, и оно временами казалось черным, как у эфиопа из страны Офир или у демона пустыни Авадонна, и только белки глаз то и дело как бы вспыхивали, и прядка волос золотилась.

— Я и сейчас сожалею, брат Иуда, — отозвался слегка растерянно мой противник, который, конечно же, вряд ли мог считаться противником и соперником, просто он оказался первым, кого я мог принять за виновника своей беды. Был он виновен и в том, что я ударил его и что он не ответил мне — трудно сказать, к кому мы испытываем большую вражду: к тому ли, кто причинил нам ущерб; к тому ли, кто пострадал от нас? И Рав-Толмай, видите ли, сожалел, что едва не поддался несправедному гневу!.. Поистине, не были эти люди похожи на других людей. Кроме Иуды, сына Симона, который был приятнее других видом.

— А надо ли, чтобы сожалели и другие?

— Ты говоришь о себе, брат Иуда? — кротко поинтересовался, уже поворачиваясь, чтобы уйти, Рав-Толмай. Конечно, это был упрек в том, что Иуда говорит при постороннем человеке об их делах.

— Я говорю о нашем госте, Манассии, сыне Рувиномом, — прояснил Иуда, говоря это уже вслед Рав-Толмаю, — который завтра может стать нашим братом...

Мне показалось, что Рав-Толмай невесело засмеялся, не оглядываясь. Вполне возможно, это действительно только показалось. А вот Иуда — тот вправду засмеялся, громко и весело, как человек, у которого все в жизни в полном порядке.

— Всемогущий Господь создал людей разными, — шепнул он мне, как бы подмигивая, но этого я, конечно, не видел — лишь черное его лицо качалось надо мной, ведь он был выше меня ростом. — Есть ведь и такие, кто печалится со дня своего рождения... Не будем их ни в чем винить, а? У кишкомойни по ночам полно оди-

чавших псов — я провожу тебя, Манассия, сын Рувимов, да будет с тобой мир!

— И с тобой да будет мир, Иуда, сын Симона, — я шагнул вслед за Иудой в темноту, мысленно радуясь тому, что среди печали и потери Господь послал мне человека, который приятен мне и, может быть, станет другом.

9

Он действительно поступил, как друг, когда на следующий день прислал ко мне старого и одноглазого Цивеона, и тот сообщил, что некие люди, живущие по соседству со мной, обратались к писцам, чтобы составлена была на папирусе жалоба этнарху Сихара — о бродяге из Иудеи, незаконно живущем в доме самарянки Мариам, ныне покинувшей этот дом.

— Мой внук выскребывает и отглаживает для писцов старые папирусы, — объяснил Цивеон свое знание, тыльной стороной худой и жилистой руки, покрытой коричневыми пятнами, вытирая мутную воду, сочившуюся из-под века отсутствующего глаза. — Этнарх нынче мучается от болей в желудке, которые одолевают его после каждой обильной трапезы... Но к нему приезжает хороший халдейский врач, и, как обычно, через три-четыре дня он станет принимать жалобы и доносы...

— Те, кого учит Иешу-Галилеянин, способны ли обрадовать кого-либо? — спросил я, уже предчувствуя все то, что ожидало меня.

Цивеон потер свою сухую руку, усмехнулся снисходительно.

— Разве ученики Иешу собираются донести этнарху? Если знаешь, где будет землетрясение, то зачем идти туда? Иуда, сын Симона, просил пересказать тебе два поучения равви Иешу...

— Что мне до тех поучений!

— Разумно ли отвергать дружеский дар?

— Ты прав, Цивеон, сын Зерахов. Я слушаю.

— Равви Иешу учит: «Тот, кто не откажется от всего, что он имеет, не может быть моим учеником» и «Что вы получили даром, то и отдавайте даром»... Имеющий уши, да слышит. Имеющий ум, да размышляет.

— Мир тебе, — сказал я с благодарностью.

— И тебе мир, — отозвался Цивеон, и заковылял прочь, опираясь на кривую палку.

Я понимал теперь, что получил и совет, и намек. И я мысленно проклял себя вчерашнего, погрязшего в ложной надежде, что в мире что-либо может остаться неизменным.

Признаюсь, было у меня желание отыскать перекупщика Амалика ибн-Амалика и за первую же предложенную им толику тетрадрахм или римских ауреллиев отдать ему это жилье. А затем вручить эти деньги кому-либо из учеников Иешу, чтобы пошли они на пропитание «братьям» или для раздачи беднякам. И тогда никто из них не сможет поступить со мной, как Рав-Толмай после вчерашней трапезы. И я буду находиться рядом с Мариам... Но хочет ли она этого?

И чего хочу я? Возвращения Мариам или мести за нее?

И чего стоит мой отказ от жилья и имущества, если и то, и другое принадлежит не мне?

И не разумнее ли отправиться по своим прежним трудовым дорогам и тропам, а спустя какое-то время прийти сюда — в дом Мариам, которая, вероятнее всего, тоже возвратится?..

Но возвратится ли? Разве о возврате к чему-либо прошлому хоть единое слово Иешу, из тех, которые мне довелось услышать?

И вдруг я сильнее, нежели что иное, осознал: на любом ином пути я отныне стану тосковать по той жизни, которой едва коснулся, — по кроткому и нечеловечески прекрасному лицу Нешу и его проникновенному голосу; по простоте и высокой духовности отношений между «братьями» и «сестрами» равви Галилеянина; по истинно братскому теплу их трапез. И еще по какому-то скрытому, неясному, но бесспорному ожиданию пусть не скорого, но так или иначе грядущего светлого Времени, Радости и Счастья. Может, оно и не так будет называться, даже наверняка не так, но ведь важно совсем не название!.. И все остальное, что вне этого ожидания, — пресно, как дождевая вода; скудно, как дорожный прах, носимый ветром.

Еще не знаю, почему именно люди собираются толпами, когда начинает говорить этот Иешу, но что это так — теперь верю, ибо видел своими глазами. И если чего-то не понял еще, то обязательно пойму. И потому

совет и намек Иуды, сына Симона из Кериофа, — поистине драгоценны.

Я наклонился над широким каменным сосудом, в котором обычно находилась вода для питья, наклонился над ним. На меня смотрело широкое, густо заросшее волосами лицо мужчины лет 30—35, с вытаращенными глазами, с низковатым лбом, собравшимся складками. Я подмигнул сам себе, потом опустил лицо в прохладную влагу, сделал несколько жадных глотков, выпрямился. Струйки стекали на шею, грудь, плечи. Что это было? Очищение от прошлого?

Подкатив к двери несколько камней, я прижал ими дверь — впрочем, она закрывалась плотно. Если кто-то поселится здесь — что ж, пусть его жизнь под этой крышей будет мирной!

Стоял самый знойный час, улочки были слепы и пусты, -и не было никого — ни доброжелателей, ни врагов — кто мог бы засвидетельствовать мой уход. И, наконец, так было лучше всего.

10

Прекрасна, как молодость, земля Галилейская — если идти по тропам, оставляя на полдень гору Гелвуй и источники Харад, по зеленой долине Эздрелона, на заход, на покатошь горы Кармил, чтобы выйти к зеленому и синему морю у Хайфы... Но еще радостнее встреча с Галилеей, когда оставляешь Дамасскую, через Птолемаиду и Тир, дорогу, и берешь круче на полночь — чтобы, перевалив каменистые, выжженные зноем и поросшие редкой полынью и низким кедровником горы, спуститься в Эздрелонскую долину, пересечь ее и выйти к садам и виноградникам, рощам смоковниц и олив Сарида, Даврафа, Назарета, Дафкофера... Здесь холмистые гряды, как зеленые волны, застывшие навеки в своей весенней прелести. Здесь голубое небо и белые, как стада тонкорунных овец, россыпи домов селений, и древние, вросшие в землю камни с таинственными полустершимися письменами напоминают о событиях, запечатленных в Книгах Судей и Царств... А если выйти к Малону или Магдале, то за зелеными грядами холмов призывно блеснет зеркало Тивериадского озера.

В тенистой от пальмовых рощ, важной от белых колоннад храмов и черных одежд фарисеев, охраняющих

Закон Моисея, Тивериаде — резиденция тетрарха, наезжающего сюда в самые жаркие месяцы годы. Как и многое в Галилее и в Иудее, дворцы и храмы в Тивериаде построены еще Иродом Великим, кое-что сделано и по приказу Филиппа, а затем Ирода Антипартра, или Антипы — как называют его иудеи, отвергающие и все эллинское, как языческое. Тем, кто не ищет милости у властей; кто не торгует, стремясь обогатиться; кто не собирает подати для цезаря; кто не служит в легионах или во вспомогательных войсках, не является курьером куратора провинции или прокуратора, — нечего делать в Тивериаде. Комедиантам, наемным работникам, мошенникам, бродягам и проповедникам лучше всего идти стороной и дальше — к Капернауму, Вифсаиде, к тихому Генисаретскому озеру, где люди трудолюбивы, не жадны, доверчивы.

И вот уже второй месяц вместе с братьями-учениками Иешу-Галилеянина, в толпе тех, кто хочет снова и снова слушать поучения равви, которого иные называют «Христом-Мессией», я шагаю по тропам и дорогам этой чудесной страны, благословляя мысленно ее небо и ее дары. Мы двигаемся очень неторопливо — иногда делая в течение дня меньше половины караванного перехода, иногда день-два проводим в особенно живописной долине, возле источника. Большинство любопытных — это преимущественно бедные люди, калеки, беглые рабы из Иудеи и с побережья моря — идут с нами от одного селения до другого, здесь их сменяют другие. Но кое-кто проходит более длительный путь, а иные и остаются, постепенно увеличивая число постоянных почитателей Иешу. Они с течением времени становятся как бы равными с давними учениками Галилеянина, им поручаются различные дела, когда все располагается на очередной стоянке, но братьями их не называют. Таков и я, ставший погонщиком ослика, подаренного Иешу неким книжником в Яфии, который пригласил братьев на трапезу, затеял спор и был побежден Галилеянином — цокая точеными копытцами по камням, ослик добросовестно везет небогатую поклажу — он не родня тому упрямому ослу перекупщика Амалика ибн-Амалика, которого я не могу вспомнить без улыбки.

В сущности, настоящего спора между книжником и Иешу не было — думаю, что Галилеянин так и не догадался, что книжник был намерен устроить нечто вроде

испытания для бродячего проповедника. Просто книжник говорил одно — свое, вычитанное из пророков Закона, а Иешу, как бы не слыша этого, отвечал свое, но так получалось, что слова эти становились ответом вопрошавшему.

— Люди говорят, что ты — Учитель, пришедший от Бога...

— Истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божьего.

— Как человеку родиться, если он стар?

— Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух.

— Как может быть такое?

— Ты книжник, и людей учишь Закону, а этого не знаешь? Если я сказал вам о земном, а вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном?

И книжник — а имя ему, как сейчас помню, было Никодим, — задумался, опустив голову, и долго так сидел. А потом встал и поклонился Иешу.

И ученики Галилеянина очень радовались в тот вечер и громко говорили, что мудрость Иешу, это мудрость сына Давидова из царского рода, мудрость сына самого Господа Бога, которого он послал на землю, чтобы спасти людей через обновление Закона, через очищение его от фарисейского и саддукейского лицемерия.

Я видел, что Иешу смущен этими высказываниями, в которых столько восхвалений, — особенно всегда старался Иуда, сын Симона из Кериофа, — но в то же время они воодушевляли его, добавляли уверенности.

Я как раз принес несколько наиболее гладких камней к очагу — их бросают в огонь, чтобы раскалились, а затем камни опускаются в котел с водой, где уже лежат чисто вымытые и очищенные овощи, похлебка приготавливается очень быстро и все полезное в земных плодах сохраняется, и вкус у них становится гораздо лучше, нежели когда они долго варятся в кипящей воде. Мое дело было — принести камни, дальше занимались женщины, среди которых была и Мариам. И вот тут я услышал, как Иешу, проходя мимо рядом с Матфеем, спросил его укоризненно:

— Разве я халдейский маг, чтобы совершать непознаваемое? Или ты видел, что я исцелил прокаженного?

Матфей остановился, прижал руки к потной и гряз-

ной груди, видневшейся в распахе хитона, и лицо его приняло страдальческое выражение.

— Учитель! А разве ты не смог бы сделать это? Ты учишь, что вера сдвигает и горы!

— Но для этого и горы должны верить, — улыбнулся Иешу смущенно.

— Так я для этого, учитель, и говорю людям! Сегодня не верят, завтра не верят, но ведь будут и другие дни!..

— А отдавать твои долги придется мне? — тихо спросил Иешу и кивнул, как бы жалея Матфея и в то же время отпуская его. — Иди с миром...

Матфей, как я теперь уже точно знаю, был надзирающим за сбором податей — человеком, занятым презренным, но обогащающим делом, ибо как римскому фискалу, так и его помощнику, и помощникам этого помощника выплачивалась определенная доля от выжатых из людей денег. Вероятно, Матфей не был ни ленивым, ни особо жалостливым — у него был дом в Вифании, имущество, семья, в праздники великого Пейсаха и Кущей Матфей надевал богатые одежды, и стол его ломился от угощений... Однажды он услышал проповедь Иешу, задумался и вдруг с необыкновенной ясностью осознал, что и вправду все в жизни земной — тщета. Ибо слова Галилеянина заставили его вспомнить очень многое из того, что вспоминать порой опасно. Иешу был прав: «Что толку, если ты обретишь весь мир, а душе своей повредишь?»

Он оставил семье дом и все, что было необходимо, чтобы не бедствовать, — все остальное отдал Иешу и его ученикам. Это давало им отныне возможность не просить милостыню, ибо Учитель, который обращается за помощью к тем, кого учит, это одно, и Учитель, который независим, — совсем другое. Второму верят гораздо больше.

Именно Матфей и его неожиданный дар заложили основы общины, которой теперь принадлежали — пусть малые — но средства. Теперь их можно было — и нужно было — пополнять, поскольку община росла, удлинялись дороги, появилась возможность по пути помогать тем, кто бедствовал. И такая помощь тоже расценивалась людьми, как чудо.

Щедрый дар принесла ученикам Галилеянина та самая невзрачная женщина с царственными повадками

и золотым ожерельем, которую я увидел во время первой своей трапезы с братьями в Сихаре. Анна была в прошлом женой одного из дворцовых управителей самого Ирода Антипатра — сначала в Махэроне, а потом в Тивериаде. Она была в числе наперстниц Иродиады, когда колесница той завязла на берегу Иордана, где Иоханаан-Провозвестник учил, что близок приход Мессии и спасутся лишь те, кто очистится от греховной скверны. Она слышала проклятья пророка, обращенные к ее госпоже, и видела, как та корчилась в бессилии злобы под градом обвинений, и неопровержимыми были те обвинения. И немного прошло времени с тех пор до момента, когда почти нагая дочь Иродиады — Саломея прошлась перед тетрархом в сладострастном танце, и в награду за него попросила голову Иоханаана. И голова эта спустя немного лежала на золотом блюде, среди яств, и кровь под ней запекалась, густела толстой лепешкой. Когда Анна узнала, что в Галилее стал проповедовать один из учеников Провозвестника, она отправилась в Назарет.

Иуда, посмеиваясь, поведал мне, что муж Анны — из вельможной фамилии Суза, среди предков которого были и цари, и военачальники, старый, но еще сильный, узнав о бегстве жены, проклял небо и землю и посулил небывалую месть похитителям. Но что он мог сделать — тем более что власть Антипатра не распространялась на Галилею. Кроме того, тетрарх боялся возмездия за смерть Провозвестника, и римский проконсул Вителлий был недоволен тетрархом, и шли слухи, что и цезарь-император на далекой Капрее собирается вернуть в Израиль изгнанного прежде брата Ирода — Филиппа.

Иуда скользнул взглядом по склоненной фигуре Мариам, помогавшей Анне отскабливать сажу и нагар с днища котла для варки пищи, и многозначительно посмотрел на меня. Было понятно, что хотя моя история и похожа на случившееся с царедворцем Сузой, в то же время она не может идти с ней ни в какое сравнение. Ведь, кроме всего прочего, Суза остался там, где и был, не в силах расстаться с привычным, а вот я — здесь.

Правда, ничего из того, на что я надеялся поначалу, я не получил — было даже так, словно Мариам тяготило мое присутствие. Она оставалась далекой от меня так же, как и в то утро, когда покидала свое жилище.

Может, она просто не верила в чистосердечие и полную открытость моих поступков?

Похоже, что и другие не верили.

— О, Иуда, — поинтересовался я, ибо этот человек нравился мне все больше и больше, — откуда тебе известно обо всем этом? Женщина ли рассказывала или ты был при дворе тетрарха?

Как я и ожидал, мой вопрос развеселил Иуду. Он похлопал меня по плечу, шутливо дернул за бороду, подмигнул.

— Разве я похож на дворцового лизоблюда, о Манассия?

— Не похож, — мотнул я головой. — Ты похож... Ты похож на разбойника, вот на кого, о Иуда.

Это вызвало у Кериофянина прямо-таки приступ смеха, даже кое-кто из находившихся поблизости учеников Иешу оглянулся удивленно: не бывало обычно развязности в жизни этой общины, привычной была постоянная серьезность — может быть, вызванная сознанием того, что слишком высока и значительна их обязанность, и слишком велик тот, у кого они учатся и кому служат... Значительно позже, вспоминая мысли эти, я понял, что, по существу, с самого начала был лишен благодати, заражен сомнениями, так и не пытаюсь избавиться от них. И это, разумеется, прекрасно ощущалось окружающими. Но ведь Иуда — он и тогда не походил на человека, ищущего святой и безгрешной жизни.

— На разбойника, говоришь? — отсмеявшись, несколько помрачнел Иуда. — Это плохо...

— Я не хотел обидеть тебя.

— У меня нет обиды на тебя, Манассия, сын Рувинов. Создатель дал мне живой характер и вот это лицо, и уметь устраивать жизнь... Разве я виноват в этом?

— Это совсем не вина, о Иуда. Если бы такого, как ты, не было среди учеников Галилеянина, они жалели бы об этом.

Иуда оглянулся, посмотрел по сторонам, потом облизнул яркие и сочные губы, приблизил свое лицо ко мне, понизил голос:

— Ты умный человек, о Манассия! Как ты думаешь, есть ли такая дорога, которая никогда не кончается?

— Гм... И жизнь, если началась, когда-нибудь кончится. Ведь так?

— Верно! А пошел бы ты по дороге, если бы знал, что ей не будет конца?

— Ты о том, Иуда, что я иду с вами?

— Это хорошо, что ты догадался, Манассия. Ты действительно умен. Но ведь ты сможешь вернуться в Сихар вместе с твоей женщиной только тогда, когда первосвященники Иершалаомские склонятся перед мудростью и правотой Сына Человеческого...

— Но будет ли так? — усомнился я.

Иуда стукнул кулаком по раскрытой ладони второй руки.

— Но разве не ради этого мы все идем с Учителем? Его слава становится все шире и громче, его учение — все известнее. Израиль давно уже ожидает прихода Мессии! Надо идти в Иерушалом!

— Я слышал, что Учитель уже бывал в Иерушалома...

— Бывал не раз, но не пришли еще сроки тогда. Всякий плод должен созреть — Иерушалом созрел.

— Но что могу сделать я — один из тех, кто лишь издалека слушает слова Учителя?

— Чтобы наполнить сосуд, важна каждая капля... Может, ты скажешь это своей женщине...

— Разве она моя? — усмехнулся я с горечью, и сын Симонов взглянул на меня с сочувствием.

— Она вернется к тебе, о Манассия. Верь в это. Так вот: ты скажешь ей, она скажет Иохаанне, а та — Мариам из Магдалы... Учитель нежен душой своей и всегда готов преклонить ухо к тем, кто предан ему... Зачем тратить силы свои там, где люди спрашивают друг друга: «Не сын ли плотника Иосифа из Назарета этот человек? Не его ли братья Иаков и Иуда? Не его ли сестры Мария и Марфа? Почему говорят, что он сын Давидов?..» И Иерушалом устал от книжников, желающих быть суровее самого пророка Моисея, выведшего Израиль из Египта... Иерушалом ненавидит начетчиков... Иерушалом созрел для явления Мессии! Так ты уронишь свою каплю в сосуд, Манассия, сын Рувимов?

— Я сделаю это, о Иуда.

Он был прав, и многие уже, я думаю, в то время считали так же, как и Кериофянин. Ибо проповеди Иешу обретали все большую силу, и уже не были просто задушевными разговорами с простыми людьми о их насущных заботах; и не о том говорил Учитель, что За-

поведи Моисеевы следует соблюдать с еще большей строгостью, и не нужны посредники между Господом Богом, не называемым по имени и всеобъемлющим в своем могуществе, — все это уже разумелось само собой. Говорил Галилеянин о грядущем Царствии Божьем, в которое войдут лишь чистые сердцем, как дети, и те, кто беден и кроток... «Когда ты устраиваешь пир, не зови друзей своих, ни богатых соседей, ибо и они тебя позовут, и ты получишь свою награду. Но когда делаешь пир, зови нищих, увечных, хромых, слепых; и блажен будешь, что они не могут тебе воздать; ибо воздается тебе в воскресении праведных!»

И с каждым разом все большего отречения От обычной жизни стал требовать Иешу от тех, кто шел к нему и вслед за ним, — и огромные толпы собирались там, где кто-либо из «братьев» объявлял о предстоящей проповеди Галилеянина. Он говорил: «Истинно говорю вам: кто оставит свой дом, жену, братьев, родителей, детей ради царствия Божия, тот получит во сто крат больше в этой жизни и жизнь вечную в будущей!»

«Кто приходит ко - мне, — говорил Иешу, — и не возненавидит своего отца, своей матери, своей жены, своих детей, братьев, сестер и даже собственной жизни, не может быть моим учеником!» «Если рука твоя или нога соблазняют тебя, отсеки их и брось от себя, потому что лучше тебе войти в жизнь вечную безруким или хромым, нежели с двумя руками и двумя ногами быть брошенным в геенну...» «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные и я успокою вас! Возьмите иго мое на свои плечи и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое — благо и бремя мое легко!»

И бессильными сознавали себя те, кто с испугом озирался на вчерашний день и на свое имущество, которым дорожил, которое старался преумножить, как это и свойственно обыкновенному человеку.

Находились опасливые, кто спрашивал: «Не ко временам ли Иегуды Голонита зовет нас этот Учитель? Не для того ли зовет он отречься от всего кровного, чтобы потом не жалеть о собственной жизни? Но ведь римляне не так уж и вмешиваются в жизнь народов Израиля, а на тетрарха можно подать и жалобу легату провинции...» Но ученики Иешу разубеждали опасливых, повествуя о кротости и смиренности Галилеянина.

Немало было и тех, кто возненавидел Иешу и искал в словах его подстрекательств к возмущению против власти. Почему-то, словно сговорившись, эти люди задавали Галилеянину почти один и тот же вопрос, издали показывая монету с изображением цезаря:

— Если ты зовешь нас в царствие Божие, равви, то кому же следует платить подати? Может быть, одному Богу? То есть Храму?

И Галилеянин отвечал, словно каждый раз только и ждал этого коварного вопроса:

— Цезарю отдайте цезарево, а Богу — Богово.

И придумавшие это коварство отступали, замолкали. Хотя ответ был скорее остроумный, нежели по существу: у монеты две стороны, но достоинство — одно.

По совету Иуды, сына Симона, я нашел подходящее время и говорил с Мариам, и она, немного удивившись и подумав, согласилась со мной.

— То, что ты поведал мне, Манассия, я уже слышала от других... Скажи, почему ты до сих пор не среди братьев?

— А разве это возвратило бы тебя? — спросил я.

— Но тогда у тебя была бы вечная жизнь! — воскликнула она, глядя на меня с жалостью как на несчастного, страдающего от собственного недомыслия.

— Что ж... — развел я руками.

И тут мне вспомнилось, что Иуда-Кериофиянин так ничего и не ответил на мой вопрос: откуда он знает все, что относилось к жизни бывшей жены царедворца Сузы.

11

Не знаю, случайно так получилось, или кто-то из учеников Иешу, обладавший определенной расчетливостью характера, сумел уговорить Учителя, но зиму вся община провела в Галилее, неподалеку от Вифсаиды и Капернаума. Здесь долины были защищены от холодных ветров из пустынь, и в то же время их достигало теплое дыхание полуденных низин вблизи морского побережья. Но все-таки временами налетала поземка, низкие тучи осыпались тяжелым градом, и тогда в шатрах — частью принесенных теми, кто приходил послушать Галилеянина, частью купленных или обмененных у кочевников из Аравии и проезжих купцов из Кирены — черно-белых войлочных шатрах — дымился в

очагах сушеный овечий помет, дававший много копоти, но и много устойчивого жара.

В эту пору разговоры об Иерушаломе начинались то и дело, но велись как-то не слишком уверенно. Я видел, как во взгляде Учителя — задумчивом, часто печальном, устремленном в некую даль, вряд ли постижимую теми, кто был рядом, вспыхивала как бы мечта, глаза загорались, черты лица обретали четкость и твердость. И тогда он говорил так, словно читал невидимую другим книгу; словно перед ним раскрывалось нечто, что нужно было только пересказать слушателям... Может, так было потому, что в течение зимы мало приходило интересующихся учением Галилеянина. Да и вообще зима — время ожидания перемен, новой жизни, весны, возрождения.

Община не бедствовала — добродушные и доверчивые жители окрестных селений приносили дары: простую снедь из запасов, сделанных осенью, просили принять, благодарили, уходя. Сам Учитель вместе с Симоном-Петросом и Андреем, или с сыновьями Зеведеевыми — в прошлом рыбаками — уходили, поплотнее закутавшись в хламиды, к Генисаретскому или Тивериадскому озерам, несли в тамошние селения слово проповеди. И всегда возвращались с корзинами рыбы, которую Иуда, сын Симонов, умел прекрасно запекать в углях и горячей золе.

Незадолго до конца этой, показавшейся слишком затянувшейся зимы среди учеников Галилеянина появились еще двое — я их никогда не видел, а всем остальным они были хорошо знакомы — Марк и Лукас. Оба немолодые, заросшие бородами буроватого оттенка, с легкой проседью, но с такой выдубленной непогодами кожей на лбу, щеках, на руках; с такими набрякшими жилами на икрах, которые обнажались при ходьбе, когда развевались обтрепанные подошвы хламид, что сразу думалось: эти люди повидали многое... Позже из услышанных обрывков разговоров, из слов Марка и Лукаса, они странствовали по окраинам Израиля в тех местах, где не лежали пути самого Иешу, проповедовали его учение, рассказывали о чудесах, сотворенных им, узнавали, слышали ли люди там о Галилеянине прежде?

На склоне одного из тихих дней вся небольшая — кроме посторонних — община собралась, чтобы обсудить дальнейшую жизнь, что делать дальше: на пороге была

весна, а кроме того, как бы здешние жители ни относились к проповедям Иешу, долгое пребывание на одном месте людей, не занимавшихся привычным для всех окружающих трудом, вызывало удивление и недовольство. Я вместе с женщинами занимался приготовлением предстоящей общей трапезы, многое слышал, ибо все говорили достаточно громко, и мысленно соглашался с высказываниями. Ибо говорилось то, что прекрасно известно любому скитальцу, кем бы он ни был: проповедником, наемным работником, комедиантом, просто бродягой и нищим... Ведь и кочевник оседлому представляется разбойником, а крики перелетных птиц тревожат домашних кур и цесарок.

И еще говорилось, что теперь пришло время снова идти в Иерушалом. Я сразу узнал напористый голос Иуды, сына Симона, как бы увидел его лицо с резкими чертами, с огненными глазами — мне показалось, что Мариам, как раз проходившая рядом, вздрогнула. Во всяком случае, вода выплеснулась из амфоры, которую Мариам несла.

Иуде возразил голос Рав-Толмая или Матфея — у них были похожие голоса — мол, возможно, жители Иерушаломы и вправду «созрели» для того, чтобы восславить Учителя, но ведь еще с минувшей осени многое изменилось в его речах, обращенных к людям. Марк и Лукас принесли хорошие вести, но они не знают о том, какие изменения произошли...

Не знаю точно, кто говорил это — Рав-Толмай или Матфей, но они, конечно, были правы.

Сказалась ли минувшая зима с ее погодными перепадами, бездомная ли жизнь была виновата или пошатнувшееся здоровье Иешу, но он все чаще выглядел погруженным в глубочайшее раздумье, в глазах плавала тоска. И говорил он теперь гораздо реже, нежели прежде, и в речах все меньше было кротости и смирения. И слушатели трепетали, когда говорилось:

— Вы, может быть, думаете, что я пришел принести мир на землю; не мир пришел я принести, а меч. Пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух и двое против трех. Я пришел внести разделение между сыном и отцом, между матерью и дочерью, между невесткой и свекровью. Отныне враги каждого человека — домашние его... Огонь пришел я низвести на землю и как желал бы я, чтобы он уже возгорелся!

И еще говорил Иешу:

— Будут изгонять вас из синагог, и придет время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу. Если мир будет вас ненавидеть, знайте, что меня он прежде вас возненавидел. Помните то, что я говорю вам: раб не больше господина своего. Если меня гнали, то будут гнать и вас...

И низкий голос Симона-Петроса произнес, как я услышал:

— Скажи им, равви, чтобы не было сомнений в учениках и братьях твоих!

Была некоторое время тишина, которую я мог объяснить только вниманием, с которым ученики смотрели на Галилеянина; его задумчивостью и намерением ответить как можно понятнее. И затем я услышал его голос, который, казалось, проникал в самые потаенные уголки души:

— Один сын человеческий не выше другого, и, чтобы меньшего добиться от него, нужно большее спрашивать. И купец вначале не называет истинную цену...

При этих словах Мариам из Магдалы — для нее не существовало в мире иных мужчин, кроме Галилеянина, да, возможно, и вообще людей, ибо только Иешу и хранила она в сердце своем, и в сознаний — услышав эти его слова, вскинула руки к небу, а затем закрыла ладонями лицо, склонилась к земле, шепча что-то...

Тут же я услышал гул спора — негромкого, но упорного. И подумал невольно, что, если бы мне было позволено участвовать в этом споре, я принял бы сторону Рав-Толмая и Матфея, укорявших Учителя в излишней суровости его требований. И купец прав в своем запросе, и покупающий прав в своем стремлении снизить цену и взять товар подешевле — а если бы было запрещено торговаться? Закон Моисея жесток, но он всегда служил сплочению иудеев, торжеству Израиля — а так ли нужна суровость в грядущем разделении? И если водами Иордана происходит очищение, то кровью ли следует очищаться в будущем?

Но гул спора перекрыл голос Иуды, сына Симона из Кериофа:

— Истинны слова твои, Учитель! И горе тем, для кого они не откровение! Ибо не тобой ли сказано было в земле Самарийской: «Я послал вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли в труд

их»? Вот и пришло это время жатвы! И жатве этой быть в Иерушаламе!

И тут я увидел, что Мариам—бывшая женой мне в Самарийском Сихаре — вся подалась вперед, вслушиваясь в громкий голос Иуды, и лицо ее озарилось радостью, и губы полоткрылись и заблестели от влаги.

12

Небольшой караван общины снова неторопливо двигался по холмистой, вновь щедро зазеленевшей земле Галилеи, по склонам, густо поросшим голубыми анемонами, — на полдень, строго на полдень, чтобы пройти по присыпанному последним снежком тропам на горных перевалах — в Самарию, пересечь ее и войти в Иудею. Судя по разговорам, было рассчитано так, чтобы прийти в Иерушалам в середине месяца нисана, к началу великого праздника Пейсах.

Однажды, размышляя о том, каким путем мы пойдём по Самарии и минуем ли Сихар, я поймал себя на том, что меня совсем не волнует: увижу ли я тот дом, в котором вместе с Мариам, в сущности, впервые вкусил спокойной и надежной семейной жизни... Я поискал взглядом Мариам — вместе с другими женщинами она несла поклажу — низко согнувшись, почти касаясь каменистой земли, опущенной для равновесия рукой. И почти ничто не шевельнулось в моей душе — может быть, только легкая жалость.

Я сильно изменился за минувшие месяцы и хорошо это понимал. Если в годы моих скитаний наемным работником я надеялся на счастливый случай, ждал его, и завтрашний день вставал передо мной как бы голубым и розовым, а жизнь с Мариам в Сихаре воспринималась, как награда за верность этому ожиданию, то все, что окружало меня сейчас, что составляло мое бытие, воспринималось, как некий сон, из которого уже и не пытаешься вырваться... Жизнь, лишенная каких-либо удобств, хороша уже тем, что хуже может быть только в темнице. Но ведь и там есть надежда, что еще увидишь свободу.

Иногда я чувствовал себя стариком, по утрам — особенно после сырых и холодных ночей, которые делали войлок шатров тяжелым и мокрым, я с трудом, постанывая от боли в костях, мог разогнуться. Ко мне при-

выкли, как привыкают к давнему и безотказному слуге, которого порой и не замечают, в то же время если бы вдруг заговорил, как любой из учеников Иешу, все удивились бы — ибо все хорошо в свое время.

Наверное, я мог бы во время одного из переходов отстать, присев у дорожной обочины, а затем свернуть на боковую тропу, а то и вернуться назад. Может, кто-то недоуменно развел бы руками, кто-то выказал бы раздражение — лишние рабочие руки всегда нужны в дороге, да и на привале. А в общем-то, я думаю, большинство ощутили бы облегчение — тот, кто по обстоятельствам совместной жизни знает подноготную каждого, не должен оставаться посторонним. Он должен либо стать равным всем остальным, либо исчезнуть... Да, каждый из учеников Галилеянина был для меня раз-вернутым свитком с прочитанными словами — я знал прошлое каждого, лучшие и худшие стороны натуры, привычки и склонности всех. Нет, я никого и никогда не осуждал, ибо всегда помнил слова Иешу: «Не судите, и не судимы будете...»

Лишь существование самого Галилеянина и удерживало меня в общине: я очень хорошо осознавал, что как прежде мне не встречались такие, как Иешу, люди, так ни мне, ни иным, не дано будет встретить их когда-либо. И не в том дело, что говорят о нем в городах и селениях Израиля, какие чудеса приписывают ему братья-ученики; даже не в том, что говорит он сам — дело в самом его существе: безгрешном, устремленном к свету, прекрасном и неповторимом в любом движении, в любом порыве. Пусть он и не сын Давидов, как выкрикивают иногда в толпе внимающих его речам, пусть он не Христос-Мессия, а всего лишь сын плотника Иосифа и в прошлом ученик проповедника Иоханаана, запомнивший очень многие из его поучений, но часто ли встречаются нам те, кто готов отречься от себя во имя других? Самим своим существованием Иешу как бы говорит постоянно, что именно такими и должны стать люди будущего, и страшно становится от того, что люди никогда такими не станут, не смогут стать.

В Назарет, где прошли детство и отрочество Иешу, где он впервые попробовал свои силы в проповеди и где слушатели посмеялись над ним, мы не вошли, раскинули шатры в окрестностях — тем более день был солнечным, очень теплым, и в долине, как бы опоясавшей

серый каменный город, все было покрыто нежной зеленью. Задымился очаг, ученики Галилеянина с оживлением вспоминали все, что у них было связано с Назаретом, а Иешу был грустен, почти печален, сидел на мшистом камне, чертя прутиком на земле какие-то фигуры.

А потом Иешу оторвался от своего занятия — потому что послышались радостные восклицания, взметнулись широкие рукава хламид, ученики Галилеянина столпились было, а затем расступились, давая дорогу трем женщинам и двоим мужчинам. Иешу с улыбкой, как у ребенка, который получил неожиданный подарок, отложил прутик, встал, медленно раскрывая объятия, шагнул навстречу идущим.

Так я впервые увидел мать Иешу — Мариам, его братьев и сестер. Не было в каждом из них ничего особенного, и странным представлялось, насколько Иешу отличается всем своим обликом от единоутробных братьев и сестер — черты лица Иакова были мелкими, ничем не обращавшими на себя внимание, он производил впечатление человека раздражительного, недовольно морщился, поглядывая по сторонам; Иуда казался проще, спокойнее, грубее лицом и поведкой, слегка горбился, шагал вразвалку, как человек, знакомый с тяжелым трудом. Старшая сестра — Мария, двигалась, опустив глаза, поджав губы; младшая — Марфа смущалась под устремленными на нее взглядами, была миловидна, как юная пастушка, которой судьба подарила всего две-три весны; чтобы скрыть смущение, Марфа хмурилась и лишь при взгляде на брата вся словно расцветала, словно начинала светиться. К ней подошла и полюбляла ее Мариам из Магдалы.

Иешу обнял мать, прижал ее голову, окутанную серой тканью, к своей груди. Женщина не выглядела старой — она находилась на том жизненном пороге, когда судьба иным своим любимицам как бы напоследок дарит несколько лет возврата к молодости: и пряди могут быть седыми, и морщинки разбегаются от уголков глаз, и нет яркости губ, но походка плавна, и плечи еще налиты силой, и нечто почти девическое может увидаться в повороте тела, в изгибе талии... Но таилась в глазах вдовы плотника Иосифа глубоко спрятанная тревога, и пальцы гладили руку сына так, словно мать прощалась с ним...

— Иаков осуждал Учителя, он не был с братом в начале его пути, — прозвучал рядом со мной тихий голос, произнесший эти слова как во сне,

Я повернул голову, увидел Мариам. И ощутил нечто вроде досады, ибо после того, как я видел ласку матери Учителя, печаль и глубокую задумчивость в его глазах, мне меньше всего хотелось вспоминать о женщине, которая лишила меня радости — пусть даже эта радость настолько преходяща, что гораздо короче, нежели и жизнь сама. А может, выплыло из глубины сознания неясное, но всегда болезненное видение собственной матери — все забывается, а то чувство тепла и защищенности, которое испытываешь у материнской груди, со все большей тоской сохраняется, наверное, до смерти...

— Ты сказала: «осуждал»? — переспросил я скорее для того лишь, чтобы не промолчать. Тем более что Мариам как бы и не для меня говорила это — смотрела на братьев Иешу, стоявших поодаль.

— Я сказала, — откликнулась она, как эхо.

— Откуда ты знаешь это?

— Так мне сказали Мариам-Магдалина и сын Симона — Иуда... Учитель для него чужой, а Учитель ни для кого не может быть чужим.

— Но ведь Иаков пришел сюда сам, значит, он теперь на чужой, — я сказал это потому, что в словах моей бывшей подруги таилась какая-то загадка.

— Нет, просто он понимает, что Учитель скоро уйдет к Отцу, и хочет остаться вместо него... Учитель знает это. Он все знает. Тогда у колодца Иакова Учитель сказал мне: «Кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Я сказала тогда: «Господин! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходиться сюда черпать». И он сказал мне: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». А я ответила: «У меня нет мужа». И он, посмотрев на меня, словно в душу мою, сказал: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо было у тебя пять мужей, и тот, которого нынче имеешь, не муж тебе; это справедливо ты сказала...» И тогда я поняла, что он — великий пророк, и я должна быть рядом с ним, и служить ему...

— Значит, вот как это было, — вздохнул я. — Ты могла бы мне все рассказать...

— Разве ты отпустил бы меня?

— Что ж, ты права... Но почему ты сказала, что Учитель скоро уйдет к Отцу? О каком Отце ты говорила? О плотнике из Назарета — Иосифе?

— Разве Иосиф — истинный отец Учителя? Ты тоже говоришь, как чужой. Если бы ты ушел от нас, было бы лучше.

— Да, — сказал я, сразу вспомнив собственные размышления по этому поводу. — Я уйду, когда мы придем в Иудею, ведь родина моя — Иерихон... Или ты уже и об этом забыла, Мариам?

Возникший поодаль шум перебранки не дал мне услышать ответ женщины а может, и не было ответа — я смотрел, как от людского кольца, обычно опоясывавшего стоянки нашей общины возле городов и селений и состоявшего из тех, кто способен был сколько угодно ожидать проповеди Иешу, отделился скрюченный, похожий на ствол старого масличного дерева мужчина. Опираясь на две клюки, задирая пегую бороду и раздирая в крике черный провал беззубого рта, он ковылял вслед за широко шагавшим Иудой-Кериофянином. Калеку пытались удержать, но он отмахивался, то и дело падал, но поднимался и продолжал кричать:

— Он это, он, я узнал его! Это из-за него мне сломали ноги и спину! Проклятье и кровь жертв на тебе, отродье змеи и скорпиона!

Иуда нес на плече овцу и, может быть, не слышал выкриков калеки или — что совершенно естественно — не относил их на свой счет. Но все, кто стоял рядом с Иешу, кто был у шатров и возле очага, обернулись на эти крики.

Иуда немного наклонился и сбросил овцу с плеча на землю, покрытую молодой травой, — овца была уже с перерезанным горлом, глаза ее отсвечивали белой пустотой.

— Это подношение назаретских пастухов вам, братья...

— Почему так кричит этот убогий? — спросил Симон-Петрос, уловив мгновенную страдальческую морщину возле губ Иешу.

Иуда, не поворачивая головы, пренебрежительно пожал плечами, и мне почему-то подумалось, что не следовало бы ему так вести себя: это противоречило обычному поведению учеников Иешу — словно Иуда, сын Си-



мона, на миг стал совсем другим человеком. Правда, целая овца — немалая тяжесть, и, кто знает, сколько ему пришлось нести ее; и не слишком приятно, когда неведомый человек выкрикивает оскорбительные и несправедливые слова...

— Не надо кричать, уважаемый, — сказал Симон-Петрос калеке, который проковылял еще десятка два шагов и остановился, удержанный жестом Рав-Толмая. Слюна текла изо рта калеки, глаза были воспалены и казались безумными, пальцы, похожие на когти огромной птицы, впились в ответвления костылей, сделанных из кривых сучьев. — Что нужно тебе?

— Истины! — прохрипел калека.

Я воочию убеждался, что и Симон-Петрос, и Рав-Толмай, и другие из первых учеников Иешу действительно достойны называться этим именем, ибо умеют и держаться перед людьми, и говорить с ними, быть равными им, и в то же время заставлять их подчиняться.

— У каждого своя истина, уважаемый, и только одна для всех — у Отца небесного...

— Пускай так! — прохрипел калека, — я о своей скажу... Вот этот человек среди вас, я вижу... А три года назад я видел его среди тайных стражей у тетрарха в Мохэроне, он не был простым, но приказывал!

— А что делал ты в Мохэроне, уважаемый?

— Я был... Я был плясуном на канате, — калека всхлипнул, а кое-кто из подошедших к нему со стороны города усмехнулся, пряча лицо и отворачиваясь. — Меня обвинили в насмешке над тетрархом, и вот этот приказал палачам перебить мне ноги...

— А какова твоя истина, брат наш Иуда, сын Симона?

— Три года назад Иоханаан-Провозвестник омывал меня от скверны мира в Иордане, брат Симон. Разве ты не видишь, что разум этого несчастного человека замутнен горем?

— Урия и вправду был плясуном на канате! — раздался голоса подступивших людей. — И вот уже три года, как он подобен сове, потерявшей глаза, и ослупоенному... Исцели его, Учитель, как ты исцелил многих! И тогда истина Урии станет прозрачной, как вода Иордана и Кедрона... Исцели его, равви!

Наверное, все видели, как Иуда вздрогнул, как опу-

стил голову, а потом, медленно подняв ее, посмотрел на Иешу, который не отводил от него пристального взгляда.

— Исцели, Учитель! — вымолвил, как выкрикнул, Иуда, сын Симона.

Несомненно, каждый из близких к Иешу понимал, насколько остер и опасен этот миг — рассказывать о чудесах, сотворенных Сыном Человеческим, это одно; поставить же Учителя перед необходимостью сотворить чудо немедленно — совсем другое. Там это — как условие всякой сказки о человеке, таково правило, в которое как бы и не обязательно верить. Здесь — как под стрелой напряженного лука. Исцелившись от безумия, в котором его, судя по всему, справедливо подозревают, калека либо изобличит бывшего тайного стража тетрарха Ирода Антипатра, либо Иуда будет полностью оправдан — а Иешу-Галилеянин покажет всем свою божественную избранность, свое право называться Христом-Мессией...

Я вдруг осознал, что стоит мертвая тишина.

И тогда Иешу, шагая плавно и неторопливо, подошел к калеке и положил ладонь на его всклокоченную голову, потом краем своей одежды стер пот и грязь с его лба, обнял его за плечи, привлек к груди. Мне показалось, что губы Галилеянина шевелятся, словно он что-то шепчет.

Сколько это длилось? Не знаю, наверное, очень недолго... И уже в следующий миг Иешу разомкнул объятия, отстранился, выпрямился. По щекам калеки текли слезы, он вытирал их, поднимая то одну, то другую руку с зажатой в кулаке клюкой, а потом неловко повернулся, и, не говоря больше ни слова, заковылял прочь.

— Исцелен! Исцелен! — закричали люди, но как-то словно растерянно.

Как будто очнувшись, Иешу оглянулся, встретился глазами с Иудой, и тот закрыл глаза, а Галилеянин едва заметно улыбнулся — возможно, он все еще не верил в то, что произошло. Да и что именно произошло? Разве к калеке возвратилась его прежняя стройность? И был ли он безумен? Или это был лишь миг буйства, когда весь мир застилается багровым и черным, а грудь разрывается от безвыходности?..

Иуда уже наклонился над принесенной им овцой,

показывал жестом, что ее нужно отнести к очагу, осве-
жевать...

— Ты и сейчас не веришь, — сказала Мариам.

— Я верю тому, что знаю наверняка, — ответил я.

— Ну, так знай: я получила то, чего мне не смогли дать ни мои мужья, ни ты, Манассия, сын Рувимов, — никто теперь не скажет мне, что я бесплодная смоковница! Ну, что же ты молчишь? Ты можешь узнать и кто разделил со мной ложе — тот, кого Учитель только что избавил от клеветы! У меня родится сын, который будет такой же красивый, сильный, смелый и умный, как Иуда из Кериофа!

И вместе с Мариам-Магдалиной, Анной и двумя сестрами Иешу она направилась к овце, чтобы отнести ее к очагу.

А я отошел к недалёким камням, возле которых росло чахлое деревцо, и на серой шершавой поверхности грелись ожившие по весне ящерики. Молодые листья отбрасывали совсем слабую тень. Всмотревшись в нее, я попробовал представить то, чего мне было не увидеть: длинную серую стену, огораживавшую Иерушалам, скопище домов с плоскими крышами, купола синагог, зубчатый скат гигантского храма, выстроенного Иродом, башню Антония... И широкие, обитые бронзой Сузские ворота, через которые войдут в Иерушалам Галилеянин и его ученики... Что ж, у каждого — своя дорога.

Вернуться в Иерушалам

1

В восемнадцатый год правления императора Тиберия, в шестнадцатый год от начала строительства в Иерушаламе попечительством уже покойного царя Иудейского Ирода Великого — Храма Всевышнему, за год до смещения с должности прокуратора Иудеи Пилата Понтийского, на исходе весеннего месяца нисана, в безлунную и душную ночь члену Синедриона и тайному ученику Иешу — бродячего проповедника, названного многими Христом-Мессией, Иосифу Аримафянину приснился сон.

Привиделся ему полноводный и пенистый от быстрых

воронок — как это бывает весьма редко — Иордан, с черными от щедрой влаги, и блестящими камнями по его берегам, и туманная от зноя даль, и мутноватое, белесое небо... И увидел он Иешу, медленно выходящего из потока, плавными Движениями коричневатых от солнечного загара пальцев сгонявшего воду с белых, с некоторой желтизной плечей и груди, и как бы озабоченного только этим. Вот его узкое тело возникло из бегущей реки еще выше, и Аримафеянин с ужасом отметил как бы бледные и полуоткрытые губы-раны — чуть отступая от левого подреберья — след копья, вымытый Иорданом.

Но худые, обожженные солнцем там, где оставались открытыми, и белые там, где кожу прикрывали ремни сандалий, ступни Иешу уверенно и спокойно попирали отшлифованные водой мелкие камешки, переносились через крупные, и, сотрясаемый дрожью от осознанности необычности происходящего, верящий и не верящий в чудо, Иосиф Аримафеянин сорвал с себя плащ-паллий, чтобы прикрыть наготу Учителя, защитить его от солнца, от чужих недобрых глаз.

Но Иешу остановил его взглядом, и странен был этот взгляд ставших теперь совсем светлыми глаз Учителя — они смотрели как бы сквозь Иосифа, и в то же время словно возвигали некую прозрачную стену между ними. И Аримафеянин понял, что не дано ему преодолеть эту преграду.

— Ты ли это, Учитель? — спросил Иосиф, подаваясь вперед, мучаясь от неопределенности, почти желая, чтобы видение исчезло, ибо если Иешу действительно был жив, то это лишало мироздание его самой незыблемой основы, и все сущее становилось неопределенным и неуловимым. А от того, что мысли эти касались именно Иешу, становилось еще мучительнее.

— Имеющий глаза, да видит, — услышал Иосиф ответ Учителя, но как бы издалека.

— Но возможно ли?..

— Не говорил ли я: «В дому Отца моего обители многие»? Верить ли?

— Верю, — ответил Иосиф Аримафеянин, уже понимая, что и в самом трусливом сознании человеческого нет для него пути назад, и рухнуло все, что относилось к прежним неверию и полувере, и нужно начинать жить заново, и жизнь эта — совсем иная.

Он хотел спросить у Иешу: какая это жизнь, так неожиданно открывающаяся перед ним?

И не увидел Иешу, только что стоявшего на берегу Иордана — оставшиеся на камнях, на пробившихся стебельках травы, на сухой степной пыли влажные следы ступней Учителя высыхали, исчезали...

Иосиф Аримафянин открыл глаза и в течение нескольких мгновений пытался соединить сон и явь, ибо ночные видения — не чета друг другу, и если одни забываются тотчас по пробуждении, то другие остаются в памяти, как некие знамения...

Более седмицы миновало с тех страшных ночи и дня, когда храмовая стража схватила Иешу, заламывая ему руки за спину, и греческая клепсида в храмовом притворе начала отсчитывать капли оставшейся Учителю жизни — может, именно поэтому приснилось нынче Иосифу быстрое течение Иордана, что тот срок врезался в сознание мерным стуком капель, не замечаемым глазом, но неотвратимым повышением уровня перетекавшей из сосуда в сосуд воды, попеременным потемнением римских цифр... Иосиф, как член Синедриона, знал о жалобах фарисеев на Иешу, о доносах саддукеев, на время забывших о своих давних раздорах с книжниками; видел растерянность в слезящихся глазах первосвященника Анны и вертикальную вздувшуюся жилу на лбу второго соправителя — Каиафы; видел вечную усмешку на тонких губах рабби Бен-Гамала — самого мудрого и самого хитрого из всего числа священников, входивших в Совет храмовой синагоги Иерушалома. Через Симона Петра Иосиф Аримафянин передавал Иешу о нарастающей для того угрозе — какая власть потерпит человека, которого люди называют «Мессией»? Тем более власть, которая, по сути, лишь звено между римлянами и народом!..

Иосиф понимал, что пророк, открыто склонившийся перед сильнейшим, обречен на презрение со стороны вчерашних почитателей, ибо всякая толпа приемлет только два цвета: черный и белый. Но можно же уйти на время из Иерушалома в пустыню — переждать хотя бы. Возможно, не вызови Иоанн Провозвестник ненависти Иродиады к себе, он был бы жив и сейчас... В то же время Иосиф, сумевший повидать в Иерушалома многое, понимал, что нет идеи прочнее, нежели та, которая скреплена кровью. Ибо, если речь идет о выборе между

чужими жизнью и убеждением, то люди всегда предпочтут убеждение — кто жалеет чужую жизнь? Конечно, понимал это и Иешу.

Иосиф Аримафянин был почти на десять лет старше Иешу и повидал за свою жизнь и службу при храмах в Аримафее, Вифагии и Иерусаломе многих пророков. По-разному заканчивали они свои жизни, но объединяло их одно: возвышение над толпой убеждало их в праве на личную значимость, а значит, они могли пожертвовать чем и кем угодно — только не собой. Себя они берегли и ублажали. Иешу же, утверждая свое право на единственно верное толкование Закона, данного когда-то народу Израиля Богом, не только толковал его с преимуществом для обездоленных и униженных, но и объединял себя с ними, был готов заплатить за это единство самую высокую цену. Больше того, жертвенно стремился к этому...

Сначала Иосиф усомнился в стремлении Иешу к самопожертвованию во имя собственной правоты, а когда поверил и понял, что так и есть, то мысленно поклялся себе, что уберезет этого человека от гибели и одновременно сделает все, чтобы помочь ему. Иосиф приходил туда, где собирались ученики Иешу, в простой и грубой одежде, накинув на лицо край капюшона. Он видел фанатизм одних и чистую тихую веру других; видел людские несчастья и немощь, смешанные с испуганной надеждой, замечал и тех, кто примкнул к внимающим Иешу из мелкокорыстных побуждений. Именно эти, последние, выкрикивали в толпе: «Слава тебе, сын Давидов, царь иудейский!» и «Мессия! Мессия!» Возвеличивая Учителя, они хотели возвеличить и себя, ибо что толку славить проповедника грядущих благ для нищих! И этим самым усиливали злобу и ненависть признанных толкователей Закона, еще вчера собиравших в синагогах сотни и тысячи благоговейных слушателей.

Была опасность, что кто-нибудь из самых близких к Иешу вдруг заподозрит в Иосифе соглядатая Синедриона, а также, что кто-либо из священства или храмовой прислуги увидит Аримафянина в толпе следующих за новым проповедником. Иосиф открылся Симону Петру по прозвищу «Кифа», что по-арамейски значило то же, что и по-латыни: «Камень», и брату его Андрею. Там же, где Иешу встречался и разговаривал с фари-

сеями, храмовыми священниками и сборщиками пода-тей, не собиравшимися бросать свое занятие, Иосиф старался держаться в стороне, снова и снова убеждаясь, что людям вообще свойственно видеть лишь самих себя — даже в глазах других. И слышать — только то, что отвечает на их вопросы.

Сказано мудрым: «Многие знания — многая печаль». Если, как рассказывали, Иоанн Провозвестник, Иоанн Предтеча был неистов и громогласен в словах своих и пророчествах, то Иешу говорил негромко, любил иносказания, толкавшие слушателей на размышления, и гневался, в полную силу проявляя свой гнев, считанные разы: изгоняя торговцев из Храма, обличая суетумудрие и лицемерность книжников-фарисеев, умеющих находить в Законе лишь то, что к их выгоде и корысти; да еще укоряя маловеров, сомневающих в могуществе Бога и в неминуемости воздаяния — за доброе, и за злое... И понял член Синедриона Иерушаломского, священник Иосиф Аримафеев три вещи, как три ларца с неизвестными прежде дарами раскрыл, чтобы оказаться плененным ими: проповедям Иешу-Учителя суждена долгая, может, даже вечная жизнь; что ничто не спасет Учителя от гибели, ибо чем слаще плод, тем вернее в нем червоточина; и что он — Иосиф Аримафеев — отныне и до последнего своего часа связан с Иешу — потому что как без любви не может жить человек, так и без устремленности к свету не достоин он называться человеком.

Он видел, как творятся выдумки вокруг Иешу, создавая для Учителя опасный и полный соблазнов для других ореол. Сначала Иосиф доступными ему средствами пытался препятствовать этим выдумкам, а потом осознал, что не по силам для него такое — кто может сказать, что видится мотыльку, летящему на пламя светильника, и, если этот светильник задуть, не отыщется ли другой? И не момент ли высшего счастья для мотылька, когда его охватывает пламя? Кто может ответить? А ведь человек — не мотылек, и невидимые крылья его души тем шире и прекраснее, чем чище душа. Но тем и ярче пламя, которому сжечь эти крылья. Где крылья, там и пламя!..

Иосиф, никогда не находясь среди самых близких к Иешу его учеников, известных неисчислимо многим, имел возможность видеть и замечать со стороны то, что не

дано видеть в упор, — повадки и движения, открывающие сущность человека. И он видел злой блеск в сощуренных глазах Иуды Кериофянина, пальцы его скрещенных рук на предплечьях — стиснутые, побелевшие. Это было не тогда, когда прекрасные женщины Галилеи, Иудеи или Самари омывали ноги Иешу, умащали кожу его елеем и мирром; не в тот момент, когда Учитель возлагал руки на головы больных и увечных, дабы вселить в них надежду на избавление от недуга, и глаза людей светились верой в чудо... Это, как ни странно, было, когда выкрикивали в толпе: «Слава тебе, сын Давидов, царь Иудейский!»

Иосиф во время очередной тайной встречи с Симон Петром сказал ему о замеченном, и Симон Петр ответил, что действительно, Иуда грешит проявлениями зависти, но что вряд ли это может иметь отношение к Учителю — можно ли завидовать Солнцу? Кроме того, сын купца и менялы Иуда не раз помогал им деньгами, покупал у торговцев хлеб и у рыбаков рыбу — для общих трапез, для помощи наиболее нуждающимся... Увидев растерянность в глазах Иосифа, Симон Петр пожал плечами и сказал, что, конечно, он сам понаблюдает за Иудой, но так, чтобы не обидеть того.

Вполне возможно, что по-своему Симон Петр был и прав, но ведь проявления чувств Иуды, вероятно, заметил и один из тех, кто по служебной обязанности бродил вместе с толпой вслед за Иешу, слушал его слова, выкрикивал славословия, мысленно составляя очередной доклад начальнику тайной храмовой стражи, а может, и самим первосвященникам — Каиафе и Анне. Можно допустить, что Иуда поначалу и не хотел предавать Учителя, но охотники за людьми изощрены и опытни. И кто знает теперь, на чем споткнулся болезненно честолюбивый и завистливый Иуда Кериофянин? Иосифу все-таки хотелось думать, что не одна злая воля толкнула его на предательство, и не жадность, не алчность к деньгам — он ведь не был бедным... Когда Иосиф увидел, что возле синагоги Иуда обменялся безмолвными кивками с человеком, который, как Арифаянин знал, был в числе телохранителей первосвященников, то понял, что Учителя ждет беда. И он, забыв об осторожности, вызвал Симона Петра с предпраздничной трапезы, и тот сказал, что немедленно сообщит обо всем Учителю.

Но можно ли спасти того, кто уже шагнул в бездну

Вечности, кого эта бездна уже манит, кружа голову неизбежностью обреченности? И позже, представляя грустный и мудрый взгляд Иешу в момент произнесения им слов, обращенных к ученикам: «Один из вас предаст меня...», Иосиф как бы воочию видел недоумение возлежащих за пиршественным столом, и вопросительное движение Симона Петра в сторону Иуды, и опущенное лицо того, красновато-рыжие пряди, коснувшиеся вспыхнувших щек. Позже рассказывали, что Иуда, вдруг осознав воцарившееся молчание, вскинулся: «Почему ты так смотришь на меня, Симон Кифа?» И Симоц спросил напрямик: «Не затаил ли ты зло на Учителя нашего, Иуда Кериофянин?» И тот, испуганно моргая, все пытался отодвинуться на ложе и не мог и, сжав пальцами одежду на груди, потянул ее, словно не хватало ему дыхания. И Учитель поднял руку: «Оставь его, Кифа, не нужна смола чистоте устоявшегося вина... А ты, Иуда, если надо тебе, иди!..» И Кериофянин, взяв суму, всегда бывшую с ним, поднялся с ложа, посмотрел на всех и вышел, и все поняли это так, словно поручение ему было от Иешу.

Мысленно проходя через все это снова и снова, Иосиф Аримафянин стискивал кулаки, и голову ему сжимало болью, и в сердце начинали колоть иголки. Стоило иначе повернуть тот разговор, и, возможно, Иуда признался бы... Если бы Симон Петр не колебался, а тут же ударил бы Иуду мечом... Пусть храмовая стража уже следила за каждым шагом Учителя, ее можно было обмануть, уйти из Иерусалома через Дамасские ворота, а затем повернуть к горе Мория, возле которой не было ни дорог, ни исхоженных троп с возможной засадой. Да и не могло быть никаких засад—ведь Учитель не разбойник, не вооруженный мятежник. Если бы!.. Но сказал еще Иешу: «...Сын человеческий идет по предназначению...» Вот и все, и не о чем тут говорить, ибо если выше всего для тебя твое предназначение, то отказ от него хуже предательства Иудина.

Был Иосиф среди нескольких священников, пришедших вслед за храмовой стражей к подножью Елеонской горы, к той узкой части Кедронской долины, где справа тянутся масличные узловатые деревья, начавшие плодоносить еще при Августе императоре, а слева, за колючими терновыми кустами поднимается серый четырехгранник гробницы Авессалома.

Видел он, как сошли по тропе в долину Иешу с учениками, как остановились они перед загородившими путь воинами. Близился рассвет, красным было пламя отчаянно дымивших факелов, красным отсвечивали острия копий, и на лицах — встревоженных и испуганных у задержанных, равнодушных и насмешливых у воинов — мелькали красные блики. И только у Иешу лицо было как бы застывшим — словно он изо всех сил старался выглядеть спокойным.

И лишь на миг в его лице возникло нечто странное — как бы освобождение от чего-то тягостного — когда выступил вперед Иуда и прикоснулся губами и лбом к плечу Учителя. И тот почти ласково коснулся ладонью курчавых волос Иуды, легонько оттолкнул его, как ребенка. В следующий момент воины уже выкручивали Иешу руки, и он вскрикнул тихонько однажды, и гримаса боли возникла на обескровленном лице. И сразу стало видно, что вокруг образовалось пустое пространство — ученики Иешу отступили от него. И лишь Симон Петр сделал шаг через это пространство, и лезвие меча сверкнуло красным, и раб, принесший воинам веревки, уронил их с визгливым ругательством и вскинул руку к голове, и темным окрасились его пальцы.

Копья дрогнули и наклонились угрожающе, и уже один из стражей схватил Симона Петра за плечо. Но десятник выкрикнул хриплую команду, и воины нехотя подчинились, подняли копья, а схвативший Симона Петра сделал шаг назад. Вероятно, строгим был полученный десятником приказ и касался он только Учителя. Похоже, очень боялись первосвященники народного возмущения, вызванного арестом бродячего проповедника, которого молва называла «Сыном Давида, царем Иудейским» и «Мессией-Христом». Не будь такого приказа или знай первосвященники про ту безопасную простоту, с которой был взят Иешу, остался бы Симон Петр лежать с разрубленной головой в Кедронской долине, а все другие ученики были бы схвачены. Кроме того, раб есть только раб, и звали его — Малхом...

Иосиф видел все это и томился от отчаянья и бессилия, и еще от необходимости продолжать хранить свою тайну, ибо что пользы от того, что он откроет себя? Оставаясь же в числе входивших в Синедрион, пользу братьям своим по верности заветам Иешу может принести немалую.

Все, что происходило потом, было похожим на бред во время лихорадки, но в то же время ужасало обыденностью и еще — зрелищностью, как некое действие, разыгрываемое бродячими актерами и мимами. Может, потому и толпы народа воспринимали все это, как зрелище, не до конца понимая его страшную сущность.

На восходе солнца был собран Синедрион — пришли немногие, но Каиафа не стал ждать прихода остальных. Шурша тяжелым шелком одеяния, широкими шагами прошел взад-вперед мимо выбеленной и как бы наго» стены, обернул к сидящим набрякшее гневом длинное лицо свое, казавшееся словно и не здешним из-за пегой и величественной бороды, огромных черных глаз, завешенных кустистыми бровями, — замер, стукнул по каменным плитам концом посоха.

— Лжепророку — смерть! — выдохнул Каиафа.

И от этого голоса, от слова «смерть» вздрогнул и открыл сонные глаза второй член первосвященнического дуумвирата — Анна.

— Исполненный благодати священный Синедрион не имеет права даровать смерть, — тонким и вьедливым-голоском напомнил самый мудрый и самый хитрый из присутствующих — рабби Бен-Гамал. И все оглянулись, на него.

— Но обращаться к римской власти с требованием наказать святотатца мы право имеем! — снова стукнул посохом Каиафа.

— Речь идет о трех разбойниках, взятых вчера у Золотых ворот? — спросил Анна, приставляя к уху сложенную трубочкой ладонь.

— И о них тоже, — кивнул Каиафа.

— О разбойниках и о лжепророке предписано бросать жребий отдельно, — напомнил Иосиф Аримафянин, и тяжелый взгляд первосвященника впился в его лицо, как бы надавил на надбровья, верхние веки, и стало ясно, что Каиафа запомнит это напоминание.

— Достопочтенный озабочен судьбой разбойников? Или, может, лжепророка?

— Соблюдением верности Закону, — отозвался Иосиф, мысленно радуясь тому, что сумел сразу найти правильный ответ.

— Похвально, достопочтенный, похвально, — покачал бородой Каиафа, но прозвучало это мрачно.

Пришел служитель-левит и роздал белые и черные

камешки, отшлифованные до блеска за бесчисленные годы пользования ими. И Аримафеянин невольно попытался представить, сколько человеческих судеб было решено бесповоротно вот этими гладкими и красивыми камешками.

Разбойники, схваченные у Золотых ворот, совершили несколько ограблений и два убийства и обнаглевшие от безнаказанности, вызванной тем, что в пасхальные дни большинство городской стражи было отвлечено на охрану дворцов и квартала менял, покидали Иерушалам открыто, не таясь, через главные ворота, вступили в бой с немногочисленной охраной, убили одного из воинов, но на помощь прибежали могучие кузнецы из ремесленного ряда, охранники входившего в город каравана... В запечатанный сосуд, предназначенный для жребия о судьбе разбойников, Иосиф с легким сердцем бросил черный камень. В другой же сосуд опустил белый.

Горестное изумление поразило Иосифа, когда оказалось, что в сосуде, связанном с решением участи Иешу, находится один-единственный белый камешек, стальные же все — черные. Иосиф ощутил на себе взгляд Каиафы, но не обернулся.

— Говорят, у него были ученики,— сказал кто-то из членов Синедриона, пожелавший проявить усердие. Может, он боялся, что белый камешек могут приписать ему.

— Придет и их очередь, — ответил Каиафа.

Иосиф Аримафеянин не присутствовал, естественно, при допросе разбойников и Учителя римским прокуратором Пилатом Понтийским, но узнал, что Пилат не нашел за Иешу вины настолько тяжелой, что она заслуживала именно смерти, и порадовался этому. Пилата называли «кровавым», он тяготился службой в этих краях, ненавидел Израиль и жестоко карал евреев за любое нарушение законов и правил, установленных римской властью. Может, все дело было в том, что Синедрион в лице Каиафы хотел свести счеты с бродячим проповедником руками прокуратора? В данном случае Пилат Понтийский выглядел справедливым.

Были ли толпы зевак на площади перед преторием, где прокуратор вершил суд, подкуплены, или и вправду стремились получить великолепное зрелище, но когда глашатай от имени прокуратора объявил, что не видит

вины за человеком из Назарета, которого люди почему-то называли «Иудейским царем» и «Мессией», толпы завопили:

— Распни его, Пилат! Распни! Смерть ему!

И когда спрошено было, кого из осужденных на смерть следует оставить в живых в честь праздника Пейсах, то завопила толпа:

— Вар-Авву!

Каиафа важно наклонил голову, и величественная его борода покрыла священническое ожерелье. А римский прокуратор сделал руками движение, словно омывал ладони, а затем на миг развел их — себе ли отвечая на некий вопрос, другим ли показывая, что в такой ситуации он бессилён. Что ж, эта провинция всегда доставляла вечному городу великое множество хлопот.

Иосиф не отправился вместе с некоторыми членами Синедриона к месту казни, вслед за толпой, провожавшей осужденных, тащивших на себе доски и бревна для распятия. Он не мог видеть смерти человека, учившего милосердию и любви к ближнему своему. И еще ему казалось, что окажись он вместе с любопытствующими, и великая жертва в его сознании будет опошлена так же, как и в сознании всей этой сволочи, вопившей: «Распни его, Пилат!»

Позже Иосиф вспомнил рассказы очевидцев, что в толпе не видели никого из учеников Иешу. А ведь ему показалось, что среди женщин, из-за края черного покрывала мелькнул профиль сестры Учителя, а затем: померещились завитушки кудрей и глаза Марии из Магдалы. Толпа колыхалась как бы волнами, и невозможно было рассмотреть отдельного человека...

Отделяя осужденных от толпы, мерно прошагала центурия 16-го «Молниеносного» легиона, по две когорты которого были расквартированы в Иудее и в Галилее. Крепко пахло едким солдатским потом, разбавленным вонью кожи снаряжения. День обещал быть знойным, и многие из зевак, вероятно, представив долгий путь до места казни по пыльной Виффагийской дороге, стали растекаться, отставать от процессии — тем более что в праздничном городе и днем вполне можно было найти предостаточно развлечений.

И тут Иосифу Аримафянину повезло: он увидел мать и сестру Учителя — значит, не обмануло его зрение, когда подумалось, что именно Марфа стоит в тол-

ле рядом с Марией из Магдалы. Марфа, обняв мать, поддерживала ее, и было видно, насколько та потрясена случившимся, насколько постарела — теперь это была глубокая с трудом передвигавшаяся старуха.

Она отшатнулась было от Иосифа, увидев его священническое одеяние, но то ли Марфа знала от Симона Петра или Андрея о существовании тайного ученика Иешу, то ли что-то в его лице и во взгляде сказало ей о том, что он — не враг. И она не стала прятать заплаканных глаз.

Иосиф достал деньги, протянул ей, а затем показал на лысого и пузатого человека, который поодаль крикливо распоряжался десятком рабов с заступами в руках. Это была похоронная команда.

— Он не станет противиться, если ты назовешь себя.

Таков обычай.

— У меня есть деньги, — тихо сказала Марфа. — Мне передали от тех, кто любил брата.

— Чтобы тайно привезти его в город, понадобится много.

— В город?

— Сразу за Сионскими воротами, там, где сад углом примыкает к могиле Давида, мой дом. Там я встречу тебя: Есть ли питье для Учителя?

Закон и обычай гласили, что осужденный на смерть имеет право получить напиток, действующий одурманивающе и таким образом облегчающий предсмертные муки, — но тот, кто предлагал такой напиток, — его готовили специальные люди — должен был громко объявить, кто он или от чьего имени поит осужденного.

Марфа наклонила голову, прошептала:

— Да, есть.

— Мария из Магдалы?

— Нет, самаритянка...

Иосиф с трудом вырвался из воспоминаний, сделавших теперь его жизнь похожей на сон, который повторялся снова и снова, заключая сознание в некое кольцо, не имеющее разрыва. Впрочем, он и не хотел разрыва, догадываясь, что случись такое, существование его станет бесцельным и пустым, как некий скудельный сосуд.

Он сел на ложе, ловя прохладу, текущую от узкого оконного проема. Судя по едва уловимой серости мрака, был час третьей стражи — и точно: далеко-далеко, в

стороне Стефанских ворот, к которым жались караван-сарай для купцов из Халдеи и Йемена, загорлачили протяжно петухи, и им отозвался рев ослов, предчувствующих новый трудовой, полный зноя и мучительной жажды день. Иосиф хлопнул в ладоши, и немного спустя появился слуга-мальчишка, взятый А римафеянином из сиротского приюта при храме — так делали многие священнослужители и фарисеи, желавшие прослыть милостивыми и милосердными — у большинства эти сироты оказывались на положении рабов. Иосиф же полюбил своего Маттафию, как сына, и тот платил ему преданностью. В то же время Иосиф держал мальчишку в строгости, ибо подлинная любовь отнюдь не во вседозволенности...

В лампаде затеплился огонек, принесенный из очага, и Аримафеянин жестом отослал отрока досыпать. А сам, ощущая босыми подошвами холодок каменного пола, наклонился над открытым ларем, и с самого дна достал свиток драгоценного египетского папируса, купленный за немалые деньги у храмового писца Амоса.

Иосиф закрыл ларь, подошел к аналою под светильником, развернул свиток — ровные ряды арамейских письменных знаков производили странное впечатление: похожие на следы скарабеев на мокром песке, они как бы противились их выравниванию на латинский манер. Но это было сделано Аримафеянином с умыслом, ибо арамейскими буквами, выстроенными по-солдатски, но на ассиро-вавилонском наречии, он записывал то, что теперь стало и смыслом его жизни, и духовным завещанием: историю жизни и смерти Иешу, суть его учения. Он знал, что некоторые из учеников Иешу тоже пишут подобное, но, во-первых, чем шире будет круг тех, кто узнает из написанного об Учителе и его заветах, тем лучше; а во-вторых, никто из учеников, даже Симон Петр и его брат Андрей, не знали того, что было известно Иосифу Аримафеянину, тайному ученику и члену Иерушаламского Синедриона.

Он вчитывался в строки, в слова, медленно расшифровывая их смысл:

«...По пути к месту последнего мученичества своего Иешу отказался от напитка, сулящего ему забвение, и пригвожденный затем к кресту, молил Бога о прощении убивших его, сулил преступникам, преданным смерти рядом с ним, прощение их грехов. Уходя из жизни, Учи-

тель крикнул из последних сил, что дело его свершилось, и предал дух свой в руки Отца Предвечного.

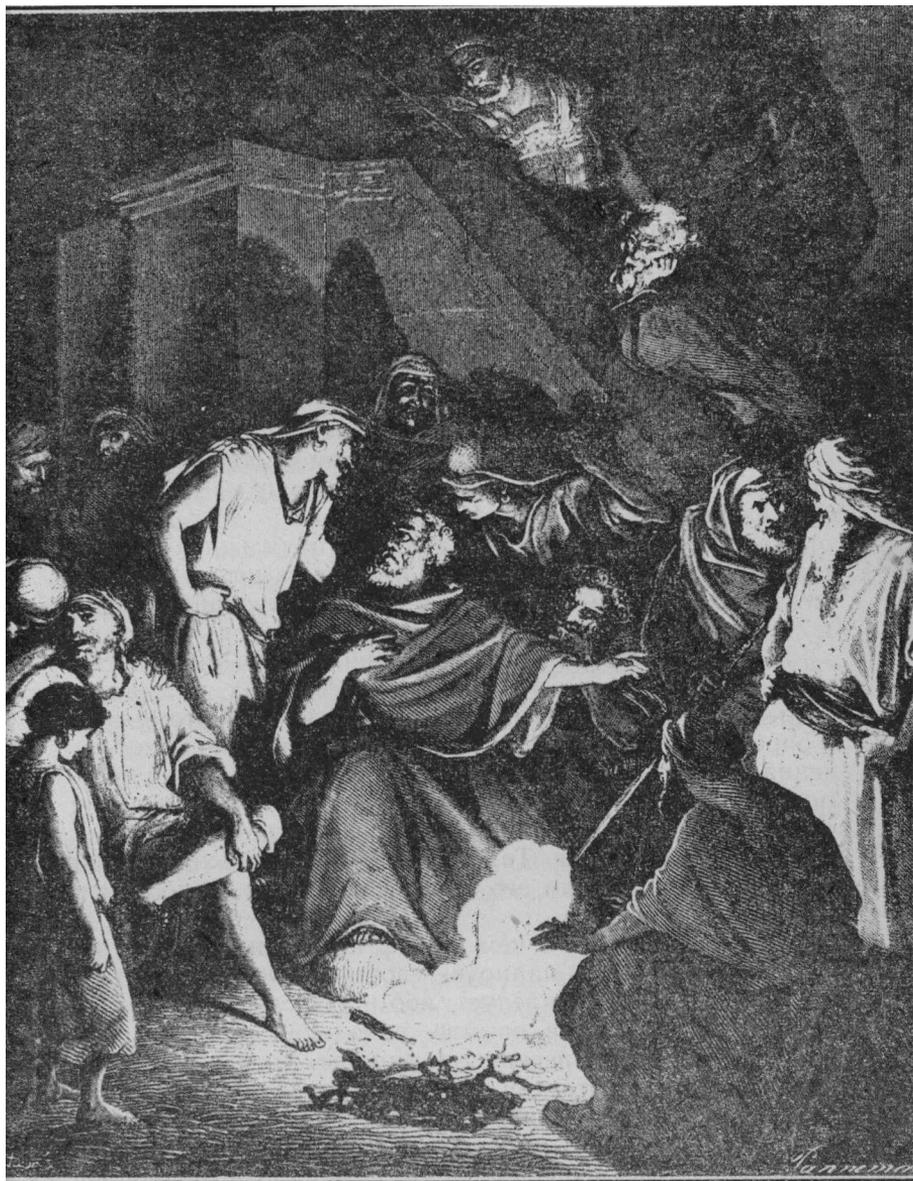
Предавшего же Учителя Иуду Кериофянина постигла справедливая кара — он был найден повешенным на высохшем масличном дереве в том самом месте, где указал храмовой страже на Сына Человеческого, как любил называть себя Иешу из Назарета».

Неожиданно Иосифу пришло в голову, что погибни он неожиданно, вряд ли кто сможет разобраться в написанном... От этой мысли по телу его пробежал озноб, как в лихорадке, а в мозгу как бы вспыхнул огонь — следовало придумать какой-либо иной способ записи, но над этим следовало думать и думать.

Упоминание о наказании предателя Иуды не было правдой — он исчез, и попытки разыскать его кончились ничем. И нельзя было выяснить: точно ли он стал предателем, и, если это так, то что побудило его на такое? Может, он стал жертвой разбойного нападения на одной из кривых и темных улиц Иерушалома. А может, убит по приказу Каиафы, который не любит живых свидетелей своих дел. А может, брошен в узилище в подземелье башен Гиппика и Голиафа... Но пусть будет записано именно так — потому что для потомков будет непонятно: как случилось, что человек, проповедовавший доброе, причем делавший это открыто и в течение длительного времени, вдруг был осужден на смерть? Значит, была клевета; значит, был ложный донос. И не от многих, конечно, а от одного — завистливого, подлого, тайного и закоренелого злодея. Который, конечно же, был наказан по справедливости: смерть за смерть. Зло не может остаться безнаказанным!

Не может остаться для потомков и то, что ученики Иешу Назарянина, испуганные страшной карой, упавшей на голову Учителя, разошлись и затаились. Ждал, что его станут разыскивать, Симон Петр по прозвищу «Кифа», ибо первосвященник был разъярен тем, что какой-то бывший рыбак с Генисаретского озера, бродивший и бездельничавший вместе с Иешу, искалечил его раба Малха.

Впрочем, Иосиф сумел передать Симону Петру, что самый мудрый и хитрый член Синедриона рабби Бен-Гамал убедил первосвященника Каиафу в необходимости длительного и спокойного выжидания. Ведь соглядатаи сообщали, что народ, еще вчера требовавший



распятия того, кого называли «царем Иудейским» и «Мессией-Христом», сегодня склонен жалеть его, вспоминать по-хорошему и даже высказываться, что власти поторопились, и смерти Учитель уж никак не заслуживал. Правда, больше осуждалась римская власть в лице прокуратора Пилата Понтийского, нежели иудейское священство. И Каиафа согласился с тем, что не следует тревожить Иерушалам какими-либо гонениями на сторонников казненного Назарянина — тем более что о них сейчас и не слышно.

Иосиф Аримафянин перечитал и следующую запись, хотя почти каждое слово помнил наизусть:

«Тело Учителя Елеазаром — начальником погребальной курии, было выдано за плату Марфе, сестре мученика, омыто, умащено елеем и мирром, пеленами укрыто и погребено в пещере сада в пределах дома Иосифа из Аримафеи, священника и члена Синедриона Иерушаламского, тайного и верного ученика Иешу из Назарета, называвшего себя Сыном Человеческим».

Какая злая радость охватила бы начальника тайной храмовой стражи Арфаксада, и то и самого первосвященника Каиафу — узнай они о существовании такой записи!..

И тут же Иосиф Аримафянин невольно закусил губу и почувствовал, как по спине его, под хламидой, скользнула ледяной змейкой струйка пота. Потому что, в определенном смысле свыкшись с опасностью разоблачения и одновременно поверив в собственную неуязвимость, он, Иосиф из Аримафеи, все происходившее с ним оценивал лишь с одной стороны — со стороны пользы для дела Учителя. Тем более, что страх, охвативший учеников Иешу в дни его гибели, как бы и не коснулся тайного его ученика.

А произошло то, о чем Иосиф ничего не записал на гладком и хрупком папирусе своего свитка, и полагал, что записывать и не следует, ибо и так случается нередко, что оставшееся в памяти поколений — неизмеримо живучее, нежели занесенное в анналы. Хотя и не всегда более точное. На третий день, возвратившись с синагогальной службы, посвященной близившейся Пятидесятнице, Иосиф обнаружил неожиданно, что завеса, прикрывавшая вход в пещеру в саду, наполовину сорвана, и погребение раскопано. На рыхлой, остро пахнущей сыростью и разрубленными остриями заступов корнями

трав земле лежали куски ткани, в которую было завернуто тело Иешу.

Когда Иосиф немного справился с охватившими его испугом и отчаянием, когда прояснилось в глазах и немного утихло болезненное биение сердца, он отправился искать не вышедшего, как обычно, ему навстречу отрока Маттафию. Но того нигде не было.

Мальчик отыскался на задворках, за старым очагом, которым когда-то пользовалась мать Иосифа, — Маттафия походил на гуляку-язычника, опившегося неразбавленным вином, лежал на усыпанной сором и золой земле, разбрасывая руки, и муравьи ползали по его лицу. Но он был жив — прильнув к груди и губам Маттафии, Иосиф уловил слабое биение сердца, едва заметное дыхание. Он перенес мальчика внутрь дома, уложил, растер его худенькое тельце. Маттафия пришел в себя только на закате, стал жаловаться на боль в голове, на судороги в руках и ногах. Позже он рассказал, что ему послышалось, что его позвали из-за дома — женским ласковым голосом — и он отправился искать источник этого зова. Голос был похож на голос его старшей сестры, которая, как было известно Маттафии, жила в Иоппи-Яффе, став еще в тринадцать лет наложницей богатого сирийского торговца краской для тканей. Несколькими разами с караванами, приходившими в Иерусалом, она передавала Маттафии лакомства, а порой один-два динария...

Возле старого очага на земле стоял сосуд, которого Маттафия никогда не видел в доме. Конечно же, он поднял его, почувствовал тяжесть полноты, наклонил и увидел тонкую, очень привлекательно пахнущую струйку. Подставил палец, лизнул — было сладко. Он не удержался, лизнул еще раз — и все вокруг почернело, а затем пропало.

Маттафия, узнав об ограблении могилы Учителя, метался и плакал, проклинал неведомых похитителей и называл себя «неразумной женщиной, и глупой перепелкой, которая из-за скудных зерен приманки готова подставить голову под палку охотника...» Мальчик не был ни в чем виноват, ибо разве мог его юный разум противостоять хитрости взрослых и опытных Мужчин? Иосиф, как мог, утешил, успокоил Маттафию, хотя сам не мог успокоиться.

Окольными путями ему удалось узнать, что Марфа

возвратилась вместе с матерью в Вифлеем, хотя брат Иешу — Иаков остался в Иерушаломе, но где находится и чем занимается — неведомо пока. Иосиф встретился с Симоном Петром, но не стал рассказывать ему о случившемся чудовищном происшествии, рассчитывая на то, что, возможно, разговор с бывшим любимым и ближайшим к нему учеником Иешу хоть сколько-нибудь приоткроет что-либо. Кроме того, Иосиф не знал, открыла ли Марфа тайну захоронения своего брата его ученикам? А если открыла и если именно они унесли тело Учителя — скажем, чтобы сделать тайну еще глубже — то почему они не посвятили в это его — хозяина пещеры? Потому что тайна его принадлежности к последователям Иешу известна лишь малому числу людей? Может, так, а может, и нет... А если им известно о захоронении и не известно о похищении, то как же тогда будет выглядеть он — тайный ученик Иешу? Как второй Иуда Кариофянин, а то и хуже?

И тут Симон Петр заговорил о слухах, начавших ходить среди жителей Иерушаломы и его окрестностей — о якобы произошедшем воскресении из мертвых казненного Иешу, называемого «царем Иудейским» и «Христом-Мессией». Якобы видели его живым и невредимым то там, то тут, и рана его, нанесенная стражем на месте казни, отверзта, но не кровоточит; и говорит воскресший Учитель, что хотя он и Сын Человеческий, но в то же время и Божий, и что учение его очень скоро покорит весь мир...

— Ты веришь в это? — напрямик спросил Иосиф.

— Я стал бы подобен скорпиону пустыни, кусающему того, кто породил его на свет...

— Я не об учении, я о самом Иешу...

— Разве нам известны все тайны мироздания? — уклонился от прямого ответа Симон Петр и тут же стал прощаться, ссылаясь на то, что их могут увидеть вместе соглядатаи, которых нынче стало в Иерушаломе, как говорят, очень много.

Этот короткий разговор ничего, в сущности, не прояснил, но в какой-то степени успокоил Иосифа — ведь был все-таки намек в словах Симона Петра, был! В самом деле, разве не лучший путь для укрепления веры в воскресение Учителя, когда даже тот, кто предавал его тело земле, не ведает, как случилось, что могила стала пустой?

И вот сейчас — после встречи во сне с ушедшим из жизни Учителем, после того, как перечитаны были тайные записи, которым, по мысли их автора, предстояло дойти до самых отдаленных потомков, Иосиф был ошеломлен неожиданно пришедшим предположением, что покуситься на тело Учителя могла по приказу первосвященника Каиафы и тайная храмовая служба...

Иосиф видел однажды ее главу — Арфаксада: низкорослого горбуна, тонкие и кривые ножки которого угадывались под широким священническим одеянием. Это одеяние у людей посторонних вызывало естественное недоумение, ибо согласно Закону служитель Бога не мог иметь физических изъянов. Но и это было паучьей хитростью, поскольку порождало вопросы, а человек, который не умеет скрывать свои мысли и распускает язык, легко становится если не жертвой сыска, то его прямым помощником. Особенность Арфаксада была еще и в том, что никто никогда не видел его глаз — он умел так опускать и прятать в складках накидки свое лицо с мелкими, неприметными чертами, что встречавшие его замечали лишь остренький подбородок, часть впалой щеки с оспинами. И лишь тонкие и очень длинные пальцы, покрытые бледной, с мертвенной синевой кожей, с редкими коричневыми пятнышками, вызывали неприязнь и страх, как это бывает, когда видишь змею или скорпиона...

Имя Арфаксада никто и никогда не произносил вслух — может, потому что знали его, в сущности, очень немногие. Но те, кому оно было знакомо понаслышке, если упоминали его, то тут же дули на плечи, как делают для того, чтобы отогнать беду.

И тайному ученику Иешу — Иосифу из Аримафеи подумалось с ужасом, что вполне вероятно, он сейчас похож на рыбу, попавшую в большую сеть, но еще не ведающую об этом. Рыба вспомнилась потому, что один из учеников Иешу — Стефан, знавший латинскую речь и греческую, предлагал для тайного знака сторонников Учителя изображение именно рыбы, поскольку с литеров, составляющих греческое слово «Рыба» начинались слова, которыми иногда именовали Иешу: «Иешу Христос царь иудейский». Замысел Павла был остроумен, но не было пока надобности писать где-либо тайные знаки — ведь каждый из учеников знал остальных. Кроме него — Иосифа из Аримафеи. А он, возможно, «рыб-

ка» — для тайной храмовой стражи, ее соглядатаев... Рыба в огромной сети.

И сразу по-иному предстали в памяти глаза первосвященника Каиафы, взгляд которых — пристальный и мрачный — ежедневно встречается в храме Иосиф. Если его схватят, бросят в подземелье, подвергнут бичеванию и пыткам, — выдержит ли он, сможет ли не выдать всех, кого он знает? Никто не знает пределов своих физических и духовных возможностей, пока судьба не подвергнет его испытанию. А если схватят юного Маттафию, начнут мучить на его глазах?

И не об этом ли предупреждал, явившись во сне, Иешу-Учитель? И не уничтожить ли папирусный свиток, который, как предательская западня, ожидающая того, кто попадет в нее, — ведь на пороге колодца с голодными львами, обдающими смрадным дыханием, он сам расшифрует все свои записи...

Но Иосиф аккуратно свернул папирус, отнес и положил его в ларь, рядом с пеленами из могилы Иешу, на которых остались как бы очертания его тела.

Откуда-то донесся металлический перестук, и Аримафянин невольно прислушался, встревожившись. Но стук прекратился. Иосиф закрыл ларь, покосился на почти совсем посветлевшее окно. Мимо него мелькнула с тихим писком ласточка.

И тут же на пороге возник Маттафия.

— Разве я не отправлял тебя спать? — удивился Иосиф.

— Тебе не спится, и я не могу... Там у входа только что был человек. Я услышал стук кольца и пошел посмотреть.

— Так это стучали кольцом? Что за человек?

— Не знаю. Он сказал, чтобы я передал тебе: «В полдень там, где любил молиться Богу Учитель».

— Именно так и сказал?

— Сказал: «Не надо бояться»... И еще: «Рыба». Я не понял, при чем здесь рыба?

— Это так, к слову, — улыбнулся Иосиф, кладя ладонь на мальчишеское плечо. — Иди, поспи хоть немного...

Значит, приходил Стефан-галилеянин, один из самых обстоятельных и осторожных учеников Иешу, который никогда не говорил лишнего, вел себя крайне сдержанно. Был Стефан младшим сыном землевладельца из

окрестностей Птолемаиды, чем-то прогневал отца, и тогда все свое богатство оставил старшему брату, чем обрек младшего на прозябание. Стефан конопатил и смолил рыбацьи лодки на берегах Генисаретского озера, услышал поучения Иешу, увидел рыбаков, пошедших вслед за Учителем, и пошел за ним сам. Он был из породы однолюбов по отношению ко всему в жизни. Порывистый и вспыльчивый, легко менявший настроение Симон Петр не любил Стефана, называл его «Сусликом», намекая на предельную осторожность этих степных зверьков, но если речь шла о каком-либо серьезном поручении, советовал обращаться именно к Стефану.

«Там, где любил молиться Богу Учитель», — это значит на Елеонской горе, до которой пути от Иерусалома не больше одной стадии...

— Ты почему все еще здесь? — спросил Иосиф, увидев Маттафию, смотревшего на него расширенными круглыми глазами.

— Я боюсь за тебя.

2

Снилось или было на самом деле?.. Выходил из Золотых ворот караван киликийских купцов, распродавших в Иерусаломе свои товары — отдохнувшие и отвежавшиеся верблюды смотрели гордо и презрительно, а бородатые, в синей и коричневой одежде и бараньих шапках купцы — весело и дружелюбно. Стража ворот и счетчики мытной заставы выкрикивали пожелания счастливой дороги и новых возвращений в Иерусалом, иг в пыль перед ними шлепались не только оболы и драхмы, но порой и сестерции, а то и динарии — если торговля удалась, то нечего жалеть лишнюю монету: в другой раз это окупится сторицей. Потому и назывались эти ворота Золотыми, хотя ничем не отличались от всех прочих ворот в городской зубчатой стене, что дважды платили здесь все те, кто посещал Иерусалом ради выгоды — в первый раз — пошлину, ибо только здесь обязаны были проходить торговые караваны, а во второй раз — добротное даяние страже и мытарям. Можешь и не давать, тебя никто не заставляет, но подумай о том часе, когда ты снова окажешься здесь — у стражи и мытарей память хорошая, во время проверки товаров многое может оказаться испорченным — скажем,

драгоценный виссон или пурпур, или чаши, искусно выточенные из шпата...

На священника, выезжавшего из города на осле, естественно, никто не обратил внимания. И Аримафянин, опасавшийся, что людской ручей, вдруг устремившийся среди дня по направлению к Елеонской горе, возвышавшейся в стороне от Иерусалома, привлечет чей-либо подозревающий взор, понял, что опасения его были напрасными. Во-первых, дорога от Золотых ворот, весьма оживленная в течение всего светлого времени, делала широкое полукольцо и прикрывала собой подход к подножью горы; во-вторых, сразу за этим полукольцом начинались масличные рощи Кедронской долины, а дальше кудрявились купы Гефсиманского сада, кустарниковые заросли. Кроме того, среди оливковых деревьев скользили те, кто ухаживал за деревьями.

Иосиф мысленно одобрил давний совет Симона Петра: оставаться в тайне. Было время — и так недавно оно было! — когда в уверенности в торжестве своем, во всепобедности, следовавшие за Учителем не прятали ни лиц своих, ни высказываний. Казалось, что предупреждения самого Иешу — лишь риторическая фигура, ибо приятно чувствовать некоторую опасность, как проходить у самого края пропасти, но чтобы тропинка не осыпалась под ногами. Учитель говорил такие мудрые и такие красивые слова, и так верилось, что и в самом деле можно возлюбить врага... И всякому дню довлела его злоба, и наряд лилий был прекраснее платья Соломона, хотя не прядут лилии и не ткют; и птицы, не трудясь и запасов не делая, на каждый день пропитание имеют... Каждый находил слова для себя лично, которыми мог утешиться, а это ли не важнее всего, ибо единый Закон для всех никогда не сможет быть для всех одинаково милосердным и добрым. Это только фарисеи-книжники да саддукеи-законники умеют находить пользу для себя от Установлений, некогда высеченных на каменных скрижалях, но никем не виданных. Слова же Учителя — Иешу из Назарета — обращены не к тем, кто в храмах вершит суд, а то и торгует, оскверняя обитель Бога корыстолюбием и стяжательством. Слова Учителя — для простых людей. И пусть никто не видел тех чудес, о которых слухи все шире и шире, коли так не любят Учителя книжники и законники, то, значит, добро несет он простому человеку...

Ну, кто мог думать, что сильнее Учителя окажется его недруги!

И вот кстати прищлась осторожность, на которой настаивали самые дальновидные. Но почему так уверенно передал Стефан, что «не надо бояться»? Неужели сторонником мыслей и слов Учителя вдруг стал сам Арфаксад — начальник тайной храмовой стражи?

Подумав такое, Иосиф невольно развеселился и, поддав ленивому, с меланхоличной мордой ослу под бока краями подошв сандалий, заставил животное трусить по дороге быстрее, а затем заставил его свернуть на низкорослую и жесткую траву, вдохнул запахи уже нагретой солнцем травы и земли и еще каких-то мелких, белых цветов, показывавших свои венчики среди камней.

С кем же предстоит ему встреча?

На крутом повороте тропы он сошел с осла, спутал ему передние ноги и оставил его пастись — бояться, что кто-либо похитит животное, не следовало: на левой стороне крупа было выжжено храмовое тавро, подобие семилучевой меноры, которое невозможно было изменить на какое-либо иное. Под страхом заключения в каменоломни храмовое имущество подлежало возвращению по принадлежности, где бы его ни нашли. Правда, прежде чем возвратить, его могли использовать, и это не каралось. Но поблизости никого не было видно. Дальше Иосиф Аримафеец отправился пешком, опираясь на подобранную сухую ветку, оскользаясь на каменной тропе, ведущей к небольшому плато почти на вершине.

Он двигался, напрягаясь на крутизне, шаг за шагом, но почти не ощущал трудности подъема — потому что был полон воспоминаниями о том вечере, когда видел Иешу в предпоследний раз... Иосиф добрался до отлогой седловины, следуя изгибам тропы, вошел в расщелину между несколькими большими камнями, вероятно, когда-то отколовшимися от основного массива. И недалеко увидел высокую и худую фигуру Стефана, сделавшего ему непонятный знак рукой: не то, чтобы он не спешил, не то, чтобы наоборот, ускорил шаг.

Иосиф хотел громко спросить у Стефана: о чем речь? Ведь никого не было видно поблизости. Но вопрос как бы застыл у него на губах, а дыхание перехватило. Из-за камня на тропу, загораживая путь, вышел член

Синедриона рабби Бен-Гамал, самый мудрый и самый хитрый из всех ста священников, входивших в Совет, приземистый и толстый, небрежно одетый, с клочковатой бородой и кольцами седых волос, которые, казалось, струились у него из ушей. Вместо тиары, подобающей его сану, голова рабби была покрыта порядком уже пропотевшей куфией, позволявшей предполагать под тканью обширную лысину. Рабби, как и Иосиф, опирался на простую палку.

Аримафянин замер на месте, ожидая, что вслед за рабби из-за камня появятся воины, но воины не появлялись, а на толстых губах Бен-Гамала появилась улыбка.

— Предатель! — выдохнул Иосиф, снова увидев Стефана, который двигался навстречу.

Бен-Гамал простер руку — он умел мгновенно становиться величественным и неприступным, чтобы затем снова быть просто добродушным и жизнелюбивым старцем.

— Не суесловь и не гневи Бога, достопочтенный Иосиф из Аримафеи! Здесь нет ни предателей, ни жертв предательства.

— А кто же я? — через силу усмехнулся Иосиф, ощущая слабость и принякая плечом и боком к камню. По его зернистой поверхности бежала зеленая ящерка, она застыла, часто дыша и затягивая пленкой глаза-бусинки.

— Достопочтенный рабби отыскал меня, чтобы я устроил ему встречу с тобой, — сказал, подходя, Стефан. — Он знает многое, и я не смог противиться.

— Разве достопочтенный рабби не мог подойти ко мне в галерее храма, на храмовом дворе?

— И ты пошел бы на разговор со мной? — прищурился Бен-Гамал и, не дождавшись ответа, наклонил голову к плечу, на миг прикрыл глаза веками. — Вот видишь... И мне пришлось на исходе жизни уподобляться вам в этих детских играх с прятаньем, тайными встречами...

— Не по нашей вине, — сурово вставил Стефан. — Учитель заплатил за доверчивость жизнью.

— Доверчивость тут не при чем, — во взгляде рабби мелькнуло нечто загадочное, как усмешка. — Как это ни глупо, но и Каиафа, и Арфаксад тоже принимают эту игру всерьез...

— О чем же нам тогда говорить, рабби? — спросил Иосиф.

— О будущем.

— Чем, рабби?

— Конечно, не моем. Мое мне, приблизительно, известно и представляет интерес лишь для меня... — Он повернулся к Стефану, подняв руку, пошевелил толстыми пальцами, как бы подыскивая нужное слово. — Оставь нас на время и отойди подальше, прошу тебя.

— Значит, речь о моем будущем? — Иосиф посмотрел влעד Стефану, который удалялся с униженным видом, и Аримафянин поймал себя на чувстве некоторого злорадства.

Рабби Бен-Гамал рассмеялся.

— Ваш Учитель так и не научил вас сознать себя одним целым. Для мира это хорошо, для вас — нет. Что ж, этому обучаются в общем-то быстро. Так о будущем тех, кто назвал себя учениками Иешу, идет речь. Ты не бойся, я не выдам твоей тайны.

— Я не боюсь.

— Не надо меня обманывать, я достаточно знаю людей, и нет большой гордости в том, чтобы задирать сильнейшего. Имя этому: глупость.

— Значит, нет и тайны.

— Той, которая была в пещере твоего сада, действительно нет, — прищурился Бен-Гамал, и Иосифа пронизало болью, как от укуса нубийской пустынной змейки, к которому присуждают иных преступников; по слухам, от такой змейки погибла царица египетская Клеопатра.

Иосиф рванулся к Бен-Гамалу, еще надеясь, что услышанное только почудилось ему, но как бы натолкнулся на изучающий и твердый взгляд.

— Ты сказал, рабби...

— Я сказал то, что сказал.

— Ты знаешь, кто это сделал?

— Это сделал я.

— Это неправда, — прошептал, отступая, Иосиф, не в силах смириться с мыслью, что опустошенная могила Иешу — дело рук вот этого старого и неопрятного человека, бывшего врагом Учителя по самим жизни своей, положению... — Ты лжешь, рабби!

— Тебе нужны подробности?

— Я убью тебя, Бен-Гамал! — Пальцы Иосифа скрючились, он уже почувствовал, как они стискивают

короткую и жирную шею этого чудовища-гробокопателя, осквернившего последний приют Учителя. Но он услышал тихое хихиканье, и руки опустились сами собой.

— Разве таким был завет Иешу из Назарета? Он ведь простил и прямых убийц своих, а на моих руках нет его крови... Нет и тех, кто выполнил мой приказ. Прости за то, что пришлось так обойтись с твоим воспитанником Маттафией. Но он молод, и все пройдет бесследно.

— Но зачем, зачем? — Если бы Бен-Гамал говорил о предпринятых им мерах собственной безопасности, если бы встретил угрозу встречной угрозой, Иосиф, вероятно, поступил бы иначе, а вот упоминание о заветах Учителя не только обезоружило Аримафеянина, но даже как бы и обессилело его. — Зачем, рабби?

— Если я скажу, что действовал только в ваших интересах, то я солгу... Слухи о воскресении распятого ширятся, и обязательно настал бы день, когда до могилы на твоей земле добрались бы. Не уверен, что ты остался бы жив...

— Я был бы счастлив умереть во имя Учителя, рабби.

— Может быть, и так, — пожал плечами Бен-Гамал, — но на этом и кончилась бы легенда об Учителе.

— Тебе-то что до нее, рабби?

Седые брови старого священника сдвинулись, он выпрямился и как бы стал выше ростом.

— Я надеялся, что объяснения не понадобятся... Ваш Учитель пришел не вовремя, и потому он должен был умереть. Но он был прав.

— Ты веришь в заветы нашего Учителя? — изумился и обрадовался Иосиф. — Значит, и ты, самый мудрый...

— Ты ошибаешься, — в голосе старика прозвучала усталость. — Я верю в Законы, по которым живут все люди, а не только Израиль или Рим... На пороге — смена времен, и рухнут прежние храмы, и погребут под собой многих. Кто придет на смену? Тот, кого вы называли Учителем, имеет право на грядущее!

— Я не могу не радоваться твоим словам, — медленно, прислушиваясь к самому себе, произнес Иосиф, — но кто дал тебе право судить? Или ты выше Бога?

И рабби Бен-Гамал как бы съежился, если бы так можно было говорить о грузном и приземистом старике,

в котором каждая черточка свидетельствовала о его жизнелюбии и терпимости. Несколько мгновений он молчал, опустив голову. Потом взглянул исподлобья, и взгляд этот был мрачен.

— Если я ошибся, то горе и мне, и вам всем... Прошу об одном лишь: в дни отчуждения, одичания, бегства помните о корне своем, об иудействе помните!

И, как бы, тут же забыв о своем собеседнике, Бен-Гамал отвернулся от него и поднял руку, словно подавая кому-то некий знак.

И действительно, среди дальних камней ответно поднялась и помаячила рука, и показалась человеческая фигура — человек спускался по тропе, и тут же Иосиф узнал Стефана.

Он подумал, что Стефан тут же проводит их обоих вниз, и уже с сожалением прикинул, что должен будет отдать старейшему своего осла, но Стефан показал жестом старому священнику, что последует за ним, а Иосифу шепнул:

— Иди наверх, там тебя ждут... А я скажу внизу, чтобы его задержали, пока солнце не начнет клониться к закату.

— Разве он не по своему желанию пришел сюда?

— Рабби Бен-Гамал был с немалым основанием заподозрен в том, что, публично говоря в синагоге о вреде гонений на нас, верующих в заветы Учителя, он в то же время утверждает и Каиафу, и Арфаксада в необходимости усилить преследования... Нужно было, чтобы он понял, что все его дела известны нам.

— Но я не сообщал такого...

— Есть в Синедрионе и еще некто, — скупно улыбнулся Стефан.

— Значит, вы открыли ему меня?

— Похоже, он знал о тебе. Впрочем, достопочтенный рабби напуган. Он был дружелюбен?

— Да, конечно, — Иосиф с грустью и горечью подумал о запутанных путях судьбы, на которых путнику чаще всего и не дано узнать: добру или злу он служил... Он сказал вслед Стефану, с шорохом катившихся каменной спускавшемся по тропе: — Мы стали вести себя, как мятежники...

— Нас вынудили к этому, — не оборачиваясь, отозвался Стефан.

Вершина Елеонской горы похожа на две пологих

ступени, направленных склоном своим в сторону Иерушалома — нижняя «ступенька» немного больше верхней и в середине своей имеет некоторое углубление. Лежащие по окружности камни небольшого размера, оглаженные ветрами, делают эту вмятину в рыжеватой, обожженной солнцем почве похожей на некий цирк. Именно эта мысль пришла и к Иосифу Аримафянину, когда он дошагал сюда по пути, указанном Стефаном. Потому что на камнях и возле них в жидкой тени сидели люди — человек сорок-пятьдесят. Они слушали одного, который говорил негромким голосом, то и дело запинаясь, как бы помогая себе движениями тонких рук.

К «цирку» тропа вывела сзади сидевших, и никто не обернулся на шорох шагов. Иосиф на всякий случай набросил на лицо край своей широкой и темной одежды, спустился немного между двумя камнями и тут уловил, что «цирк» обладает определенными свойствами: камни словно задерживали звуки, даже усиливали их, а чуть в стороне эти звуки глохли. Возле одного из камней Иосиф и остался, поглядывая на крохотную тень, которая уменьшалась чуть ли не на глазах.

— ...кровью распятого за нас и воскресшего из мертвых на третий день, — говорил оратор, в котором Иосиф узнал брата Иешу Иакова, — мы обручены навечно, и нам завещано нести слово Учителя всем, погрязшим в незнании и неверии...

Речь звучала торжественно, и Аримафянин подумал, что погибший брат Иакова умел говорить самые сложные вещи просто. Но говоривший был братом Учителя, и вряд ли нашелся кто-нибудь, кто решился бы упрекнуть его за излишний пафос.

Всматриваясь в слушавших Иакова, Иосиф узнавал многих из учеников Иешу. В ту пору, когда Учитель вещал слово свое в городах и селениях Иудеи, Галилеи и Самарии, когда ночевал на случайных постоялых дворах, в домах тех, кто заинтересовался проповедью, попросил совета, а то и просто под открытым небом, рядом с ним постоянно находились самые верные, самые надежные. Их называли «Двенадцать», хотя верных и надежных возле Учителя бывало и больше двенадцати, и меньше. Но так уж повелось, ибо, во-первых, у многих племен и народов эта цифра священна; во-вторых, иные племена всякий счет ведут именно на дюжины; в-треть-

их, на постоянных дворах столы для общей трапезы позволяют садиться за ними только двенадцати — по пять с каждой длинной стороны и по одному на концах... В-четвертых, и в римских войсках «десяток» — десять солдат, а сверх того декан и его помощник. Так что как бы ни колебался счет бывших возле Учителя верных, говорилось о них «Двенадцать». Впрочем, у каждого такого — из десятка или двух — ученика были особые заслуги. Хотя бы и такие, что эти ученики были первыми.

Вот они и сидели сейчас полукольцом перед Иаковом: Симон Петр и брат его Андрей, Филипп и Нафанаил, и сыны Зеведеевы: Иоанн и Иаков. Немного правее сидели бывший сборщик податей Матфей и бывший сотник-центурион из вспомогательных войск — Савл. Эти двое пользовались особым авторитетом, поскольку не принадлежали к тем, кто так или иначе был обижен жизнью, обделен. Правда, были и другие, кто в той или иной степени вкусил жизненных радостей, получившие образование, знакомые с греческой культурой, побывавшие даже в Антиохии, а то и в Александрии. В число учеников Иешу их привели все-таки в самом начале не раздумья о несовершенстве мира, а житейские невзгоды, надежда на поддержку.

Савлу и было предоставлено слово после того, как Иаков закончил свою речь, бывшую торжественной аполгией Иешу, которого он называл теперь «Христос», а не по имени, и не Учителем.

— Братья! — провозгласил Савл, и голос его, привыкший к военным командам и распоряжениям, вызвал оживление среди сидевших, ибо вселял определенную бодрость. — Отныне мы не просто те, кто учился у Христа-Мессии Закону Господа-Бога нашего, а мы — община, от которой родятся другие общины! Наш Учитель говорил: «Не мир я принес, а меч!», но этот меч — Заветы Учителя, которым завоевать бесчисленные сердца! Наша община пока не имеет имени — мы пока только «братья». Так будем же семьей нового Завета! У нас есть Старейшина, есть Распорядитель Трапез, есть Податель Милостыни, есть Совет Посланцев, множится и число Послушников, которые суть дети нашей общей Семьи... Одобряет ли община деяния наши?

И все сидевшие в «цирке» сложили ладони у груди и наклонили головы.

Иосиф поднял к губам согнутый указательный палец и крепко укусил его, и остался на коже глубокий багровый след, и слезы невольно брызнули из глаз — потому что подумалось Иосифу Аримафянину, что совсем мало прошло времени со дня смерти Учителя, а его последователи — хотят они того, или не хотят — уже выстраивают ритуал, создают иерархию, создадут и правила поведения, поначалу, конечно, идущие от необходимости скрываться, а там, глядишь, все станет тем самым, против чего и восстал Учитель. Неужели нет иных путей для людей?

Иосиф понимал, что не должен, не смеет так думать — все новое нуждается в утверждении, в укоренении — и Савл тут прав, безусловно. Но почему же все так похоже? Или потому что и люди похожи? И поэтому им необходимы и чудеса, и уверенность в том, что тот, кто возглавил их, не просто рожденный женщиной, а обязательно Мессия; что он накормит и напоит тысячи и сотни тысяч, утешит и избавит от болезней; и не умрет, а будет Отцом каждому несчастному в веках...

Страшно согласиться, но получается, что Бен-Гамал прав, и Иешу умер потому, что и должен был умереть. «Близится смена времен», — сказал Бен-Гамал. Но ведь придет смена и для того времени, приход которого ожидается сейчас... И тут единственное, что может спасти, — быть верным своему времени! Машинально потирая о колено болевший палец, Иосиф скользнул взглядом по неровным рядам спин и заметил справа, в глубине, вне полукруга «двенадцати», плавный изгиб узкой спины, тонкое и смуглое запястье... Бесспорно, это была женщина, а ведь женщины, как правило, являлись редкостью среди следовавших за Учителем. Кто мог считаться свободным? Только лишенный имущества, да и надежд тоже. А среди женщин? Бездетные вдовы, блудницы? Они и приходили туда, где останавливались для проповедей и отдыха в пути следовавшие за Иешу — для того, чтобы найти себе на время покровителя и кормильца, а если повезет — и друга, а может, и любимого... Было несколько женщин, которые удостоились внимания самого Учителя — что ж, Мариам из Магдалы и Мариам-самарянка остались верными Иешу до последнего его дыхания: самарянка протянула ему на Скорбном пути питье — как стало известно потом, он отказал-

ся — а Магдалина помогла снять мученика с креста, омыла его.

Кто была эта женщина? Горькая вдовица? Грешница? Пресытившаяся патрицианка? Молодая или старая?

Иосиф с трудом отвел взгляд от плавной линии узкой спины и осудил свою греховную суетность.

Между тем Симон Петр объявил, что место проклятого и исчезнувшего Иуды Кериофянина среди двенадцати самых близких к Старейшине посланцев должно быть занято, но на него два претендента. Поэтому приходится делать выбор, ибо оба претендента вполне достойны и заслуживают чести быть среди самых верных и надежных. Одни — Матфий-левит, служка из разрушенной землетрясением синагоги в Ашкалоне; второй Иосиф Варсава по прозвищу «Справедливый», ибо был в течение долгого времени хранителем казны. Оба успешно учили Слово Христову, а Иосиф Варсава, кроме того, подарил общине несколько сбереженных денариев.

Иосиф мысленно отметил, что к процедуре выборов готовились, ибо наготове оказались камешки — черные и белые, приблизительно одного размера — не хотелось думать об этом, но само собой вставало в памяти голосование членов Синедриона, когда речь шла о смертном приговоре Иешу и разбойникам... Здесь было проще: большее число тех или иных камней — черные обозначала Матфия-левита, белые — Варсаву — оказавшиеся в сосуде, давали право тому или иному войти в перечень «двенадцати».

«А ведь когда-нибудь и я удостоюсь этой чести», — подумал Иосиф, со странным чувством — не то досады, не то иронии — прикидывая, с каким количеством претендентов ему придется соперничать. Или его тогда введут в число избранных без соперничества, за заслуги?..

Когда пришла его очередь бросать камень в сосуд, Иосиф, пряча пальцы под широкий рукав, бросил в сосуд оба камня — черный и белый. Если разобраться, он не был знаком ни с кем из соревнующихся, так пускай для них будут равные возможности.

Но то, что равных возможностей никогда и ни у кого в мире не бывает, подтвердилось тут же: хоть Варсава и носил прозвище «Справедливый», его не выбрали. Когда сосуд опрокинули над расстеленным плащом, с первого же взгляда стало видно, что черных камней

больше. Вполне возможно, что виной всему было палящее солнце, и белый цвет напоминал людям об ослепительном сиянии лучей, о зное, а черный показался мил, как напоминание о благословенной тени... На глазах Матфия-левита выступили слезы счастья. К нему подошел брат Симона-Петра Андрей, обнял по-братски. Варсава стоял немного в стороне, опустив голову.

Иосиф медленно перевел взгляд с одного на другого и тут вдруг ощутил как бы прикосновение к затылку — так бывает, когда ночной мотылек заденет за самый кончик пряди... Иосиф обернулся — и увидел глаза, смотревшие на него пристально и как бы изучающе. Глаза были серыми, того неуловимого оттенка, которым отличаются ребристые округлости мелких ракушек, в изобилии попадающиеся на берегах Генисаретского озера — светлый пепел сгоревших благовоний, дымчатая серебристость... Это была та женщина, которую Иосифу недавно так хотелось рассмотреть. Под темной и грубой одеждой угадывалось тонкое и гибкое тело, лицо было чуть скуластым и смуглым, с широко расставленными глазами — как у египтянки. В первый миг показалось, что она совсем юная, но уголок пухлого рта чуть дрогнул, изогнулся, морщинка пересекла невысокий лоб. И сразу стало ясно, что это зрелая женщина, знакомая с радостью наслаждения плотью, познавшая мужчину, а может, и многих мужчин.

— Кто она? — вырвалось у Иосифа, хотя он ничего и ни у кого не намеревался спрашивать, ибо нелепо и даже кощунственно было бы даже думать о подобном в таком месте и в такое время.

В следующий миг незнакомка опустила покрывало и отвернулась.

— Она — танцовщица из языческого вертепа, — произнес грубый голос, и, повернув голову, Иосиф увидел кряжистого пожилого здоровяка, заросшего кольчатой смолистой бородой. Такие же черные кольца буyno выбивались из запаха его хламиды на груди. Судя по пятнам ржавчины на ткани, по въевшейся в кожу рук окалине, он был из тех, кто с утра до темноты ворочает в песке старые воинские доспехи, обновляя их для следующей продажи.

— Танцовщица?

— Так говорили, я слышал, только я не помню, кто и когда, — здоровяк — ремесленник не был говорунном,

речь ему давалась как бы с трудом. Вероятно, также неторопливо ворочалась и его мысль. — Их ведь много приехало в Иерушалом на праздники, а иные остались, чтобы люди платили им оболы за красоту и любовь.

— Но если она пришла сюда?.. — Иосиф размышлял вслух и чувствовал себя при этом весьма глупо, но ничего не мог поделать. Лицо этой женщины, ее откровенный взгляд смущали его.

— Ты хочешь сказать, что тогда она не грешница, да? — ремесленник заглянул Иосифу в лицо. — Но, может, она из тех, кто ходил еще вместе с самим Учителем, а?

— А ты? — спросил Иосиф, поскольку для него дико было слышать о времени жизни Иешу, как о чем-то давнем. — Разве ты недавно с нами?

Волосатое лицо ремесленника выразило смущение.

— Меня сегодня привел сюда вот он, — палец в черных крапинах от окалины показал на Иосифа-Варсаву, которой все еще стоял с сокрушенным видом, переживая свое поражение. — Жалко, что его обошел вот тот, носатый, я белый камень бросал, а ты?

— Мне тоже жалко, — сказал Иосиф Аримафянин, прямо не отвечая на вопрос, чтобы не осквернять уст ложью. — Так, значит, ты совсем новый здесь?

— Мне нравится, что у вас все просто, не то что у книжников в синагогах... Слушай, — волосатый понизил голос, — а это не тебя я видел в Храме?

— В Храме можно увидеть любого из жителей Иерушалома...

— Да-да, конечно, ты прав. Но ты человек, похоже, книжный, скажи мне: действительно христиане хотят разрушить все храмы в Израиле?

— Как ты сказал? — выкрикнул Иосиф. — «Христиане»?

— А что я такого сказал? Я обидел кого-нибудь?

— Да нет, вот это слово: «христиане»...

— Так люди теперь говорят... Если Учитель — «Христос», так и ученики его — «христиане»... Верно ведь? А он правда воскрес на третий день?

Волосатый уже, вероятно, забыл про свой первый вопрос: о намерении «христиан» разрушить храмы. Сейчас его интересовал ответ на второй вопрос и, видимо, очень интересовал: лицо застыло, и лишь вытаращенные глаза жили напряженным ожиданием.

— А ты как думаешь? — спросил Иосиф, размышляя о том, насколько, в сущности, проще и легче живется вот таким — сильным и доверчивым с разумом ребенка.

— Думаю, что воскрес. Потому что иначе люди знали бы, где он похоронен...

И тут Иосифу пришло в голову, что мудрый и хитрый рабби Бен-Гамал, вполне допустимо, и обманул его. Вполне вероятно, что Каиафа, в своей ненависти к бродячему проповеднику из Назарета исходил именно из своего знания вот таких простых и бесхитростных людей, как этот ремесленник, — таким же считал и самого Иешу. Каиафа понимал, что могила распятого «самозванца» может стать — рано или поздно — местом поклонения его сторонников, а вот отсутствие известного места погребения — как бы уничтожает саму память о нем. Первосвященник Каиафа хотел не допустить рождения мифа о воскресении Учителя, он думал, что рассуждение толпы — сложнее... А они — проще и всегда устремлены к небу...

Рабби Бен-Гамал распоряжался по личному приказу Каиафы — отсюда и такие редкие вещи, как одурманивающее средство для отрока Маттафии, голос его старшей сестры — так действовать могли лишь профессионалы.

Но рабби Бен-Гамал в то же время действительно поспособствовал укреплению легенды — рано или поздно сестра Иешу Марфа рассказала бы кому-нибудь о тайных похоронах на рассвете первого после казни дня...

— Ты правильно думаешь, — одобрил Иосиф.

— А вот еще говорят, с иудейством разорвать нужно...

— Это тебе сказал Варсава?

— Нет! Брат Варсава мне только из свитка читал хорошие слова о плевелах и добром зерне на поле... Это люди так говорят, что если храмы хотят разрушить, значит, против иудеев... Но ты вот — иудей ли ты?

Иосиф улыбнулся. Ему нравился этот немолодой человек, который был, как глина, годная и для кухонного горшка, и для светильника.

— Учитель учил, что нет среди детей Божьих ни иудея, ни эллина — перед его лицом все равны.

— Это-то хорошо, конечно...

Между тем, носивший теперь звание Старейшины

Иаков Назарянин провозгласил общее моление словами Нагорной проповеди Учителя, и все теперь стояли, скрестив руки на груди.

Иосиф любил слова Нагорной проповеди, ему был понятен, близок и дорог смысл, заложенный в них — торжественный и непререкаемый, как смысл самого существования человека, созданного Богом по своему подобию. И вместе со всеми Иосиф вслед за Иаковом повторял эти проникновенные слова:

— *Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.*

Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить на меня.

Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас...

Но Иаков, стоявший на некотором возвышении и провозглашавший каждую очередную заповедь, которую все повторяли затем хором, простер руку с поднятой вверх ладонью, прося тишины, глядя поверх всех собравшихся. Все повернулись, повернулся и Иосиф, мысленно досадуя на этот перерыв, ибо слова, которые он только что произносил, всегда как бы приподнимали его над землей, наполняли чувством надмирности, блаженства.

Среди камней на краю «цирка» стоял Стефан — стоял, держа руку на плече понурившегося человека, показавшегося Иосифу мальчиком — щуплого и узкоплечего, как бы неотчетливого своим телосложением из-за широкой и уродливой одежды, скорее лохмотьев, открывавших босые загорелые и грязные ступни.

— Горе тебе, Стефан, — громко, но срываясь на высоких нотах, сказал Иаков, — прервавшему заповедное слово, ибо ввергнуты мы в мирскую суетность!

— Горе и мне, и вам всем, братьям моим, и тебе,

Иаков! — в тон ему, но с нескрываемой злостью, отозвался Стефан, и толкнул человека вперед, шагнул вслед за ним, — потому что я поймал соглядатая, и может быть, срок до креста каждому из нас уже сочтен и отмерен!

И тут Иосиф в ужасе закрыл на мгновение глаза и затем открыл их — потому что нужно было продолжать жить, и нужно было решать нечто. Ибо на протоптанной тропе, ведущей в низину «цирка», стоял Маттафия, юный воспитанник и слуга Иосифа Аримафеянина, взятый им из храмового сиротского приюта, выросший в доме Иосифа и почитавшийся им почти за сына.

— Иди, ступай! — толкнул его в спину Стефан.— Будь же проклят мир, в котором на каждого ищущего правды приходится по Иуде! Иди, пусть братья увидят юность твою и глаза твои, служащие предательству!

— Смерть Иуде! — выкрикнул Симон Петр, с лязгом обнажая короткий солдатский меч, спрятанный до того под хламидой. Савл положил ему руку на локоть, заставил убрать оружие — в самом деле, при стольких мужчинах, почти на вершине пустынной горы, нужно ли угрожать мечом подростку?

— Стойте! — Иосиф Аримафеянин поднял руку и увидел, как расширились глаза Маттафии. — Этот мальчик — мой сын! Так его или меня нужно спрашивать?

Маттафия с громким рыданием упал в ноги Иосифу, обхватил его щиколотки, прижался лицом к запыленным сандалиям.

— Твой сын? — раздался чей-то хриплый голос. — Так, может, и ты Иуда?

Другой такой же хриплый голос одернул его, обругал приглушенно. Иосиф понимал, что тайны его пребывания среди учеников Иешу уже не существует; вероятно, последуют и другие изменения в его жизни, и кто скажет, что будет с ним дальше? Люди сходились со всех сторон «цирка», они смотрели на Иосифа, на мальчика у его ног. Иосиф ощущал, как дрожь сотрясает тело Маттафии.

— Встань, — наклонился Иосиф к мальчику. — И скажи, откуда у тебя эта одежда? Я никогда не видел ее у тебя.

— Мне ее дали, — ответил Маттафия.

— Кто?

— Я не знаю...

Стефан, презрительно глядя на подростка, и с нескрываемым подозрением — на Иосифа Аримафянина, говорил, размахивая руками и вскидывая глазами то на Иакова, то на тех из «двенадцати», которые стояли ближе других:

— Я и не заметил бы его, обходя гору!.. Если бы не скорпион, которого я увидел между камней — скорпиона я не убил, но когда стал выбираться обратно на тропу, сверху мелкие камни покатались, я голову поднял, а он за кустом затаился!.. И хламида-то, прямо под цвет земли — лазутчик проклятый!.. Слышишь? Отвечай, когда тебя спрашивают!

— Не кричи, прошу тебя, — сказал Иосиф.

— А почему не кричать? — Стефан упер кулаки в бока.— Не очень понятно получается: то ты беседуешь с мудрым рабби, который близок к первосвященнику, то твой приемный сын попадаетея на подглядывании и подслушивании...

— Твой разум затемнен гневом, брат.

Может быть, Стефан вспомнил, при каких обстоятельствах происходила встреча обвиненного им человека с Бен-Гамалом, и что послужило поводом для этой встречи; может, просто негромкий голос Иосифа образумил его, но Стефан провел ладонью по лицу, как бы стирая с него что-то, потом сплюнул, видимо, хотел выругаться, но только вскинул глаза к небу.

— Маттафия, — Иосиф поднял подростка, заставив его стоять, крепко взял за плечи, близко заглянул в глаза, заполненные слезами, испуганные.

— Я слушаю тебя, господин мой...

— Разве я заставлял называть себя господином? Что с тобой, Маттафия?

Плечи подростка вздрагивали, он молчал.

— Как выглядел тот человек, который велел тебе идти за мной?

— Он был в сером плаще, закрывал лицо.

— Он был старый или молодой?

— Он говорил тонким голосом, но он, наверное, был старше тебя... Он сказал, что тебе угрожает большая опасность, что тебя хотят убить...

— Кто?

— Злодеи, он сказал.

— Как же ты собирался меня защитить, Маттафия?

— Он сказал, что среди людей, окружающих тебя,

есть тот, кто защитит от злодеев, нужно только позвать...

Он вынужден скрываться...

— У него есть какие-нибудь приметы?

— Н-е-ет...

Стояла мертвая тишина, нарушаемая только звенящим стрекотом цикад в жухлой, выжженной зноем траве на верхних краях «цирка», и каждое слово вопросов Иосифа и ответов Маттафии были слышны и понятны каждому. Он отпустил плечи подростка, и тот опустился на корточки, стал похож на кучку старых и грязных тряпок. А Иосиф, повернувшись к людям, столпившихся вокруг, обвел их медленным и пристальным взглядом сощуренных негодованием глаз. И он видел, как люди под его взглядом как бы каменели, застывали и оживали, когда взгляд скользил дальше. Так он дошел до Стефана, описав полный круг, и Стефан пробормотал неуверенно:

— Он твой, тебе и решать...

Голос Андрея рассек тишину:

— Вы так ничего и не поняли, братья? Нас хотят сделать врагами друг другу! Хотят, чтобы мы не верили братьям, чтобы мы подозревали каждого в предательстве... Неужели эти ядовитые зерна упали в нужную им почву?

Стефан махнул стиснутым кулаком.

— Пускай мальчишка обманут, хотя зло во имя блага не перестает быть злом... Но вот он только что сказал, что среди нас есть еще один Иуда. Кто он?

Иаков, стоявший рядом, со скрещенными на груди руками, с опущенной головой, от чего спутавшиеся пряди свисали закрывая грудь и узкие, слабые плечи, поднял голову—в этот миг выражением глаз, обведенных синевой, впальми щеками он походил на Иешу незадолго до казни, только волосы Иакова были темнее, и каждая черточка в облике—резче.

— Иуда — это имя всякого зла! — медленно произнес Иаков.

— Истинно! — воскликнул Савл, перебивая мрачно торжественную речь Иакова и как бы продолжая ее, подхватывая высказанную мысль.

— Истинно возгласил брат Старейшина: это имя всякого зла, это тьма на пороге света, и она только и дает глазам и сердцу возможность увидеть свет и двигаться к нему... Если есть тепло, есть и холод; рядом

с подлинной истиной всегда будет ютиться ложь, а рядом с Христом — Антихрист. Не об этом ли предупреждал нас Учитель? Так нам ли бояться измены и предательства? Они лишь подтверждают, что Истина — с нами!

— Ты перебил меня, брат, — важно произнес Иаков, — но ты сказал именно то, что и я хотел сказать. Я прощаю тебе твою горячность... Мы не станем вести розыск — тем более, что это тоже может быть ложью... Пусть отрок, взятый в дом братом Иосифом из Аримафеи, священником и членом Синедриона Иерусалимского, останется с ним и с нами, ибо, как мы поняли, брат Иосиф ручается за отрока!..

«Ну вот, — подумал Иосиф, — вот и для всех остальных кончилась моя тайна, и безопасность, и польза для общины... Конечно, Иаков хотел завершить эту нелепую историю с моим мальчиком и одновременно показать, что делу Учителя верно служат даже в Синедрионе — об этом ему, конечно, сказали Симон Петр, а может, его брат Андрей, теперь неважно это... Правду сказал Стефан, что зло во имя блага не перестает быть злом... Хотя разумеется в этом случае, не зло, а лишь неразумие. Учитель был мудрее своего брата, но тут уж ничего не поделаешь!.. Как говорили эллины когда-то: «Здесь Родос! Здесь прыгай!»

И еще подумалось, что его собственная жизнь с того мига, когда перед Учителем появились воины храмовой стражи, чтобы схватить его и увести на муки и смерть, обрела неожиданные пестроту и стремительность — словно ему, Иосифу, оказалась подаренной частица энергетической силы Иешу... И Аримафянин почти догадывался о том, что стремительность, вернее всего, обретет свойства водоворота или даже смерча в пустыне Негев, и страшный вихрь этот непредсказуем по своим последствиям. Но — и здесь тоже «Родос»...

Слова же Савла — конечно же, самые разумные из всех сказанных здесь этими людьми, которые ему братья по вере в истину заповеданного Учителем — как бы приоткрыли перед мысленным взором Иосифа краешек глубины изреченного когда-то Иешу и по праву могущее принадлежать истинному Христу-Мессии, если такой уже появился или когда-либо появится: «Не мир я принес вам, но меч!» Ибо таково свойство человека, что и доброе не умеет он принять безоговорочно, и что злое,

но привычное — для него предпочтительнее доброго, но непривычного...

И он вдруг осознал, что тоже сидит на корточках и, обняв одной рукой Маттафию, другой гладит его по отросшим жестким волосам; и подросток доверчиво прильнул к нему.

— Ты снимешь и выбросишь эти тряпки, а я отдам тебе свою хламиду, когда мы уйдем отсюда.

— Хорошо, но я хотел бы уйти сейчас...

— Этого нельзя сделать.

— Почему? Разве эти люди не хотели плохого тебе?

— По незнанию, Маттафия.

— А разве незнание снимает вину? Я слышал, что некий человек помог другому спастись от гибели в быстрой реке, а оказалось, что он спас нарушившего Закон...

Иосиф улынулся через силу:

— А разве нечто подобное, только наоборот, не случилось только что с тобой? Твое незнание сняло с тебя вину, как видишь. Но могло быть иначе, могло...

— Это как?

— Если бы в твоих действиях была бы хоть какая корысть, Маттафия. Об этом есть все-все в Заповедях Учителя нашего.

— В каких заповедях?

— Еще узнаешь... Подожди! Брат Старейшина говорит что-то...

— Но он совсем не старый — почему же он «Старейшина»?

— Братья! — между тем говорил Иаков, торжественно обращаясь к общине, вновь рассевшейся по своим местам в «цирке» после недолгого смятения, некоторой растерянности, переброски репликами: и недобрыми, и настороженными, и шутливыми. — Братья! Повторим же священные для нас речения Нагорной проповеди Учителя, завещанные нам для передачи народу Израиля и народам всего мира! А потом, как это делалось при жизни Учителя, преломим хлеб нашей общей трапезы! Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, чем сделаешь ее соленой?..

— Кто эта женщина, которая так смотрит на тебя? — прошептал Маттафия, стискивая пальцами локоть Иосифа, самозабвенно повторявшего вслух вместе со всеми звучные, как гимн, слова Нагорной проповеди.

— Что? Какая женщина? — Иосиф с трудом вынырнул из завораживавшей душу реки слов.

— Вот та! — Маттафия показал вперед и вправо. Но Иосиф увидел лишь неотчетливо обрисованные — из-за широких и темных одежд — тела, брошенные на головы покрывала да кое-где приоткрытые кисти рук. И Иосифу подумалось не о женщине, о которой говорил подросток, а о том, что вот эти люди на окружности «цирка» среди разбросанных тут и там камней тоже похожи на камни — вечные на вечной горе под вечным небом... Ведь и камни — вполне возможно—когда-то были живой, мечтающей и страдающей плотью — чьей? Бог весть! Может, и вот эти слова были когда-то известны, а потом забылись... Что ж, значит, нужно делать все, чтобы они жили!

4

Может, и это только снилось?..

— Не уходи! Еще и звезды не стали бледными...— в шепоте Смарры были хмельная сладость, кружащий голову дымок благовоний, горьковатый привкус каких-то ягод, и томительная скользкость влажной и горячей плоти, которая никак не может насытиться обладанием. — Положи руку вот сюда, ты чувствуешь? А теперь вот здесь — губами... Ты ощущаешь, как они тянутся тебе навстречу; а теперь войди в меня, дальше, дальше, вот так, вот так! Вот та-а-ак, да!

А потом, когда Иосиф, задыхаясь, ощущая легкость, и торжество, откинулся, как бы выплывая на берег из обжигающих глубин блаженства и гибели, Смарра, со щекочущей ласковостью провела ладонью по его мокрому от пота груди и животу, и вот уже ее босые ступни на миг-другой издали шуршащий звук — по каменному полу — и вот уже затеплился слабый желтоватый свет, и тени метнулись по стенам, и ночная бабочка вспыхнула и исчезла в язычке пламени, который колебался над лампадой в ладонях Смарры — она медленно несла светильник, похожий на крохотную ладью, и все, что было ниже лампы, тонуло во тьме, и как бы не существовало, а выше — в золотом сиянии — золотыми были налитые жизнью груди, смотревшие сосками чуть в стороны, и темнела ложбинка между ними, а потом круглилась и расплывалась тень от подбородка, пушилась

копна волос, приоткрытые жадно и зовуще губы поблескивали влажностью, и глаза были — как два озера под звездами.

— Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, — пробормотал Иосиф, — и пятна нет на тебе...

И услышал в ответ, веря и не веря ушам своим:

— Положи меня, как печать, на сердце твое, как перстень, на руку твою; ибо крепка, как смерть, любовь; люта, как преисподняя, ревность, стрелы ее — стрелы огненные; она — пламень весьма сильный...

— Ты знаешь и «Песнь песней» великого Соломона? Кто же ты, Смарра?

— Я — Смарра, разве этого мало?

Какой была эта женщина, так неожиданно встреченная Иосифом Аримафянином сначала на тайной сходке последователей Учителя на Елеонской горе, а потом — на окраине Иерушалом, возле Дамасских ворот, где теснились похожие на соты или осиные гнезда клетушки для приезжих торговцев, бродячих комедиантов; где воняло бараньим горелым жиром, где готовили пищу, которую не станет есть верный Закону Иудей; где на шербатых плитах, напоминавших о временах халдеев и вивилонян, а может, и еще более древних, белеет соль от высыхающих луж верблюжей, ослиной и человеческой мочи?

Смарра была юной, как невеста, и зрелой, как уже рожавшая женщина; она была неловкой и угловатой, как девственница, и изощренно опытной, как священная проститутка в Антиохийских храмах богини Ашторет; она была, как эллинская статуя Артемиды, и как черная нубийская рабыня с невольничьего рынка в Хайфе; она говорила и пела на десятке, а может, и больше языков окружающего Иерушалом мира; она была черноволосой с оттенком синевы, огненно-рыжей, золотоголовой, белокурой, остриженной наголо и обритой до глянцево-сти небольшой и чуточку остроконечной головы, в парике, как у египетских и иудейских женщин...

В этом квартале неведомого ему Иерушалом Иосиф оказался совсем случайно. Пришел ходатай по тяжбам Езекия, которого Иосиф немного знал, и сообщил о некой вдове резника, содержавшей пекарню пресных лепешек, решившей часть своего имущества передать храмовой казне. Поскольку между римскими и местными властями, представленными духовной и светской иерар-

хиями, существовало давнее и упорное соперничество за право на отчуждаемое имущество подданных и паствы то первосвященниками было строго-настрого указано членам Синедриона: не упускать ни единого случая получить и засвидетельствовать любые средства. Посредники обычно получали некую долю. На это рассчитывал Езекия. Иосиф же вот уже около двух лет думал и о том, как помогать своим собратьям по вере в Учителя, а нынче, когда в Иерушалома возникла община последователей Иешу, иными называемых «христианами», — общине.

Но выяснилось, что вдова резника — старуха, весьма волевая и резкая в обращении, кроме того отличавшаяся завидным здоровьем, хотела лишь заручиться обещанием, что священный Синедрион Иерушаломский о ней не забудет... Показать свое раздражение и тотчас же уйти Иосиф не мог, ибо вдова, отличавшаяся еще и склонностью к мстительности, обязательно сострепала бы донос о недостаточном благочестии священнослужителя, о его невнимании к Закону и правилам, предписанным для каждого истинного иудея. Когда же Иосиф, мысленно желая вздорной старухе, чтобы тесто для ее опресноков прокисло, выбрался из ее жилья, выяснилось, что какие-то озорники отвязали и куда-то угнали его осла. Соседи вдовы оказались достаточно бестолковыми, утверждали, что озорники — школяры из динторы, хотя допускали, что, возможно, и не школяры совсем, а просто бездельники. Они утешали Иосифа — ведь поскольку у осла есть храмовое тавро, животное никуда не денется. И показывали направление, в котором был угнан осел.

Расстроенный Иосиф побрел в указанном направлении по кривым и узким улочкам. Солнце совсем склонилось к закату, залил небо оттенками голубого и розового, почти перестали звенеть и жужжать мухи, меньше стало зловоние, которым тянуло от караван-сараев и постоянных дворов, от потоков и ручейков, текших по уличным канавкам; и потянуло откуда-то запахами прививших трав и цветов; и больше стало прохожих. Торопилась куда-то принаряженная молодая женщина, за которой едва попевала служанка-рабыня с корзиной на голове. Спорили о чем-то торговцы, а покупатель между тем все принимался к большой рыбе... Ехал, ни на кого не глядя, полный презрения к грязным ту-

земцам на вороном коне римский центурион со своим жезлом из узловатой виноградной лозы, пристроенной в ременной петле у седла. Тяжелый боевой шлем римлянин держал в свободной от поводьев руке, подставляя коротко остриженную голову начинавшейся прохладой. Двигались посреди улицы десять-двенадцать фарисеев, рассуждая о каких-то лишь для них интересных истинах — вероятно, на очередной спор о вере в ближайшую синагогу: сходились и расходились складки их темных и широких одежд, развевались ленты-завязки высоких тиар...

Сопровождаемый множеством зевак, катился со скрипом несмазанных высоких колес караван халдейских прорицателей и астрологов — качались над нескладными повозками шесты с загадочными эмблемами, скалились черепа неведомых животных, пестрые лоскутные завесы откидывались, показывая любопытным то отсвет огромного кристалла, в котором, видимо, можно было прозреть будущее, то желтое крыло какой-то странной птицы, то чучело огромного крокодила, то змею с человеческой головой... Иосиф вспомнил, что однажды в Синедрione велась ожесточенная полемика о том, что необходимо запретить въезд в Иерушалом всех, кто способен смутить душу правоверного иудея, соблюдающего Закон Моисея — жителю ли священного города увлекаться пустыми зрелищами, присущими лишь дикарям и язычникам? И уже был готов свирепый указ, угрожавший всем склонным к пустым забавам страшными карами — вплоть до пустынных каменоломен до ослепления. Но сумел убедить и первосвященников, и всех аскетов, заседавших в Синедрione, все тот же мудрый рабби Бен-Гамал. Он спросил только: «Когда в котле кипит вода, можно ли удерживать в нем пар или нужно все-таки снять крышку?»

И тут, в толкотне, возникшей на перекрестке, где халдейский караван остановился, чтобы пропустить толпу черных паломников — видимо, из Йемена или из Эфиопии, Иосиф Аримафянин вдруг сообразил, что забрел в незнакомую часть города, где таким, как он, служителям Храма просто нечего делать — и для достоинства накладно, и опасно, ибо жили и промышляли здесь те, кто по тем или иным причинам оказался выброшенным из лабды обычной жизни. Невольно Иосиф ошупал кожаный кошель, свисавший под одеждой с пояса, наде-

того прямо на голое тело — кошель был цел. И Аримафянин мысленно усмехнулся собственной промашке, поскольку весьма редко поддавался искушению, а тем более простому любопытству.

Он свернул в сторону, чтобы выбраться на обратный путь, отметил, что уже начали сгущаться сумерки, что стало гораздо многолюднее, что толпа говорлива и громкоголоса, что густыми стали запахи чеснока и подгнивших овощей, грубых и дешевых благовоний — здесь жили, веселились и решали свои вопросы простые и чужеземные люди, которых во все времена было на окраинах Иерусалома великое множество. Кто-то ухмыльнулся в лицо человеку в одежде иудейского священнослужителя, кто-то бросил вслед ему непонятную фразу, вызвавшую громкий хохот — впрочем, ничего враждебного во всем этом не было, скорее насмешка, недоумение...

И, если бы в уши не вонзилась странно завораживавшая постоянно менявшимся ритмом мелодия, исполнявшаяся на чем-то напоминавшем флейту, Иосиф Аримафянин никогда не остановился бы. Но в тягучем очень высоком по тону звуке звенело какое-то невысказанное страдание. И так не вязались с ним возбужденные мужские выкрики, теснящаяся толпа, задние в которой привставали на цыпочки, заглядывали вперед... Они заворачивали недовольно, когда Иосиф оказался среди них, но с трудом расступились, видя на нем священническую одежду, хотя кто-то бросил нечто, похожее, предостерегающее.

Иосиф увидел освещенный двумя дымными факелами провал низкого помещения, похожего на пещеру, пристроившегося в сумрачной глубине дальнего угла музыканта, а посередине — большой, сильно истертый, но все еще яркий ковер. И на нем — обнаженную танцующую женщину. В первый миг он видел только маленькие ступни, потом округлые колени и стройные бедра, нежный и нервный живот, как бы вырастающий из смолисто-черной пушистости лона, вздрагивающие виноградины груди с торчащими в стороны темными сосками... Лицо было лицом спящей, которой снится сон, полный греховности... И тогда Иосиф узнал танцовщицу: это была та, которая присутствовала на молении общины последователей Учителя, которая так странно и непонятно смотрела тогда на него, Иосифа, больше всего озабоченного случившимся с Маттафией, о которой

говорил тот волосатый ремесленник... Тогда Иосиф впервые услышал слово: «христиане»...

Иосиф подался было назад, но в первый миг понял, что почти невозможно будет пробиться сквозь плотные ряды остро вонявших потом возбужденных мужских тел — реплики, возмущенные возгласы привлекут и ее внимание... А потом вспыхнуло в сознании, как ожог: она христианка, его сестра, — среди этого похотливо дышащего, разгоряченного стада. Что заставило ее жить именно такой жизнью? А потом его глаза встретились с ее как бы сонным взглядом, и сонливость исчезла из ее глаз, и чуть скуластое лицо как бы порозовело. И она взмахнула руками, на которых звякнули браслеты, изогнулась всем телом, как бы только ему, Иосифу, посвящая продолжение своего танца — и толпа заколыхалась, застонала, и к потной вони примешался терпкий запах семени.

Теперь танцовщица не просто кружилась, поднимая и опуская руки, мелко перебирая ступнями, привставая на пальцах — теперь она в своем кружении все больше откидывалась назад, расставляя ноги и сгибая их в коленях. И зуденье флейты уже не меняло ритм, а выводило нечто бесконечное, выматывающее в ожидании...

— Роза Иудеи!.. Роза Шарона!.. — забормотали вокруг голоса, называя то ли уже известный им танец, то ли выражая восхищение и экстаз.

Тело женщины на ковре уже было подобием мостика — волнистые, поблескивавшие волосы свисали между рук, упертых в ковер; лицо выглядело закинутым в любовной судороге, а раздвинутые бедра открывали кустистость лобка, начало ложбинки между плотно сжатыми ягодицами, показывали нежность кожи с внутренней стороны бедер. Груды откинули соски к плечам, и крохотные капельки пота бусинками поблескивали по полукружьям ребер.

В следующий миг женщина как бы сложились, одновременно падая на ковер — ноги ее переплелись, руки закинулись за голову, и тело изогнулось кольцом — она и в самом деле стала похожа на огромный диковинный цветок. Флейта оборвала нить мелодии на высочайшей ноте.

— Смарра! — единым голосом выдохнула толпа. На ковер посыпались мелкие монеты, финики, несколько дешевых колец. Теперь женщина легла удобнее, при-

поднялась, опираясь на локоть, стал смотреть на толпу мужчин с ленивым интересом — на россыпь монет и на кольца она и не смотрела даже. Иосиф, изнемогая от мучительного томления во всем теле, которое оскорбляло его сознание и с которым он ничего не мог поделать, пытался поймать взгляд женщины — казалось, встретиться они сейчас взглядами, и он сразу же поймет нечто, что и будет истиной. Но глаза ее как бы не видели его.

И вышел вперед высокий костистый старик с седой бородой и большим крючковатым носом — судя по одежде с медными украшениями, киликиец. Из складок хламиды он выудил три или четыре динария и, хвастливо глянув на затосковавшую толпу, похотливо облизнул тонкие губы. Увидев динарии, музыкант с готовностью ринулся из угла, начал жестикулировать, мыча и открывая рот — и Иосиф увидел в провале рта музыканта прыгающий обрезок языка.

Старик костлявой ступней в растоптанной сандалии коснулся ноги женщины, как бы заявляя свое право на нее, и она подняла глаза, усмехнулась — получилось заученно и как бы с сожалением и упреком.

Иосиф, ощущая болезненные удары крови в виски, бросился вперед, оттолкнул удивившегося старика-килийца, выдернул из-под одежды свой кожаный кошель, и швырнул его под ноги немому музыканту. По толпе возбужденных и разочарованных мужчин прокатилось подобие стоны, который можно было понять и как радость по поводу посрамления столь неприглядного покупателя тела Смарры и как обычную зависть обойденных самцов.

Немой торжествующе замычал, мгновенно подхватил кошель, заблестев глазами при ощущении его тяжести, затем схватил женщину за руку и толкнул ее к ногам Иосифа. И она подняла к нему ликующий взгляд.

Наверное, все это все-таки снилось, но сон продолжался, и не было ему конца. Позднее Смарра сказала, что не знает, кто она по крови — в памяти осталось почти неясное видение морского берега, изнуряющих зноя и жажды, каких-то людей в звериных шкурах, которые гнали их — пленников... Вероятно, тогда она лишилась родителей. Ее покупали и продавали, обучали в языческих храмах, отдавали на ложе каким-то людям, среди которых были добрые и ласковые, были и грубые и жестокие, которые делали ей больно, мучили ее. Не-

сколько раз она убегала, ее ловили и наказывали. Она видела мир, жила и в Риме, бывала в Антиохии и Одессе, посещала Коринф и Фессалоникию, выступала на сцене театра в африканской Великой Лептис, в Сабрате... Она выкупила сама себя, некоторое время была любовницей магистратского чиновника в резиденции римского куратора в Кесарии Стратоновой...

— Как я опустилась до этого вонючего притона? — спросила Смарра, лежа рядом с Иосифом и жадно отхлебывая разбавленное вино из плоской чаши, — а чего еще заслуживает та, которая после всего, что было с ней в жизни, вдруг поверила в любовь и отдала все, что имела некоему игроку в кости?

— А в мою любовь ты могла бы поверить? — Иосифу все казалось, что случившееся было не с ним, а с кем-то другим, который рассказывает ему об этом.

— В течение этой ночи? Конечно, возлюбленный мой! Между прочим, ты слишком много дал этому негодю, хватило бы и одной десятой...

— Я выкупию тебя, Смарра!

— Это ты сейчас так говоришь... Ты добрый и ласковый. И я благодарна тебе за то, что ты не отдал меня этому вонючему киликийскому козлу... Когда я увидела, как ты повел себя с твоим воспитанником, я сразу поняла, что ты — добрый. А ведь добрых людей мало...

— Ты — сестра моя по вере в Учителя, Смарра.

— А как же с заповедью: «Не прелюбодействуй»?

Иосиф смотрел на женщину с мукой во взгляде, ибо она отдавалась ему со всей силой своей страсти и в то же время как бы со слезами, смеялась над ним, говоря так, как не говорили бы и самые умелые и злые спорщики в синагогах.

— Не говори так, Смарра. Прелюбодеяние ли любовь?

— Но сказано ведь Учителем вашим...

— «Вашим»?

— Не надо так смотреть на меня... Сказано Учителем: «Ибо, если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?»

Она смеялась тихонько, и колено ее скользило по его бедру, и он вздрагивал, как от боли, и желание снова наполняло его.

— Впрочем, — сказала она, когда рассвет с прохладой входил в эту пустую комнату, видевшую многих

постояльцев, — нам обоим награда, ведь мы обречены быть врагами друг другу...

— Разве я могу быть врагом тебе? Да и почему?

— Хотя бы потому, что твой названный сын Маттафия сказал правду тогда...

— О чем ты, Смарра?

— О том, что это я должна была прийти на помощь. Только не Маттафии, а тем, кто пришел бы, чтобы схватить вас всех — учеников Иешу. Я ведь теперь точно знаю: кто есть кто и у кого какое настоящее имя...

— Ты клеветешь на себя, Смарра! Не делай этого!

— А может, я устала уже и не хочу жить в мерзости? — она и вправду как бы вырывала из себя то, что словно мешало ей, не давало дышать. — В самый первый раз я отдала за любовь все, что имела... А что мне отдать сейчас? Что ты можешь получить в награду, а? А такая правда, наверное, стоит и тех динариев, которые ты заплатил за меня... Это моим был тот голос, которым обманули твоего названного сына Маттафию... Тебе знакомо имя Арфаксада? То-то! Значит, теперь ты поверил мне? Не беспокойся, твоего имени я им не называла...

— Но оно было им известно и так...

— Да-да, конечно! Иначе как бы?.. Смешно! Ты заплатил за меня больше, чем получил Иуда за вашего Учителя.

— Ты знала Иуду?

— Меньше, чем тебя. Он был скупым и жадным, а всегда хотел большего от женщины, чем она способна дать... Арфаксад умен, он умнее и рабби Бен-Гамала, и он никогда не тронул бы Учителя, но Каиафа думает, что он в силах задержать наступление иных времен... Вас будут брать по одному, чтобы не привлекать внимания населения Иерушалома, не создавать мучеников... Открытая казнь Иешу была глупостью.

— Когда будет моя очередь? — спросил Иосиф.

— Может быть, самая последняя, если мне не удастся вымолить твою жизнь.

— А если не удастся, что будет с Маттафией? Разве он заслужил смерть?

— Она рано или поздно ждет всех, разве не так? И правых, и виноватых... Но Маттафию я спасу. Хотя бы в память о тебе. Ну, иди ко мне, ближе, ну, что же ты?..

Иосиф Аримафеец прижался лбом к прохладному камню стены, и показалось, что стало легче, что головокружение и тошнота ослабели, уходят. Солнце находилось уже на такой высоте над горизонтом на Востоке, что красноватое золото переливалось через зубчатые стены города, заставляло светиться крыши и верх стен ближних домов, затекало сквозь узкие окна и как бы растворялось в своих робких возможностях — переключалась последняя ночная стража, покидая башни, ей на смену к воротам двигались дневные караульные, сборщики пошлины. Со скрежетом раскрывались огромные, окованные бронзой ворота.

Двое пастухов в широких и длинных рубахах с полосами, похожих на арабские галабеи, вместе с большим остроухим псом гнали к воротам стадо овец, и животные столпились у отвода от бассейна Давида, в котором отсвечивала зеленью вода. Пастухи не спешили, и это, как ни странно, помогло животным самим установить свой порядок — овцы быстро утоляли жажду, отходили, уступая место другим. Эта непритязательная сцена позволила Иосифу собраться с мыслями, чем-то умилила и растрогала его. Вспомнилось, что Учитель любил, когда во время его скитаний с учениками доводилось бывать на пастушьих становищах, а то и ночевать в шатрах из шкур — брать на руки ягнят, прижимать губами к их пушистым лобикам, ласково дуть в смешные мордочки...

Он дождался, когда стадо отправилось дальше и, пошатываясь, направился к водопою — кажется, один из пастухов оглянулся, увидел человека в одежде священника, что-то сказал своему товарищу, и тот тоже оглянулся, засмеялся чему-то... Иосиф наклонился над каменным желобом и опустил в холодную воду лицо, несколько мгновений не дышал, как бы проникаясь свежестью, а потом выпрямился, смахнул капли с лица, снова наклонился и жадно напился.

Сколько заповедей он преступил со вчерашнего вечера? И какие заповеди оказались нарушенными?.. Легко ли убить человека, которому только что отдал всего себя? Легко ли, мгновенно сменив страсть на ненависть, сжать пальцы на горле, ощущая как рвутся хрящи, рвутся мышцы, как останавливается дыхание и тело

сотрясается судорогами? Или вонзять лезвие ножа под ту самую грудь, которая еще как бы хранит жар твоих поцелуев, и на губах твоих еще солоноватый привкус кожи, терпковатый ее аромат... Или краем плоской чаши, из которой только что по очереди пили разбавленное вино, утоляя жажду после наслаждения друг другом, бить с размаха в висок — с прилипшим к телу иссиня-черным завитком?..

Он не убил ее. Оглушенный всем только что услышанным, Иосиф какое-то время находился как бы в подобии беспометства. Как бы издали он слышал тихий смех Смарты — нет, не издевательский, а как бы переводящий все в мир вымысла несуществующий мир.

Потом наступило — пока он одевался — долгое молчание. Потом она отчаянно крикнула вслед:

— Постой! Не уходи!

Иосиф был грешником, нарушившим почти все заповеди, которые были оставлены Учителем. И от того, что он не пожелал осла ближнего, легче не становилось. В делах жизни своей он предал Учителя, отрекся от него — в неизмеримо большей мере, нежели Симон Петр, который сделал это лишь на словах, проявив недолгое малодушие. Да и было ли это, или только перешептываются завистники, которые, увы, случаются и в недобром?

...Снилось, снилось — не могло это все быть наяву! Иосиф Аримафянин стиснул руками виски и застонал — он предпочел бы любую иную боль той, которая сейчас терзала его.

— Достопочтенный, тебе нужна помощь? — услышал он робкий и тревожный голос и увидел мужчину в кожаном переднике, тащившего какую-то громоздкую медную посудину, бородатого, с потеками грязного пота на выпуклом загорелом лбу. — Может, тебя обокрали злодеи? Или тебя укусил скорпион? В этом случае хорошо приложить к укушенному месту тряпку с горячим маслом...

— Спасибо, мне ничего не надо, почтенный.

Иосиф шел из одной улицы в другую, и встающее солнце светило ему в спину, он постоянно ощущал тепло, которое медленно усиливалось, и все ярче становилось освещение всего того, что открывалось перед глазами. Было странное чувство приезжего, который впервые для себя открывает пока не знакомый ему город —

что-то он сравнивает с тем, что знает по другим местам, что-то для него не очень-то интересно, но большинство из встречаемого ново и захватывающе. Именно так чувствовал себя Иосиф Аримафянин, хотя, прожив в Иерусаломе почти двадцать лет из своей сорокалетней жизни, знал и любил здесь многое. И не в том было дело, что на каких-то окраинах и на каких-то дальних улицах ему не доводилось бывать в силу своей принадлежности к определенному и привилегированному сословию — дело было в совсем иной, нежели прежде, перспективе, в которой он стал видеть окружающее с минувшей ночи.

Так, вероятно, осознают себя те, кто однажды узнает, что болен неизлечимым недугом. Такой человек внешне ничем не отличается от любого иного человека и может делать все, что делают другие, но он уже обречен. Можно кричать и бесноваться, можно философствовать и усмехаться, можно быть гордым и высокомерным, но рано или поздно неотвратно настанут день и час, когда его болезнь станет видна всем. И мир, оставаясь для всех прежним, отшатнется от него, станет совершенно чужим, враждебным.

Кто-то, конечно, пожалеет; кто-то подаст милостыню, а кто-то брезгливо плюнет вслед...

Утро стремительно наполняло город суетой и шумом продолжавшейся жизни. Раскрывались двери лавок и лавчонок, менялы, которым всегда не до сна, как старым мужьям при молодых женах, раскатывали свои коврики, на которых стояли отполированные доски с колонками всевозможных монет, маленькими брусками золота и серебра, которые в ходу в Каппадокии и Парфии, странными квадратиками из цветной кожи, служащими в качестве денег на иссушенных зноем берегах Чермиого моря, пестрыми ракушками, похожими на змеиные головы, которыми расплачиваются там, где нет сплошной земли, и голые, раскрашенные люди живут на жарких островах, и бальзамируют головы убитых ими врагов...

Уже пахло приготавливаемой едой, женщины визгливо перекрикивались, лаяли собаки, кричали ослы; надзиравший за порядком страж в кожаном шлеме-колпаке, с длинной палкой, похожей на укороченное копьё, пил что-то прямо из горлышка сосуда, который наклоняла для него молодая женщина, по виду служанка, и

страж гладил ладонью ее спину. Надсмотрщик вел куда-то десятка два рабов понурого и голодного вида, а позади них гремела повозка с заступами и кирками, в которую была запряжена кляча.

Возле Храма с белыми широкими ступенями, ведущими к полукруглой арке входа, в тени кипарисов и ливанских, кронами издалека похожих на облачка слоистого темно-зеленого дыма, кедров толпились молодые люди в широких одеждах, перебрасывались неторопливыми репликами, обменивались жестами, полными достоинства и надменности, — из тех богомольных и нетерпимых к иноверцам бездельников и щеголей, которых немало сходится у храмов и дворцов Иерусаломы, чтобы присутствовать при появлении первосвященников, обмениваться новостями и сплетнями, заключать при случае выгодную сделку... Ходили слухи, что именно эта публика сетовала на то, что нет в Иерусаломе обычая раздавать народу деньги и тессеры-таблички на различные даровые товары, как это водится в императорском Риме. К счастью, Синедрион осудил и эти слухи, и саму возможность таких раздач...

Все произнесенное им и Смаррой в течение минувших ночи и утра, билось в сознании Иосифа, как бьются ласки в клетке помощника жреца языческого храма Аштарот, обреченные на сожжение живьем. Слова любви и похоти, откровения, воспоминания, лжи и правды... И вспомнилось со стыдом, что говорилось и о Маттафии, но не говорилось, что он, несомненно, терзается в доме названного отца и воспитателя своего, не зная, почему тот не пришел на ночь, что случилось с ним, ибо тот, кто напуган однажды, уже не забудет о своем страхе, и страх этот всегда сильнее за близкого — не за себя.

Иосиф остановился неподалеку от Храма — чтобы отдышаться, и не желая проходить мимо толпившихся бездельников, чтобы не отвечать на их лживо-почтительные приветствия, не вызывать ненужных толкований о своем посещении этой части города. Он подозвал мальчишку-водоноса, и тот с готовностью наполнил кожаный стаканчик тепловатой водой.

— Кедронская вода слаще меда, достопочтенный! — мальчишка надеялся, что человек в одежде священнослужителя выпьет и второй стаканчик, не пожалев лишней лепты.

Но Иосиф и так уронил на мокрую ладошку две медные монетки и отвернулся, и водонос, решив, что вторая монета попала к нему по рассеянности этого человека, явно не очень страдавшего от жажды, поспешил уйти.

Иосиф напряженно смотрел на мужчину, пересекавшего вымощенную мраморными плитами крохотную площадь перед Храмом, не зная: окликнуть его или не делать этого. Потому что мужчина был Стефаном. После того, что произошло в «цирке» на вершине Елеонской горы, Иосиф испытывал к Стефану стойкую неприязнь, хотя и понимал, что это чувство совершенно неоправданно, что слишком многочисленны и сложны причины, побудившие Стефана действовать именно так. Он ведь и сам был жертвой тех же обстоятельств... Кроме того, Стефан направлялся куда-то по своим делам, и не известно было, стоило ли его окликать и останавливать? Повод воздержаться от этого был, и в то же время Иосиф прекрасно понимал, что хитрит сам с собой; что поддается далеко не из лучших человеческих чувств — чувству обособленности. И, все-таки повинувшись ему, Иосиф сделал шаг назад и оказался под навесом от солнца у лавки сирийского торговца-ковровщика. Здесь пахло сухостью шерсти, немного красителями — солонатово, как морская вода, — нардом и камедью. Цвета узоров на коврах были сумрачно-блеклы, преобладали синий и лиловый, тускло-оранжевый и зеленый...

Какая-то непонятная суета возникла у Храма — мотались широкие одежды людей, взлетали руки, и не видно было Стефана, словно нырнувшего в водоворот из столпившихся богомольных бездельников. На миг они расступились, и стало видно, что Стефана держит за руки кряжистый, густо заросший бородой, мужчина. В нем Иосиф с внутренним содроганием узнал того ремесленника, с которым он разговаривал на Елеонской горе и который впервые для Иосифа произнес слово «христиане». Теперь этот «ремесленник» держал Стефана, и тот тщетно пытался вырваться. Кто-то из богомольцев ударил его по голове, и долетел отчаянный крик — то ли гнева, то ли...

— Опять? — рядом с Иосифом стоял, почесываясь, пузатый и низкорослый, пропахший бараньим жиром и сладостями торговец коврами.

— Что «опять»? — спросил Иосиф.

— Поймали одного из этих... Вчера одного тут неподалеку затоптали. Бешеный вы народ — иудеи, досто-почтенный.

— Ты сказал «этих»...

— Ты, видно, давно не был в Иерушаломе, досто-почтенный. Великий Ирод возвел храм Сиона, а эти смутьяны хотят его разрушить. Одного, самого главного из них, уже повесили на кресте, теперь до остальных, добираются. Наша Аштарот милостивее, она и других богов терпит... Не ходи туда, достопочтенный, эти не боятся и самого первосвященника вашего хулить...

Возле храма стояли крик и вой; видно было, как ле-тели камни. И торжествующе скакал на широких бе-лых ступенях волосатый «ремесленник», потрясая в воз-духе стиснутыми кулаками.

Иосиф, не помня себя, двинулся туда, где клубилась свалка, но сириец поймал его локоть, и, оказавшись весьма сильным и напористым, заставил вернуться под навес.

— Если они убьют и тебя, достопочтенный, разве тебе будет лучше? У каждого свой срок — так говорят наши звездочеты... Не надо искушать судьбу, боги это-го не любят. А смиренного они всегда готовы простить и помиловать.

Слова «простить и помиловать» ворвались в созна-ние, утвердились в нем и как бы расслоили сумрак ужаса и безысходности. Да, простить и помиловать — но смиренного, готового на все, чтобы искупить свою вину; чтобы до конца дней своих быть верным Запове-дям Учителя и служить тому, чтобы нести их людям...

Сегодня же он, Иосиф Аримафеянин постарается увидеть Симона Петра или брата его Андрея и через них договориться о немедленной и тайной встрече всех, кто входит в общину учеников Иешу. Он покается перед всеми, честно и открыто расскажет обо всем, что произо-шло с ним. Уже понятно, что Общине в Иерушаломе сейчас не жить — нужно расходиться в иные пределы: в Египет, в Сирию, к Эллинам; может быть, и в Рим, чтобы проповедовать Истину, нести свет учения Иешу другим народам, создавать новые общины. И уже по-том, когда-нибудь, возвращаться в Иерушалом — чтобы строить Храм новой веры.

Если братья простят его, позволят служить общему делу, то и он, Иосиф из Аримафеи, возьмет Маттафию

и уйдет туда, куда пошлет его Община, доживающая последние часы. Пускай хоть к сарматам и дакам, пусть к германцам или галлам, пусть к диким кельтам... И он не станет даже протаться с Иерушаломом, чтобы вернее возвратиться в него.

Иосиф еще не знал, что он никогда не вернется в Иерушалом.

Кесарю — кесарево

1

По Авентинскому мосту проходили воины со всем своим походным хозяйством, и Велизарий, как и многие другие, шагавшие по собственным надобностям, был вынужден томиться в стороне, у низкого парапета ограды, поглядывая то на мутные до желтизны воды Тибра, то на воинские ряды. Ночью был небольшой дождь, так нужный окрестным земледельцам в эту пору года. И солнце еще пылало невысоко над близкими холмами Кампании, и не слишком много поднимали пыли солдатские калиги, и не тянуло вонючим потом и прелой кожей амуниции, не покрикивали центурионы, подгоняя нерадивых, и волы, впряженные в повозки легионного обоза, бодро переставляли копыта. Было понятно, что когорты только-только покинули свои казармы, чтобы спустя многие дни пути сменить своих товарищей где-нибудь в Паннонии, в Галлии, а может, и у Парфянских пределов — если предписано когортам свернуть на дорогу к Путеолам, чтобы затем сесть на корабли...

Велизарий невольно вспомнил, как несколько лет назад он шел встречной дорогой — из Путеол в Вечный Город — вместе с такими же, как и он, путниками, лишь по милосердию всемогущего Бога избежавшим страшной гибели. Велизарий поморщился: проклятая память все злее и злее играет с ним в какие-то странные игры — «несколько лет назад...» Уже давным-давно божественного Тиверия сменил другой божественный август, а ему на смену во имя величия Рима и для блага народа квиритов и всех подвластных ему народов и племен пришел новый божественный император, да будут счастливыми и долгими его дни и годы! Впрочем, имен-

но последнее событие произошло недавно, оно и побудило Велизария отправиться к Палатинскому холму, на котором золотом и каррарским мрамором сияет императорский дворец.

По обе стороны предмостного участка дороги скопилось уже много ожидавших возможности перейти на другую сторону Тибра: сытые и добротнo одетые домашние рабы из пригородных вилл, посланные своими хозяевами или хозяйками за покупками; уличные торговцы съестным, ибо еще действовал давний, еще времени гражданских войн, указ о запрете на продажу еды по харчевням — дабы не собирались в них люди надолго; мастеровой люд, а также те, кому предписано было селиться лишь на окраинах Рима, за оборонительными стенами и рвами... И Велизарий с величайшей горечью в душе подумал, что вот уже и состарился он, а все еще принадлежит к таким отверженным. Но тут же воспрянул духом, ибо сказано: «Стучите, и отворят вам», да и всякий новый кесарь по воцарении торопится явить подданным милостивую улыбку — все остальное придет потом, позже.

Мелькнули, правда, две не слишком-то приятных мысли: первая о том, что за минувшие годы воцарялись и другие кесари, но милости их были весьма выборочными и весьма краткими; и вторая — что «Стучите, и отворят вам» говорилось когда-то тем, о ком вспоминать не слишком-то хотелось... Но мелькнули эти мысли, и ушли.

Потому что прошагали через мост легионные плотники, проехал на коне претор, и служители при жертвоприношениях богам и при экзекуциях на повозке миновали, — и мост открылся. И за оседающим облачком рыжей пыли — все-таки не могло обойтись без пыли — открылся всегда захватывавший дух у любого приезжего вид Вечного Города.

2

Иной, прожив столько в Риме, слившись всем существом своим с обычаями и повадками обитателей Вечного Города, усвоив его говор и даже простонародный жаргон, давно бы махнул рукой на административные условности и рогатки, которые не очень-то и мешали тем, кто узаконенным римским гражданином не яв-

лялся, но был свободнорожденным и порядков откровенно не нарушал. Кто только ни ютился в окраинных — трущобных кварталах Рима, представители всевозможных народов и племен, попадались среди них и беглые рабы, и покалеченные, отпущенные на свободу гладиаторы... Они ухитрялись как-то жить, порой и не очень скудно, приторговывали чем-придется, приворовывали, при бесплатных раздачах съестного в дни Сатурналий потоком катились в город, могли запросто стянуть, а то и отнять у зазевавшегося плебея, но полноправного гражданина-квирита тессеру-табличку на получение пособия... Но все они относились с недоверием и неприязнью к иудеям и тем, кто поклонялся бродяге, распятому в далеком Иерусалиме в царствование божественного Тиверия и названному Христом.

Велизарий тоже не любил христиан, но вся беда заключалась в том, что настоящее его имя было Элезар бен-Аарон, и родом он был из этого самого далекого Иерусалима. И мечтой всей его жизни, уже, похоже, подходившей к концу, было удостоиться римского гражданства. И навсегда вычеркнуть из собственной памяти все, что относилось к прошлому. Ибо, занимаясь потихоньку и без жадности обменом денег на окраине для тех, кто не мог или не хотел делать это у городских менял, Велизарий — Элезар бен-Аарон сумел скопить кое-какую сумму и при получении гражданства перебрался бы внутрь городских стен, приписался бы к одной из плебейских триб, купил бы молоденькую рабыню и, может, родил бы наследника своего нового имени — римлянина!

Кое-кто из неглупых соплеменников Велизария, сумевших пристроиться к городским влиятельным менялам, а также в качестве казначеев при комициях и прочих столичных учреждениях, посмеивались над Элезаром бен-Аароном и его мечтой стать римлянином. Они говорили:

— Принести жертву Юпитеру, конечно, можно, если уж так хочется, но что можно сделать с обрезанием? Разве можно сделать вид, что его не было?

Он старался как можно меньше общаться с ними, продолжавшими жить по Моисеевым заповедям, то и дело подвергаясь гонениям, выбирая в пору Сатурналий из своей общины молодого и сильного еврея, который на потеху римлянам должен был голым трижды обежать

вокруг города... О более мелких поношениях и говорить не стоило. И тем не менее не стремились эти люди — и умелые, и умные, и ловкие — к римскому гражданству.

Такую высокую честь — как было всем хорошо известно — можно и купить, заплатив огромные деньги. Именно так поступали многие в Римской провинции Сирии, во входивших в нее Галилее, Самарии и Иудее. Возможно, сложись все иначе, поступил бы именно так и Велизарий. Но когда он был молод, у него не было ни денег, ни заслуг перед римской властью; теперь у него есть и то, и другое, но он уже стар, а власти всегда страдают забывчивостью и склонностью к неблагодарности. Теперь дело в принципе — тем более что пролетевшие годы не вернешь. И остается лишь добиваться своего — заслуги его были признаны еще при божественном Августе, а вот результаты утонули где-то в канцелярских бумагах.

И вот теперь Велизарий направлялся в сенатскую курию, где у него был знакомый писец-скриба, пообещавший выяснить все обстоятельства, связанные с прохождением когда-то поданного прошения. Скрибу звали Требонием, когда-то он служил в Себастиийской когорте IV легиона Фульмината в Иудее, была у него наложница-иудейка, о страстности и верности которой он сохранил самую добрую память, кроме того Требоний любил темное и густое палестинское вино и мог выпить его целую амфору сразу.

Амфору с таким именно вином Велизарию обещал, за вполне умеренную цену торговец Аврум бен-Аврум из лавки близ храма Дианы-охотницы, если с улицы Кожевников свернуть в переулок Скифских ножей, название которого никто толком не мог объяснить. Можно было предположить что, получив такое редкое подношение, Требоний не станет излишне куражиться.

На мосту и затем на Авентинской улице, по которой в конце концов можно было выйти к Большому цирку и к храму Весты у начала дороги Аппия, Велизарий двигался в довольно плотной толпе — она постепенно рассасывалась, растекалась по соседним улицам и проулкам — и Велизария то и дело толкали, нередко бросая вслед беззлобные, в сущности, привычные ругательства. И Велизарий молчал, постепенно наливаясь горечью и злобой, хотя и понимал, что такое настроение — плохая помощь для предстоящего важного разговора:

нужно быть общительным и дружелюбным. Если бы его мечта была осуществлена, он мог бы крикнуть любому:

— Не смей касаться меня, я римский гражданин!

А пока все окружающие видели невысокого и неказистого очень пожилого человека с горбатым и вислым носом, с черными миндалинами глаз, что указывало на восточное происхождение их владельца, одетого в темную, лишенную каких-либо украшений ткань. При этом невысокий, неказистый и носатый человек и двигался с осторожностью, которую можно было бы назвать и робостью — так держат себя люди, постоянно чего-либо опасаящиеся, и это не может не накладывать особого отпечатка на весь их облик. Что ж, Велизарий никогда — даже во сне — не забывал, что он обладает статусом всего-навсего жителя восточной провинции, ожидающего решения некой юридической инстанции — статусом весьма зыбким, могущим быть измененным в худшую сторону в любой момент.

И со жгучей завистью в сердце он провожал взглядом — нет, не носилки с патрицем внутри подобия домика, завешенного тканью, не всадника с узкой пурпурной полосой на подоле белой тоги и с золотым перстнем на руке, — а самоуверенного и даже нагловатого плебея, который, если разобраться, был одет беднее Велизария, и жил, возможно, скуднее, и надежд на улучшение не имел, но вот — поди ж ты! — шагал, задрав нос и шлепая по каменным плитам растоптанными сандалиями, и знать никого не хотел. Римский гражданин! Несправедливыми были всемогущие боги, в которых Велизарий — Элеазар бен-Аарон в общем-то и не верил — ни в Иудейского, ни в римских идолов, ни тем более в распятого Иешу, объявленного его безумными последователями Христом-Мессией и сыном Божьим.

Хотя, если следовать логике, придуманной когда-то язычниками-эллинами, определенный смысл в христианском суждении по этому поводу имелся: если все человечество — суть дети Божьи, или некоего Демииурга, как там его ни называй, то, конечно же, Иешу из Назарета — сын и Человеческий, и одновременно Божий.

Похоже, тем, кто в свое время неистовствовал против появившегося в Иерусалиме очередного пророка, просто не хватило едкости ума и определенной насмешливой критичности. Что опасного увидели в проповеди более строгого соблюдения всех тех же Законов Моисея,

к которым добавилась проповедь необходимости веры в грядущее воскресение... Что плохого в том, что люди хоть чуточку оградятся от ужаса перед собственным полным и неизбежным исчезновением?

Или — попросту — верх взяли дураки-начетчики и торговцы-обманщики всех мастей, которых новый пророк гнал из Храма? Как им было отказаться от прибылей и привилегий, которые казались им и законными, и вечными?

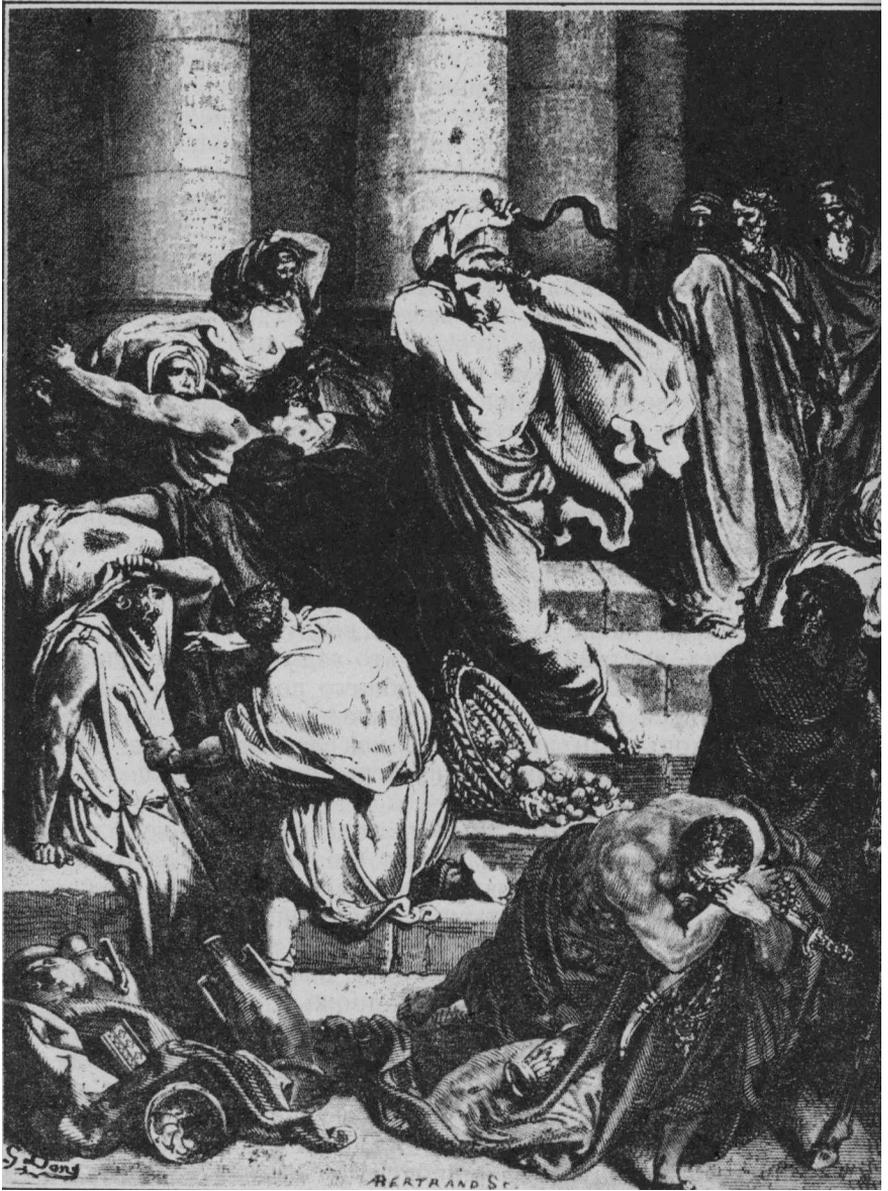
И не догадывались они, что и проповедники новой веры, нового учения тоже очень скоро станут торговать в храмах, ибо человек есть всего-навсего человек, и жизнь его коротка. Впрочем, по-своему гонители Иисуса-Назарянина и его учеников были правы — именно потому, что жизнь необыкновенно коротка, и, по существу, равна усилиям, затраченным на ее поддержание и сохранение.

И тут Велизарий внезапно вскрикнул от острого ожога, полыхнувшего поперек правого плеча и пронзившего все его существо — он отшатнулся, и мимо, обдав ветром и шумом, пронеслась колесница императорского курьера с перьями белой цапли в жезле. Бич возницы взвился уже впереди, шелкнул в воздухе. И Велизарий сообразил, внутренне холодея, что задумался настолько, что сделал шаг в сторону от общего потока пешеходов, прижавшихся к стене дома, и едва не оказался растоптанным копытами пятнистого, как леопард, коня, раздавленным окованными бронзой колесами. Зеваки смеялись.

— Эй, обрезанный! Ты хотел заступить дорогу известиям для императора, да будет его мощь всегда равна мощи Юпитера!.. Или ты понял наконец свое ничтожество и решил рассчитаться с собственной презренной жизнью?

Не обращая внимания на эти выкрики, Велизарий постоял немного, справляясь с дрожью, вытер обильно вспотевший лоб краем широкого плаща-паллия. И подумал, что излишне самоуверенной была его недавняя мысль о том, что всякая жизнь равна усилиям для ее сохранения и содержания — всемогущая Судьба с помощью бича возницы напомнила о вреде самоуверенности. В нее-то, Судьбу, и верил Велизарий — Элеazar бен-Аарон — в нее единственную.

С того самого дня, когда неожиданно — вот как этот



удар бичом по плечу — узнал, что его отец — не умерший давно торговец молитвенными покрывалами-галлитами Аарон бен-Шлойм, а никогда до того не виданный им Иегуда бен-Симон, родом из города Кериофа.

3

До тех пор все было понятно: потому и жили они в пределах земли Храма Иерусалимского, ибо те, кто ведал здешними обширнейшим хозяйством и всевозможными службами, помнили про Аарона бен-Шлойма, трудившегося во славу Бога и Храма его и платившего положенное Храму, и чтившего Закон; скудно жили, но была крыша над головой, и овечий сушеный помет для очага, и спелые смоквы можно было собирать в храмовом саду, а в праздничные недели помогать священникам собирать подношения, а также по осени участвовать в сборе оливок на плантациях за Кедроном... И надеяться, что счастье, возможно, все-таки, улыбнется и удастся стать хотя бы одним из многих уборщиков Храма — что-что, а хлеб-то тогда будет надежным, а на праздники и динарий-другой...

Потому и стоял в тот час Элезар перед своей матерью — напряженный как тетива лука, двенадцатилетний подросток, которого из-за его худобы и малого роста принимали за десятилетнего, жалели.

— Откуда он взялся? Почему ты молчала?

— Я не думала, что он вернется ко мне... К нам, — мать заплакала, наклонила голову и стала похожа на старуху, хотя ей было совсем немного за тридцать. И Элезар тогда подумал, что мудры слова молитвы, в которой всякий истинно верующий еврей благодарит Создателя за то, что тот не создал его женщиной. И тут же Элезар мысленно одернул себя, ибо стоявшая перед ним старая женщина в черном была его матерью.

— Но как это случилось?

— У твоего покойного отца не было братьев, а я была совсем молодой...

— И люди знали об этом? — Все-таки, Элезар был мужчиной, и он должен был относиться к женщинам со строгостью, но справедливо.

— Иегуда, да будет с ним мир, умел быть осторожным...

— Как видно, не слишком, — усмехнулся Элезар,

постепенно привыкая к положению не сироты, как это было всего считанные минуты назад; и в то же время мысленно прикидывая, что может сулить им такое изменение. — Кто он?

— Тогда он был сыном менялы и одно время управителем отцовского хозяйства...

— Мог бы объявиться и пораньше!

— Зато он сказал, что теперь мы будем счастливы. Он не знал, что у него есть сын, он видел тебя спящего...

— Зачем ему понадобилось приходиться крадучись? За эти годы он стал калекой?

— Он такой же красавец, как и прежде, — зарумянившись, сказала мать.

— Значит, я удался в тебя, — не удержался Элеазар. Грубостью он старался прикрыть смятение, переполнявшее его душу. Что сулила перемена? Он не очень-то верил, что мужчину, когда-то сделавшего его мать своей наложницей, спустя столько лет снова повлекло к ней. Может, и в самом деле, тайна этого события в нем — сыне, о котором этот Иегуда бен-Симон прежде не знал. А как он узнал об этом?

— Он сказал, что придет завтра, — сообщила мать, явно довольная тем, как ее сын отнесся к неожиданному известию.

— Что ж, — улыбнулся Элеазар, — если мы не получили особой радости во время великого праздника Пасхи, то, может, нам достанется что-нибудь сейчас, а?

— Как ты суров, — вздохнула мать.

А все получилось на редкость гладко и даже торжественно. Правда, не был так внезапно объявившийся отец Элеазара красавцем — скорее был тем, кто в толпе как бы растворяется, становится незаметным. Особенно если прикроет рыжеватые кудри. Но держаться Иегуда бен-Симон умел — когда следовало, сиял обаятельной белозубой улыбкой; когда следовало, сдержанно хмурился; одобрительно озарялся, глядя на сына; был смущенно нежен, когда поворачивал голову к его матери. Он как бы и не заметил скудности праздничной трапезы, восхитился дешевым вином, разбавленным водой в кратере с трещиной; с удовольствием преломил ячменную лепешку, отведал и овечьего сыра, купленного за несколько сбереженных оболов у сирийского караванщика.

Может, вспомнив слова Элеазара про праздник Пас-

1

хи, в дни которой им не хватило радости, мать сказала, глядя затуманенным взором:

— Если бы все это было во время празднования!..

И Элеазар поразился мгновенной перемене, случившейся с его обретенным отцом — лицо Иегуды бен-Симона стало жестким, словно окаменело, глаза сузились, и косточки стиснутых в кулаки пальцев побелели — Элеазар невольно обратил внимание, что наружные стороны кистей его отца густо поросли рыжеватой шерстью.

— Вы были в дни Пасхи здесь?

— Но ты ведь спрашивал уже об этом, — удивилась мать и положила ладонь поверх кулака Иегуды, заставляя его разжаться. — И я сказала, что по повелению старшего писца Синедриона мы вместе со священниками и слугами посещали пастушью стойбища, которые принадлежат Храму, там читалась святая Книга, готовились праздничные трапезы... Но и вправду было бы еще лучше, если бы нынешняя встреча случилась именно тогда, разве нет?

— Не знаю, — Иегуда бен-Симон повел плечом, как бы вздрогнул и оглянулся. Раз и другой. — Говорят, здесь в Иерусалиме было беспокойно...

— Мы ничего такого не слышали.

— Разве люди не говорили? — Иегуда бен-Симон пристально посмотрел в глаза Элеазару, затем его матери, потом снова — сыну. — Неужели вы ничего не знаете?

— Но о чем?

— Да как будто какой-то безумец из Галилеи объявил себя сыном Бога и царем израильским, подбивал народ разрушить Храм...

— Но это же преступление, — сказал Элеазар. — Этот человек и вправду безумец...

— И страшный грешник! — Иегуда бен-Симон поднял палец. — Перед народом и Богом Израиля! Говорят, он был взят храмовой стражей вместе с разбойниками и грабителями, рассчитывавшими поживиться в дни святой Пасхи. Они присуждены Синедрионом к смерти, и прокуратор римский утвердил приговор, и преступники были распяты. Неужели вы ничего не слышали об этом?

— Мы живем тихой жизнью, — сказала мать. — Но ты рассказываешь все это так, как будто присутствовал при этом...

— Я тоже люблю тихую жизнь, и меня всегда вол-

нует, что есть люди, которые стремятся навредить другим, Мы покинем этот город, в котором столько неожиданного и опасного, мы будем жить простой и счастливой жизнью, у нас будет земля, будут работники...

И, отвечая на недоуменный взгляд матери Элеазара, Иегуда бен-Симон вытащил из-под одежды кожаный кошель и тряхнул им — послышался мгновенный и нежный звон монет, который никто и никогда не спутает с другим звоном.

— Ого, — сказал Элеазар, — так ты богат, отец?

И он тут же подивился мысленно той легкости, с которой — неожиданно для него самого — сорвалось с языка слово: «отец». Несомненно, оно удивило и обрадовало и Иегуду бен-Симона. Он засмеялся, провел кончиком языка по пересохшим губам, сделал глоток вина.

— Это еще не богатство... Если бы я был осмотрительнее в юности... Никогда не мечи кости, сын мой, не бейся об заклад и не ищи друзей среди тех, кто тяготеет к чаше или блюду... Но мы будем богаты, начало этому уже положено!

— Сколько же здесь? — тихо поинтересовалась мать, и Элеазар подумал, что она с удивительной быстротой привыкла к своему новому положению, словно забыла о вчерашнем дне, поверила в прочность сегодняшнего.

— Тридцать больших серебряных, всего пока только тридцать.

— Много...

Иегуда бен-Симон снова засмеялся — уверенно и самодовольно, словно намекнул, что это — в кожаном кошеле — нечто незначительное, а гораздо большее — еще впереди, и обязательно.

А на следующий день, когда Элеазар встретил возле храмовой ограды своего так неожиданно и счастливо обретенного отца, вызванного зачем-то в Синедрион, произошло непредвиденное. Обросший дикими спутавшимися волосами, в грязи и коросте и оттого неведомого возраста человек выскочил из миртовых зарослей и, как хищник, бросился на Иегуду-бен-Симона, пытаясь когтистыми пальцами схватить его за горло. Остро пахло давно не мытым телом.

Но Иегуда бен-Симон словно ожидал нападения — он ловко вывернулся из жилистых рук неизвестного, сильным ударом опрокинул его на землю, зычно крикнул:

— Стража!

И храмовые стражники скрутили нападавшего, и он как бы повис на собственных вывернутых локтях, запрокинул голову, похожую на огромный клубок растрепанной пакли, блеснул белками выпучившихся от напряжения глаз, прохрипел:

— Будь проклят, Иегуда бен-Симон! Вечное проклятие на тебе и на семени твоём, предатель!

Тупой конец короткого копья стражника ударил схваченного в грудь, и он задохнулся, выхаркнув кровавый сгусток.

— Почему он сказал так? — спросил Элезар, когда они шли по кипарисовой аллее, в которой было сумеречно, как вечером, хотя в небе ярко сияло солнце.

— Мало ли на свете безумцев? — Иегуда бен-Симон сделал презрительный жест, но в сощуренных его глазах Элезару померещилась тревога, как будто он готовился к тому, чтобы снова отразить чье-то нападение.

— Но ведь он назвал твоё имя...

— Мир устроен так, — Иегуда бен-Симон наклонил голову так, как это делали раввины, толкующие в иешиве самые первые главы святой Торы, как бы приоткрывая завесу на подступах к вечной истине, — что быть хорошим для всех невозможно! То, что хорошо для одних, ненавистно другим.

— А заповеданное Моисею Богом на горе Синайской? Высеченное на скрижалях Завета?

Иегуда бен-Симон хмыкнул, потрепал Элезара по плечу.

— Ты задаешь вопросы, как фарисей-книжник. Когда научишься и отвечать на них, то считай свою жизнь обеспеченной!.. А ответ такой: заповедано большинству народа Израиля, который хочет прочности бытия в той жизни, которая сейчас. И это большинство всегда право. Его и держись, ему и служи.

— Этот человек говорил как иудей...

— И среди нас есть отступники и разбойники, но ведь их ничтожно мало...

— Мало и тех, кто на самом верху власти.

— Ты можешь быть ловким спорщиком, сын мой. Берегись! Словоблудие не лучше любого иного блуда... А что касается тех, кто на самом верху власти, то они всегда — воплощенная сила большинства. И потому тоже всегда правы. Кто думает так, тот никогда не про-

игрывает. А разве тебе хочется быть среди проигравших или отставших в беге?

Элеазар вспомнил их прежнюю жизнь с матерью и мысленно согласился: выигравший никогда не откажется от выигрыша.

4

Две недели спустя он стоял на каменистой земле поля, дарованного по решению Синедриона неподалеку от Кесалона, рядом с дорогой на Иоппию через Гизер и Лод — стоял над безжизненным телом Иегуды бен-Симона, так неожиданно обретенного и так же неожиданно потерянного своего отца. И теперь уже не верилось, что тот был действительно отцом...

С попутным караваном торговцев, которые намеревались из Иоппии плыть на Кипр и дальше — в Фессалонику, Иегуда бен-Симон отправился вступать во владение обретенной землей, чтобы на месте рассчитать все, что понадобится для дальнейшего обустройства. Элеазару было велено тоже с попутным караваном — они двинулись в этом направлении постоянно — через несколько дней привезти воду, кое-что из закупленных заранее припасов.

Кто теперь мог сказать, что произошло здесь, или это было той самой случайностью, которая рано или поздно подстерегает каждого из живущих? Иегуда бен-Симон лежал под сенью установленного на дальнем краю поля полосатого шатра, и потому с дороги никто и не мог увидеть что-либо. Лежал ничком, подтянув правую ногу, словно собирался прыгнуть куда-то, впившись растопыренными пальцами в землю. На краях оскаленного рта запеклась черная кровь, копошились муравьи. Какие-то мошки облепили остекленевшие глаза.

Элеазар вспомнил, что законник при Храме так и не засвидетельствовал, что отныне подросток может именоваться Элеазаром бен-Иегудой, мысленно укорил этим свою мать и побрел к дороге, чтобы позвать возможных свидетелей, а то и тех, кто согласился бы, согласно Закону, отсидеть положенное возле усопшего и лишь затем предать его земле. Дождей не было давно, земля затвердела, и не было на ней ничьих чужих следов, которые говорили бы, что совершено преступление.

Первый же караван был арабским, и Элеазар не стал обращаться за помощью, ибо давней и глубокой была неприязнь между арабами и Израилем, жившими в тесном соседском соперничестве — известно ведь, что ненавидеть ближнего всегда легче, нежели дальнего.

Следующая партия торговцев была из самарийского Дефана — хоть и чуждых по верованиям и обычаям, но близких по изначальному корню, по языку. И старшина каравана — грузный и краснолицый, в сером от пыли хитоне — повелительным жестом остановил мерное движение брезгливомордых верблюдов, нагруженных тюками.

— Тебя постигло истинное горе, мальчик... Как имя твоего уважаемого отца? Если он из менял, то я могу знать и его родственников.

— Он родился в Кериофе, уважаемый. Его имя Иегуда-бен-Симон.

Широкое лицо старшины торгового каравана покраснело еще больше, оно налилось кровью.

— Не он ли предал сына галилейского плотника, обвиненного в злоумышлении на власть первосвященников и распятого в первый день Пасхи?

И перед мысленным взором Элеазара всплыло заросшее дикими волосами лицо безумца в храмовом саду, его выкатившиеся глаза, и в уши вонзился страшный хрип: «Вечное проклятие на тебе и на семени твоём, предатель!»

— Я... Я не знаю, — Элеазар попятился.

— Да, конечно, — старшина огладил бороду, недобро блеснул глазами. — Есть люди, которые носят одинаковые имена, таких немало... Ты, похоже, незлой человек, да и молод еще... В нашем деле дорог каждый час, а иудею нужны единоверцы...

И он махнул рукой караванвожатому, и верблюды двинулись мимо Элеазара. Дорога же до горизонта, за которым был Иерусалим, оставалась пустой, как глиняная чашка нищего.

Элеазар возвратился к шатру, закусив губу и жмурясь, перевернул тело отца, на котором не было никаких явных повреждений, увидел, что под ним на земле поблескивала россыпь монет — значит, преступление здесь не совершалось, ведь если эта смерть кем-то замыслена, то и деньги были бы унесены... Следующим днем

была суббота, и помнились суровые и беспощадные слова Экклезиаста о том, что живая собака лучше мертвого льва, и потому Элеазар взял привезенный отцом заступ, и вырыл на краю поля неглубокую яму, ибо по малолетству не так уж и много сил у него было. Да и день начинался клониться к закату. Потом, кое-как обмыв мертвеца — воды было, само собой, в обрез — и закутав одеждой, привезенными Иегуде бен-Симону на смену, его тело, засыпав могилу и прочитав над ней заупокойную молитву.

А потом пересчитал найденные деньги — это были те же серебряные монеты, которые позвякивали совсем недавно в кожаном кошеле, вот и кошель этот валялся поодаль... Монет было ровно двадцать пять — пять из них, Элеазар знал это, были истрачены на праздничные угощения, на новые одежды для Элеазара и его матери, вот на этот шатер, на заступ, на кое-какие припасы, оплату караванщиков, и еще оставалась горстка медных оболов. Что же все-таки случилось с Иегудой бен-Симон в его одиночестве на полученном поле, далеко от Иерусалима и довольно близко от дороги на Иоппию? Несомненно, что он в миг смерти пересчитывал деньги... Говорят, бывали случаи, когда люди умирали и от радости, но это когда радость внезапна...

5

Если к счастью не успеваешь привыкнуть, то горе недолговечно. Кроме того, очень скоро выяснилось, что Иегуда бен-Симон, родом из города Кериофа, в свое время пустил по ветру доставшееся ему наследство, задолжал и в течение ряда лет прятался от заимодавцев в пещерах за Иорданом, сойдясь с людьми, жившими общиной и называвшими себя ессеями. Потом Иегуда примкнул к группе Иешу-Иисуса, сына плотника Иосифа из галилейского Назарета, который призывал к очищению водами Иордана, как и всем известный в ту пору Иоканаан, но шел дальше него, ибо требовал более строгого соблюдения заповедей Закона. Его последователям особенно нравилось, что Иешу проповедовал бессмертие некой части человеческой сущности и вечную жизнь, ибо «В доме Господа обители многие суть...»

После недавних волнений в Иудее, после жестких мер, предпринятых тетрархом Иродом и римскими вла-

стями против мятежников, после того, как из-за опасности на дорогах стоимость меры зерна возросла чуть не вдесятеро; а стоимость оливкового масла — еще больше, а стоимость труда упала, поскольку в такую тревожную и ненадежную пору мало находилось желающих строить или улучшать уже построенное. Люди богатые старались уехать на Кипр, в Киликию или Каппадокию, где жизнь была спокойнее, а то и к эллинам. И много бродило неприкаянных людей по всем четырем царствам Израиля, слушая проповедников, возвеличивая и развенчивая пророков, следуя за теми, кто нравился больше, что-то обещал, вселял надежду на лучшее. И все больше росла слава Иисуса-Назарянина, ибо умел он рассказывать притчи на весьма многие жизненные случаи, умел по справедливости рассудить спор рыбаков на Генисаретском озере, умел добрым и тихим словом умерить гнев вспылчивого, навеять умиротворение душе... И уже ходили слухи о том, что Иешу-Иисус способен творить чудеса и воскрешать мерших, называли имя некоего Лазаря, которого Иешу оживил, имена женщин, из которых он изгнал бесов.

И, видя склоненных перед сыном назаретского плотника людей; видя их готовность омыть ему запыленные ноги и умастить их; стремление позвать в свой дом и угостить лучшим, что имелось, Иегуда бен-Симон размышлял о том, что и он сам ничуть не хуже и не глупее Иисуса, а во многом и опытнее, и мог бы тоже добиться всеобщего поклонения. Тем более что Иисусу это поклонение, судя по его бескорыстию, и не требовалось совсем — Иегуда же, конечно, сумел бы его использовать гораздо лучше и полнее.

Он попробовал проповедовать перед людьми и понял, что ничего у него не получается — говорить Иегуда умел, но люди ему не верили, они называли его обманщиком и однажды едва не побили камнями. И он возненавидел Иисуса-Иешу.

Когда тот пришел к великому празднику Пасхи в Иерусалим вместе со своими учениками, и люди приветствовали нового проповедника, тайная стража Синедриона и бесчисленные толкователи Закона при Храме Иерусалимском встревожились — первые боялись возможных беспорядков, крайне опасных при огромных скоплениях народа; вторые побаивались того, что у них прихожан станет меньше. Тайная стража умела разби-



раться в людях, и очень скоро Иегуда бен-Симон согласился свидетельствовать о злоумышлениях Иисуса против власти божественного кесаря и первосвященников иудейских, и тетрарха Иудеи. А так как публичные казни всегда снижают накал массовых страстей и вносят успокоение на определенное время, то вместе с двумя пойманными грабителями был приговорен к смерти и Иисус — всех троих распяли на холме, где всегда и проходили подобные экзекуции. А Иегуда бен-Симон получил награду.

Все это сильно повзрослевший за последние недели Элеазар узнал от того самого человека, который когда-то возле храмовой ограды бросился на его отца, обвиняя его в предательстве, сыпля хриплые проклятия. Он и теперь выглядел таким же диким и запущенным, был одет в рубище нищего, сидел в тени каменных пилоэстеров храмовой лестницы — в толпе таких же нищих и убогих паломников, калек, постоянно собиравшихся здесь в надежде если не на исцеление, то на щедрую подачку...

В жизни Элеазара и его матери снова все изменилось, но — как бы там ни было — к лучшему. Было ясно, что обработка полученной Иегудой бен-Симоном земли им не по силам, а для продажи и запуска полученных денег в оборот не имелось наследственных прав. Оставшиеся два с половиной десятка серебряных монет — конечно, капитал, но, не пополняясь, он очень скоро иссякнет. Но среди храмовых служителей нашлись добрые люди, и взамен возвращенной земли, а может, в память о заслугах Иегуды бен-Симона нашли для матери Элеазара место надсмотрщицы в ткацких мастерских, поставлявших полотна не только для нужд Храма и Синедриона, но и для царских нужд. Самому же Элеазару посчастливилось еще больше: его взяли в число младших служителей при первосвященнике — таких было немало, и обязанности их были разнообразны и не всегда определены, но расторопность и личная преданность каждого в отдельности могла быть вознагражденной весьма щедро.

Элеазар остановился перед человеком, густо заросшим диким волосом, и к нему тотчас же протянулись за подаванием десятки рук других паломников. Этот же руки не протянул, смотрел снизу вверх внимательно и как бы сочувственно.

— Не бойся, — сказал Элеазар, скорее лишь для того, чтобы хоть как-то начать разговор, который легким быть не мог.

— Мне некого бояться... Но не бойся и ты, ибо тогда ты не знал о делах своего отца.

— Я и теперь не знаю.

И тогда волосатый встал и, прикрыв голову краем хитона, послал юноше взгляд, который мог означать одно: здесь не место для разговора, следуй за мной...

Он привел Элеазара туда, где мраморные аркады храмовых построек сходились углом неподалеку от сооружения Давидова водохранилища, а за ним круглилась мощная кладка чудовищной по громоздкости Антиониевой башни. Сквозь пролом в ограде вела протоптанная тропинка, которая извивалась и терялась среди терновника.

— Значит, ты все-таки боишься, — сказал Элеазар.

— Я просто осторожен... Так о чем же ты хочешь узнать?

— Обо всем.

И паломник или нищий, или таящийся разбойник — Элеазар еще не знал, как ему мысленно называть этого неопрятного и неприятного человека — рассказал ему все, что можно было рассказать за то время, пока тень смоковницы у ограды передвинулась почти на локоть..

Как уже говорилось, Элеазар за последнее время повзрослел и заметно изменился внутренне, и то, что он услышал, не ошеломило его — он словно ждал чего-то подобного. И в то же время он мысленно воздавал своему умершему отцу должное: Иегуда бен-Симон поступал так, как находил нужным, и не боялся ни пересудов, ни мести...

— Этот Иисус... Я слышал, люди платили жизнью и за меньшее...

— Таких, как он, людей еще не было. Он не обидел и мотылька!

— Быть хорошим для всех нельзя, — Элеазар осознал, что повторил слова Иегуды бен-Симона, который как бы стоял рядом.

— Обычный человек и не сможет, но Иисус был Христом, он приходил, чтобы спасти людей.

— А себя не спас?

— Он воскрес на третий день и снова с теми, кто

верит в него и в спасение, — убежденно проговорил волосатый.

— Тогда что за вина на тех, кто карал его? — Элеазар подумал, что этот его вопрос очень понравился бы его погибшему отцу.

— Но были и предательство, и убийство, разве их не было?

— Так смерть моего отца была мезтью?

— Господним судом, — ответил волосатый, и Элеазар отметил, что сообщение о смерти Иегуды бен-Симона не произвело на странного собеседника никакого впечатления, словно он знал об этом давным-давно.

Волосатый без какого-либо усилия выдержал пристальный и испытывающий взгляд мальчика и как-то почти пренебрежительно повел плечом.

— А ты уверен, что Иегуда бен-Симон действительно твой отец?

И вот этот вопрос как бы хлестнул Элеазара по глазам — он даже, отшатнулся невольно. В первый миг из перехваченного горла был готов вырваться крик, что этот нищий оскорбляет его мать. Затем мелькнула мысль, что высказанное сомнение как бы освобождает его, Элеазара бен-Аарона, от всех грехов Иегуды бен-Симона, и от проклятий на его голову... Но ведь тогда и лишает права на все то, что Элеазар и его мать имеют сейчас?

— Молчи! — крикнул Элеазар, поднимая руку.

Но волосатый засмеялся, перехватил его руку, стиснул ее так, что пальцы на миг потеряли чувствительность, а затем налились мучительной болью, и, повернувшись, нырнул в пролом стены.

Элеазар стоял, прислонившись к прохладному камню стены, закрыв глаза и видя перед собой багровые волны. И ненависть ко всему тому, что вмешалось в его жизнь, переполняла его.

6

Он потребовал от матери правдивого и окончательного ответа на вопрос, который теперь стал его мучить. Но то ли мать терзали те же сомнения, то ли ей стала отказывать память, но она только смотрела на сына сухими и воспаленными глазами — в ткацких мастерских работали малолетние рабыни, с которыми у над-

смотрящих было немало всяких трудностей, — и молчала.

Нетрудно было сообразить, что волосатый нищий был одним из тех, кто окружал распятого лже-пророка, которого называли Христом. Теперь прислушивавшийся ко всему, что говорилось и шепталось вокруг, Элеазар знал, что, как ни странно, у этого Иешу-Иисуса было весьма много последователей — гораздо больше, нежели можно было предположить. После казни Иисуса они притаились, разбрелись кто куда, их не преследовали и не разыскивали — даже бывшего рыбака Симона, которого называли «Кифой»-«Петром» и который в минуты ареста Иисуса выхватил из-под одежды незаконно имевшийся у него меч и отрубил ухо рабу первосвященника Малху...

Вполне возможно, что волосатый — Элеазару все никак не удавалось выяснить его имя — приходил к Храму для тайной встречи с кем-нибудь из единомышленников.

Конечно же, волосатый знал, что Элеазару ничего не стоит выследить его, но он или презирал юношу, или просто не верил, что тот может повторить действия своего подлинного или вымышленного отца... И это бесило Элеазара.

И однажды — совершенно случайно — он подметил, что волосатый обменялся какими-то знаками... с храмовым стражником, одним из тех двух, которые когда-то защитили Иегуду бен-Симона в аллее храмового сада от нападения вот этого самого" волосатого. Стражник был родом из Киликии, смуглый и черноволосый здоровяк, переведенный в охрану Храма и Синедриона из вспомогательной когорты римского легиона, стоявшего лагерем вблизи Кесарии Стратоновой. Звали стражника Саулом или Савлом, и совсем недавно его назначили за усердную службу декурионом-десятником.

О своем наблюдении Элеазар рассказал личному писцу первосвященника Каиафы, который последнее время был расположен к юному служителю — молодому, узкоплечему, но с быстрыми и резкими движениями, зоркими, близко посаженными глазами, умением появляться и исчезать почти по безмолвному желанию истинного владыки Иудеи. Личный писец первосвященника выслушал Элеазара с огромным вниманием и мило-стиво кивнул ему.

Однако в дальнейшем как будто забыл о сообщении Элеазара. Хотя он отметил, что декурион Савл куда-то исчез, да и волосатого теперь среди паломников не видно...

7

Велизарий, шаркая подошвами сандалий, двигался вдоль улицы, кого-то обходя, кому-то уступая дорогу, чувствуя, как солнечные лучи все сильнее припекают его лысину, окаймленную сединами. Можно было бы перебраться на теневую сторону улицы, но там взад-вперед двигались женщины, там были всевозможные лавки с восточными притираниями, там продавались ткани и украшения, и там запросто можно было нарваться на грубость от спутника какой-нибудь римской матроны, а то и от вконец обнаглевшего раба куртизанки: мол, что тут может быть нужно этому старому еврею!..

Вечный город с его мраморными фасадами и портиками, с колоннами Форума, с бюстами императора на мраморных и гранитных пилонах, с черными, желтовато-розовыми и белыми плитами площадок перед общественными зданиями, озаренный солнцем, сиявшим на бездонном ярко-синем небе, был великолепен. Дальний Яникульский холм казался покрытым мохнатым парфянским ковром — из-за сплошного дубняка. Левее проглядывала пышная зелень садов Мецената... Но Велизарий давно уже не обращал внимания на все это великолепие, ибо оно со временем не только стало привычным, но и обрело особую чуждость.

Нет, разумеется, мудрые люди правы: уж если ты столько лет и сил положил на достижение какой-либо цели, то, достигнув ее, не оставайся там, где помнят тебя прежним. И где ты помнишь себя в прошлом. Даже если став наконец-то римским гражданином, ты окажешься на Палатине — да не дойдут эти мысли до блюстителей закона об оскорблении императорского величия! — то и тогда ты для многих и многих останешься тем же, кем был. А вот возвратиться победителем в Иудею было бы вполне понятным и оправданным. Пусть и нет уже весьма многих, кто помнил бы прежнего служку Элеазара бен-Аарона, про которого ходили слухи, что на самом деле он сын того самого Иегуды из Кариафа, который помог властям покончить с лже-пророком, выдававшим себя за сына самого Бога.

Давным-давно нет тогдашних первосвященников иерусалимских Анны и Каиафы, и первосвященника Анания нет... Другие люди царствуют в Иудее и учат народ израильский, толкуют и прославляют Закон. И давным-давно учение Иисуса, которого его ученики и сторонники называли Христом, несмотря на все препятствия и гонения, перешло границы Израиля и римской провинции Сирии, растеклось по Азии, прижилось у населения многих городов эллинских, нашло своих почитателей и защитников, и провозвестников. «Христианин» из-насмешливой и презрительной клички уже стало знакомым всем обозначением тех, кто отдался новому верованию в неминуемое воздаяние за грехи, в бессмертную душу человеческую и в грядущее ее спасение. А как без спасения, если мир, как некогда Содом и Гоморра, погряз в мерзости и алчности и будет уничтожен Страшным Судом Господним?!

Образовывались повсюду тайные и полутайные христианские общины, в которых на молитвенных собраниях равными были и купец, и нищий, и меняла, и блудница, и невинная девственница, и воин. И в каждой общине выбирался в пресвитеры самый благочестивый и добронравный. Названные апостолами ученики умершего во имя грядущего спасения человечества Иисуса-Назарянина, шагали из Иудеи по дорогам во все концы света, благовествовали об Учителе, объясняли его Учение и крестили тех, кто отрекался от язычества.

И хотя было замечено, что христиане в повседневной жизни и общении с миром неизмеримо честнее и правдивее прочих, время от времени их начинали преследовать — то чернь, взбудораженная умело направленной злобой торговцев-язычников, то по указам и распоряжениям властей, науськанных жрецами у языческих идолов, которым начинали поклоняться все меньше и все меньше жертвовать. И что с того, что апостолы, повторяя слова Иисуса, учили: «Отдавайте кесарю — кесарево, а Богу—Богово...», римские просвещенные власти в лице прокураторов и проконсулов провинций, в лице консулов и самого императора то и дело обрушивали на христиан то меч, то огонь. И считалось благом, если в какие-то годы все обходилось лишь непомерными налогами.

Но христианские общины не только жили, но и росли и увеличивались численно. В них стали допускать и ра-

бов, которые пользовались у своих добрых хозяев относительной свободой, и очень скоро новое учение захватило души чуть ли не всех подневольных от Азии и до самого Вечного Города, ибо обещало и самым робким, и самым обездоленным полное воздаяние в грядущей жизни.

Все меньше с годами становилось тех, кто находился рядом с живым Иисусом, — иные умерли от болезней, связанных с лишениями, другие погибли в темницах или на кресте. Но на их место становились новые провозвестники Слова Божьего, снова и снова шли и ехали по дорогам, чтобы посетить общины единомышленников, называемых теперь «братьями во Христе», призвать их к твердости духа и к верности, поддержать в часы уныния и печали. И уже повествовалось не только о жизни и деяниях Иисуса из Назарета, но и о деяниях его первых учеников, которых поначалу было всего двенадцать — как и колен народа израильского... Уходили посланцы в другие города и селения, к другим народам, а лучшие писцы в христианских общинах в тайных убежищах записывали на папирусах и пергаменте, переписывали снова и снова повествования о жизни Учителя, его делах, мучительной смерти на кресте, а затем воскресении для вечности, о делах его верных последователей.

Но еще могучей и всесильной была власть прежних богов — от египетского Осириса и сирийской Аштарот до эллинских олимпийцев и римского Юпитера с окружившим его сонмом, — и служителей, и охранителей их. И еще незыблемее была власть Бога Израиля, ибо не имел он зримого выражения, кроме святых скиний Завета, некогда высеченного на скрижалях, и слишком много было священства и толкователей, вставших на страже против любого возможного покушения на святыню. И потому почти не оставалось верующих в Христа в Иерусалиме — казалось, еще величественнее нежели прежде, высится над Иерусалимом Храм, грядущее разрушение которого когда-то провидел сын плотника из Назарета. И вспоминали многие о том, как много позже распятия Иисусова был побит камнями его последователь Стефан, осмелившийся открыто призывать людей к крещению...

Именно тогдашний первосвященник иудейский Анания гневно стукнул посохом о каменный пол и сдвинул

брови, когда сообщили ему о некоем Павле, осмелившемся проповедовать учение Христа в самом Храме Иерусалимском — перед собранием иудеев. Несомненно, что особенно разгневало Ананию то, что, согласно докладу верных людей, весьма многие из пришедших в Храм приветствовали Павла и речам его внимали с самым усердным вниманием.

Было известно, что Павел никто иной, как бывший декурион храмовой стражи киликиец Саул или Савл, исчезнувший больше двух лет назад и одно время считавшийся погибшим при невъясненных обстоятельствах — одни говорили, что его убили христиане; другие — что это сделали тайные еврейские мстители — zeloty. Но затем прошел слух, что Савла видели на южных границах Иудеи, где он передвигался от кочевья к кочевью вместе с несколькими учениками Иисуса, проповедуя пастухам.

Слух вскоре заглох, а затем возобновился, причем украсился многими подробностями. Доверчивые и восторженные пересказывали неведомо кем выдуманную историю о явлении воскресшего Иисуса Савлу в пустыне, после чего он понял, что должен перестать преследовать христиан и проповедовать людям новое учение. Серьезные люди, а возможно, просто лучше осведомленные, передавали услышанное как историю о том, что в труднейшую жизненную минуту Савл не нашел помощи у тех, кому до того служил, а вот последователи Христа ему помогли... Говорили, что он был ранен разбойниками и лекарь Синедриона отказался перевязать его раны; говорили, что нужны были деньги для того, чтобы его брат в Киликии мог жениться на любимой; говорили, что некий астролог предсказал несчастье его матери и нужно было заплатить халдейскому колдуну, чтобы отвести это несчастье... Говорили также, что Савл, как уроженец провинции, граничащей с Парфией, не мог рассчитывать на продвижение по воинской службе — но это было неправдой, ибо среди легионных трибунов встречались даже африканцы.

Это все было слухами, а вот из донесений осведомителей Синедриону было известно, что бывшего декуриона Савла, ставшего проповедником нового учения, явно враждебного по отношению к существовавшим религиозным и государственным основам, хотя и встречали в иных местах далеко не всегда дружелюбно, а где и

враждебно — например, в эллинском Эфесе — в целом его известность росла, а кое-где достигала уровня славы. Еще бы! Вчерашний страж из охраны Синедриона и Храма Иерусалимского, гонитель христиан, а ныне — благодаря истинно божественному и чудесному откровению — ставший апостолом учения Иисуса, назвавший себя Павлом, чтобы полностью отречься от своего прошлого...

— Безумец повторяет слова своего безумного учителя: «Не мир я пришел принести вам, но меч»... — Первосвященник Анания произносил слова медленно и немного гнусаво. Все знали, что он не скор на поступки, ибо сделанное не изменишь, но если решался на что, то уже бесповоротно. — И это открытый призыв к мятежу, а в святом Храме — двойное преступление! Взять бунтовщика и отступника с поличным!

Первосвященник медленно прошелся острым взором по лицам стоявших на ступенях перед возвышением, с которого главе духовной и светской власти в Иерусалиме и полагалось провозглашать свои решения. Ананий никогда не забывал, что сравнительно недавно членом Синедриона был тайный христианин Иосиф — аримафянин; что даже прославленный знаток Закона равви Гамалиил призывал к большей терпимости, ибо любое насилие порождает лишь насилие, и ничего больше...

— Ты! — верхний конец посоха, напоминающий завитком легендарный посох Моисея, давший зеленые живые побеги, а также высекший воду из скалы в пустыне, наклонился, указывая на Элезара бен-Аарона, стоявшего среди ближних слуг первосвященника. — Возьмешь безумца и мятежника... Иудейский народ всегда справедлив в своих порывах!

Да, первосвященник знал окружавших его людей, иначе он не был бы первосвященником. Он был достаточно осведомлен о странной судьбе вот этого молодого, но как бы не имеющего возраста человека с унылым и одновременно хитрым выражением длинного лица; о его ненависти к христианам и неутоленном честолюбии. Такие люди бесценны для любой власти — они подобны стреле, уже наложенной на тетиву. Но важно не потерять времени, ибо и самая прочная тетива от долгого и бесцельного напряжения слабеет.

И Элезар бен-Аарон, сохранивший уверенность в том, что он действительно сын убитого мстительными христиана-

нами верного Закону Иегуды бен-Симона — керофянина, и в самом деле несколько повторявший его облик, как говорили старики, дождался своего часа.

8

Центурион стражи, назначенный для дневного дозора, медленно расхаживал взад-вперед под аркадами, поблескивая гребенчатым шлемом, придерживая у плеча сплетенный из лозы короткий жезл — знак своего воинского достоинства. Он тоже в прошлом — как и большинство охраны Храма и Синедриона — служил во вспомогательных римских войсках в Сирии, и это как бы стерло с его грубого щекастого лица все четкие национальные черты: гладко выбритое, оно принадлежало просто солдату. Центурион, вскинув руку по-римски, отдал честь Элеазару — он, разумеется, не был ему подчинен, но годы службы настолько обострили чутье сотника, что он умел угадывать ситуацию и предвидеть почти любые распоряжения. Поговаривали, что он вполне может заменить куратора всей стражи трибуна Клавдия Лизия, собиравшегося в почетную отставку по возрасту. Впрочем, Клавдий Лизий в далеком прошлом носил совсем иное имя, ибо тоже когда-то служил в легионе в Месопотамии, и по его собственным рассказам, получил звание младшего центуриона и римское гражданство за спасение легионного значка-орла во время пограничной схватки с превосходящими парфянскими силами. Правда, недоброжелатели Лизия уверяли, что все ему устроила некая матрона из антиохийского веселого пригорода — Дафны — за особые услуги, но чего ни скажут недоброжелатели!..

— Пожелание первосвященника выполнено! — доложил центурион и пояснил, заметив удивление в глазах посланца Анания: — Народ возмущен мятежными речами безумца...

— В Храме? — спросил Элеазар бен-Аарон протяжно, и зрочки центуриона забегали, ибо он понял свою оплошность и стиснул свой жезл так, что волосатые пальцы побелели.

— В Храме, — повторил центурион, весь напрягаясь.

Элеазар бен-Аарон мог бы возвратиться и сообщить первосвященнику, что суд Божий над безумцем и мя-

тежником свершился. Но каким было бы участие в этом его, Элеазара?

— Осквернить Храм черной кровью отступника?

И Элеазар уже почти бежал под аркадами к ближайшему Восточному входу в Храм — метя по каменным плитам краем своей темной одежды, шаркая подошвами по высохшим миртовым лепесткам, слегка оскользаясь на крохотных кипарисовых шишечках, так остро пахнущих смолой. Центурион грохал калигами, не отставая, рядом.

В первый миг внутренность Храма, из-за дымчатого сумрака и гулкости казавшаяся безграничной и бесконечной, как Вселенная, представилась совершенно пустой. Затем глаза различили темное скопище людей, как бы застывших в различных позах, а в стороне, на возвышении — немолодого, бородатого мужчину в разорванных одеждах, обнажавших смуглое и блестящее потом тело.

— Иудеи! — совсем не сильный, скорее голос юноши, нежели мужа, голос Элеазара, всегда доставлявший ему душевные муки, прозвучал в гулкой застылости, как гром. — Разве вы не знаете, что говорит Закон об отступниках?

Центурион дышал тяжело, но чувствовалось, что он доволен еще не состоявшейся расправой.

Элеазар бен-Аарон все больше узнавал в бородатом мужчине того давнего стражника, который был свидетелем, когда волосатый бродяга и нищий проклинал его отца и семья его за предательство... Немного жаль, что теперь уже Элеазар никогда не узнает имени того обросшего дикими волосами человека. Впрочем, зачем ему это имя?

— Ну? — крикнул центурион.

Люди из толпы обернулись. Искаженные злобой и ненавистью лица были в то же время растерянными.

— Он — римский гражданин! — пролаял серый, как дождевой червь, испитой и долговязый парень, одетый в короткий и грязный хитон, обнажавший его мосластые колени, с палкой в руке.

— Он—римский гражданин! — повторили остальные, как вздох.

Центурион рядом клацнул бронзовыми оковками коротких сапог-галиг.

Элеазар бен-Аарон тыльной стороной ладони вытер

со лба выступивший пот. Здесь было священнейшее место Иудейского царства, но ни первосвященник Иерусалимский, ни царь-тетрарх Агриппа не могли своей властью наказать гражданина Вечного города, подданного императора римского, ибо он имел право требовать личного суда цезаря...

— Он жлет! — крикнул Элезар, и голос его сорвался. Он понимал, что исполнение приказа первосвященника принесет ему многое; возможно, даже изменит саму жизнь, но нарушение законов Рима — владыки полумира — может привести к полному крушению, и вряд ли первосвященник станет защищать столь неумелого и глупого слугу, верность еще далеко не все.

Павел засмеялся. Негромко и презрительно. Так смеются над неумным, претендующим на нечто незаслуженное человеком — когда всем все понятно, и лишь он один упорствует. И Элезар подумал, что, вероятно, сейчас отдал бы год своей жизни, чтобы только настоять на своем и первым бросить камень в Павла. Его смех свел на нет и появление в Храме посланца первосвященника, и самого первосвященника.

Но оставалась военная сила.

— Эй! — негромко позвал центурион, и тотчас в дверях стукнули солдатские калиги, тупые стороны копий, запахло потом и кожей амуниции. Правильным было, что стража пополнялась теми, кто уже служил у римлян, — в личной преданности солдат именно первосвященнику можно было, вероятно, и усомниться, но в верности дисциплине и приказам сомневаться не приходилось. Бывший стражник Савл пока был исключением...

— Взять! Но рук не вязать и не бить... Пока.

Но солдатам не пришлось угрожать Павлу оружием — он сам, с высоко поднятой головой, двигаясь легко и свободно, прошел сквозь расступившуюся толпу к выходу из Храма, и лишь задержался на миг, чтобы стражники повернулись и заняли свои места с одной и с другой стороны.

— В цитадель, — распорядился центурион, покосившись на Элезара бен-Аарона, как бы слегка оправдываясь перед ним и в то же время давая понять, что все гораздо серьезнее, нежели наказание рядового подданного иудейского царя-тетрарха Агриппы. — В правое крыло!

В правом крыле городской цитадели, вызывавшей

раздражение своим существованием еще у прокуратора Пилата, а затем у всех проконсулов римских, ибо она свидетельствовала о защищенности Иерусалима и о несомненной его самостоятельности, располагалась канцелярия трибуна Клавдия Лизия; здесь же утверждался преторий римской власти, когда она по тому или иному поводу посещала Иерусалим.

9

Солнце припекало все сильнее, и Велизарий пожалел, что не надел войлочную широкополую шляпу, которую носил, когда отправлялся устраивать свои обменные сделки. Такие шляпы носили рабы и иногда вольноотпущенники, но даже плебеи гнушались этими головными уборами, в дождь и в любую непогоду набрасывая на голову край широкой тоги или плаща-паллия. Использование плаща предусматривало определенную небрежность, а в этой части города — тем более для него, Велизария, с его статусом зажившегося в Вечном Городе просителя — такое было чревато нежелательными последствиями, ибо следовало быть предельно осторожным — плечо еще побаливало, горело.

Поодаль белели ряды колонн форума Юлия, пестрел черно-белый изящный рисунок вымощенной мрамором небольшой удлиненной площади. Нынче название не упоминало Цезаря, как, впрочем, и других, поскольку новому властителю Рима казалось, что свершения былых владык умаляют его славу — правда, эта слава была лишь в посланиях льстецов из Сената, в рукописаниях черни в Большом цирке... У новенького мраморного бюста императора, установленного на пилоне, где совсем недавно красовался бюст Клавдия, были капризные губы и волнистая молодая борода. Лишенные по греческому обычаю зрачков глаза скульптуры казались слепыми и в то же время всевидящими. И Велизарий вспомнил о недавнем законе, принятом Сенатом: оскорблением императорского величия считалось, если некто мочился, не сняв с пальца перстень с изображением императора, или непристойно выразился рядом со стелой, на которой высечен профиль императора, — в этом случае виновному грозила смерть с полной конфискацией имущества...

На Палатин вела широкая мраморная лестница. Но

с другой стороны царственного холма скальные уступы складывались в Гемонии — склон, по которому скатывались тела казненных в недалекой Мамертинской тюрьме. Два лица величия — взлет и падение...

И вообще все в мире имеет два лица — как ночь и день, как тепло и холод. И правильно эллины обозначали искусство смеющейся и плачущей масками. Не будь Элеазар бен-Аарон иудеем, которому Законом запрещено изображение всего, что создано Всевышним, в двух лицах он попробовал бы изобразить и собственную жизнь. Разве даже существование в прошлом двух отцов, имя одного из которых он пока носит, — не свидетельство такой насмешки судьбы? Или это — знак избранничества?

Он завидовал Павлу, который не только сменил имя, но и стал другим человеком. И чем больше завидовал, тем больше ненавидел. И потому, когда первосвященник Анания, уже все знавший о происшедшем в Храме, сказал негромко:

— Его смерть — твоя жизнь, Элеазар бен-Симон...

Он принял это, как завет, как цель своего существования на неизвестное время. И только потом вдруг сообразил, что первосвященник назвал его именем Иегуды из Кериофа, а не тем именем, которым он привычно назывался. Что это было? Случайность? Или жутковатый намек? Так, может, Иегуду бен-Симона, выдавшего властям Иисуса, убили совсем не мстительные христиане, а те, кому он перестал быть нужным? Думать об этом не хотелось, о таком было думать опасно. И оставалось лишь выполнить пожелание первосвященника, веря в неминуемо последующую за этим награду.

Было понятно, что Элеазар бен-Аарон полностью свободен в выборе путей для выполнения своего долга, и что при этом он может пользоваться абсолютной поддержкой всех инстанций в пределах Иудеи. А если доведется вне Иудейского царства?..

Он не мог присутствовать на допросе Павла у трибуна Клавдия Лизия, но центурион стражи, хорошо помня, что сегодняшней слуга при Храме может завтра оказаться распорядителем твоей судьбы, рассказал, что трибун спросил приведенного к нему:

— Как можешь ты, родившийся в Киликии, быть римским гражданином, если даже мне гражданство было пожаловано после немалых хлопот?

Павел ответил, смело глядя в глаза Клавдию Лизию:
— Истинны слова твои о моем рождении в Киликии, но да будет известно тебе, что родился я в городе Тарсе от родившихся в Риме, поэтому и римское гражданство у меня от рождения.

— Ты самовольно покинул ряды стражи при Храме... Покинувший воинские ряды заслуживает смерти.

— Я приносил клятву верности при поступлении в легион, и, отслужив записанное легионным писцом, был отпущен, об этом должно быть сказано в таблицах Кесарийского лагеря. В храмовой же страже я не клялся служить в течение названного срока и платы сверх заслуженного уже — не получал. Уйти же меня заставило некое видение — Ангел Господень указал мне на мою несправедливую жизнь...

— Это объяснишь священному Синедриону, — коротко отозвался Клавдий Лизий и распорядился увести Павла.

— Достаточно ли суров был Клавдий Лизий с преступником? — поинтересовался Элеазар бен-Аарон.

Центурион неопределенно повел плечом.

— Ты хочешь сказать, что он потворствовал преступнику?

— Я ничего не хочу сказать, уважаемый... На чело века, которого называют Павлом, были наложены оковы.

Найти десяток-другой людей, готовых расписаться со злоумышленником, преступившим Закон и продолжавшим злоумышлять, было нетрудно — отыскались многие из тех, кто хотел расправиться с Павлом в Храме. Несколько тетрадрахм в значительной степени усилили это желание.

И Элеазар бен-Аарон был обескуражен, когда Павла провели на собрание Синедриона под столь сильной охраной, что мстители не решились отбивать отступника у солдат.

— Разве тебе непонятно желание первосвященника, болеющего за чистоту Закона? — позже спросил Элеазар у центуриона.

— Мне он этого не говорил, а я привык исполнять приказы.

Эта неувязка была неприятна тем более, что Элеазар бен-Аарон присутствовал на заседании Синедриона и видел, насколько сильным и глубоким было переживание святейшего Анании, ибо первые же слова Павла,

приведенного, и поставленного не скованным перед судьями, были:

— Достойные мужи! Говорю вам, что я всей своей доброй совестью жил пред Богом до сих дня и часа!..

Анания побагровел, стукнул посохом об пол, крикнул:

— Бейте его по лживым губам!

— И это ваш суд? — спросил Павел. — Нужно быть потерявшим разум старцем, чтобы приказывать такое.

— Перед тобой сам первосвященник, — пояснил писец, — будь почтительным...

— Истинно говорю вам, что не знал этого и не стал бы злословить. Что же касается обвинения меня в проповеди воскресения Сына человеческого, то, будучи рожденным в семье фарисеев, я всю жизнь хранил верность учению фарисеев и никогда не думал, что меня могут обвинить в этом.

Элезар, видя побелевшее лицо первосвященника, почти до крови куснул свой согнутый палец. Павел не собиравшись раскрываться перед Синедрионом и бесполезно отдавать свою жизнь — он видел, что на скамьях справа сидят фарисеи, одетые, как и подобает книжным людям, с подчеркнутой строгостью, а слева — саддукеи с их замысловатыми головными уборами с длинными синими лентами. Ход был безупречным: саддукеи не признавали абсолютно никаких толкований священных книг, фарисеи же допускали, что воскресение может быть возможным, как и появление Ангела... И те, и другие враждовали между собой, нередко доходя в своих спорах до невысказанного.

Так получилось и сейчас: фарисеи начали вскакивать со своих мест с криками, что на Павла возведено клеветническое обвинение и так поступить могли только саддукеи. Ведь и царя Ирода на казнь Иоанна Крестителя когда-то подбивали именно саддукеи... Те в свою очередь привычно и столь же бурно обвинили своих противников в вечном стремлении внести раскол в ряды ученого священства. Кто-то в запале швырнул палкой, кто-то выкрикнул оскорбительное слово... Первосвященник Анания, закрыв глаза, откинулся в кресле, сделал знак, чтобы стража увела допрашиваемого.

И Элезару бен-Аарону показалось, что прежде чем закрыть налившиеся кровью глаза, первосвященник отыскал гневным взором его — Элезара...

Уже на следующий день стало известно, что минувшей ночью Клавдий Лизий отправил Павла под охраной в Антипатрию, а затем в Кесарию — к проконсулу Феликсу Максиму, сославшись в своем послании на то, что не имеет возможности разобраться в обвинении, возведенном иерусалимским священством на римского гражданина.

Неделю спустя — сделать это раньше было бы недостойным первосвященника — Анания со свитой, в которую входили обвинитель от Синедриона некий Тертулл, а также Элеазар бен-Аарон, — отправились с караваном в Кесарию. И Элеазар впервые в жизни увидел море — сине-зеленый простор — на берегу которого утопал в садах белоснежный город, построенный еще при божественном Юлии, именно как резиденция римских кураторов. Со склона последнего холма у Фаанаха было хорошо видно, как к белой башне у входа в порт приближалась галера под полосатым парусом, помогая себе рывками взмахами красных весел.

Очень скоро стало ясно, что римский проконсул совершенно равнодушен к исходу дела Павла. Грузный, с одутловатым бугристым лицом, величественно драпируясь в белоснежную тогу с широкой красной консульской полосой по нижнему краю, Феликс лишь в течение первого заседания высидел до конца. Он позевывал, близоруко щурился то на взмахивавшего руками Тертулла, то на Павла, который отвечал коротко, очень спокойно и потому убедительно.

Потом Феликс Максим заглядывал в помещение, где проходило это подобие суда, лишь изредка — иногда даже вместе с супругой своей Друзиллой, носившей латинское имя, но бывшей иудеянкой, — они посматривали на первосвященника с неприязнью, а на Павла — с явной симпатией. Он упорно отстаивал свою первую версию, что схвачен он ошибочно.

Среди слуг многочисленной челяди в резиденции проконсула, конечно же, очень быстро отыскились и готовые помочь важным людям из Иерусалима. Стало известно, что равнодушные нынешнего главы местной римской власти вызвано тем, что Палатин назначил в Кесарию нового своего представителя, а этому предстоит отчитываться перед императором — Иудея всегда считалась беспокойной областью, где следовало быть особо умелым и администратором, и дипломатом. Поэтому

Феликсу Максиму было выгодно как можно дольше тянуть дело Павла: с одной стороны, он показывал собственную дотошность, абсолютную справедливость; с другой стороны — мог обратиться за советом и помощью к новому властителю, заведомо признавая его большую компетентность.

Узнав обо всем этом, первосвященник Анания отбыл из Кесарии, напоследок удостоив Элеазара бен-Аарона минутной личной аудиенции. Было только спрошено, не забыл ли он о словах, сказанных некогда им, первосвященником, в Иерусалиме?

И Элеазар бен-Аарон понял, что неведомым и непостижимым промыслом Всемогущего Бога он теперь накрепко связан с этим проклятым отступником, взявшим себе имя Павла.

В тот день, увидев отражение своего лица в водоеме, Элеазар бен-Аарон удивился и немного испугался. Дело в том, что он увидел себя постаревшим настолько, что даже не поверил собственным глазам. Тем более, что только недавно, глядя на стоявшего перед судом Павла, он мысленно дивился тому, что Павел, бывший значительно старше, носивший бороду, выглядел совсем молодым — словно и не бродил по пустыне и чужим городам, не подвергался угрозе гибели, не был в оковах, не ждал кары...

10

Нового проконсула звали Порцием Фестом — его предки прославились во времена Гражданских войн и были удостоены звания всадников, а сам он после службы в легионах в самых дальних краях Галлии, стал гражданским трибуном в латинской колонии африканской Сабраты, а затем префектом в Брундизии. Высокого роста, несколько костлявый, с морщинистым и словно навечно обветрившимся лицом, с резкими и точными движениями, пятидесяти двух лет от роду, Порций Фест являл собой тип жесткого римского администратора, не признающего никаких компромиссов перед лицом единого для всех закона. Нетрудно было сообщить, что Палатин и послал его сюда, чтобы римская власть обрела в Иудее абсолютно надежную устойчивость.

Фест сократил до минимума все церемонии с пере-

дачей ему фасций и полномочий проконсула, очень быстро и очень скрупулезно познакомился с неотложными делами; приподнял редкие и бесцветные брови, узнав, что в здешней темнице содержится узник, внимательно выслушал своего предшественника и распорядился привести Павла.

Несколько мгновений глубоко сидящие, стального цвета глаза римлянина сверлили Павла, стоявшего со смиренным видом.

— Итак, ты отрицаешь, что проповедовал лжеучение некоего Иисуса? — голос проконсула походил на лязганье стали. Арамейские слова звучали с запинкой.

— Дозволено ли мне будет изъясняться по-латыни?

— Ты знаешь язык народа квиритов? — уже мягче спросил Фест. — Итак, я слушаю...

— Утверждаю, что не совершил никакого преступления ни против закона иудейского, ни против Храма, ни против кесаря.

Порций Фест усмехнулся.

— Ответ полный, но это ответ не на тот вопрос, который я задавал тебе... Что ж, это твое право. Хочешь ли быть отправленным в Иерусалим, чтобы оправдаться перед священниками?

— Их я ничем не обидел. Если же меня все равно считают виновным, то я требую суда кесаря.

— К кесарю ты и отправишься, — с угрозой, но в то же время и с оттенком уважения сказал Порций Фест и сделал знак, чтобы Павла увели.

Обо всем этом Элезар бен-Аарон узнал от писца проконсула, дав ему несколько монет.

Но отправка Павла в Рим неожиданно затянулась. Сначала выяснилось, что в порту нет ни одного попутного судна, а командир военного корабля наотрез отказался брать на борт узника, мотивируя это тем, что на борту нет эргастула, т. е. помещения для арестованных и рабов. Затем было решено подождать, пока темница Кесарии пополнится теми, кого тоже необходимо отправить в столицу метрополии. А затем стало известно, что Кесарию собираются навестить, дабы поприветствовать нового римского проконсула, царь Иудеи Ирод Агриппа и царица Беренис.

Элезар бен-Аарон в числе немногих священников иудейских, допущенных в кесарийскую резиденцию, присутствовал на торжественной церемонии, находясь,

к сожалению, в самом дальнем углу зала, и не был по-
том допущен в обеденный триклиний, куда прошество-
вали самые избранные. Он был разочарован обликом
царицы Беренис, которую сравнивали с легендарной ца-
рицей Савской — Балкис. Была Беренис похожа на
разъевшуюся торговку с сирийского базара, и тяжелые
обвисшие груди ее колыхались в такт движениям, и
складками обвисала кожа обнаженных предплечий. Но
большие коровьи глаза были красивыми, и одежда по-
ражала богатством и великолепием. Царь Агриппа был
еще крепок и осанист, но выглядел неимоверно усталым,
и во взглядах окружающих тенями глаз читалась тоска...

И день спустя привели Павла, и в присутствии Пор-
ция Феста и священников иудейских царь Агриппа ска-
зал ему, восседа в римском кресле:

— Я слышал о тебе и позволяю говорить за себя...

Павел сделал шаг вперед и замер в почтительной
позе.

— Почитаю себя счастливым, что могу защищать
себя перед тобой, царь Агриппа. И потому повторяю то,
что говорил уже: не виновен я ни перед законом иудей-
ским, ни перед Храмом, ни перед кесарем... Будучи стра-
жем, выполнял я все, что приказывалось, и преследовал
тех, кто верил в воскресение Иисуса. А потом было мне
видение самого Христа, и уверовал я в него...

— Остановись! — поднял руку Агриппа, и весь зал
замер. — В возможность воскресения верят и фарисеи,
и ты...

— Так это «возможность», царь, а Иисус воскрес!
Воскрес для вечной жизни и спасения людей, обраще-
ния язычников!

— Уж не меня ли ты хочешь сделать христиани-
ном? — усмехнулся Агриппа и посмотрел на Беренис,
которая не отводила глаз от Павла. Она тоже улыбну-
лась.

— Он похож на пророка из пустыни, — шепнула ца-
рица.

— Молил бы Бога, царь, — сказал Павел и опустил
голову, — если бы стало возможным убедить и тебя, и
всех, кто здесь, в том, в чем я сам убедился...

— Ты говоришь здраво, — кивнул Агриппа, и про-
консул Фест согласно кивнул, — человеку убежденному
свойственно пытаться убедить и других. Но призыва к
мятежу в этом нет. Он не виновен!

— Но он потребовал суда кесаря, — напомнил Фест. Царь Агриппа развел руками, а царица Беренис едва заметно вздохнула.

Элеазар бен-Аарон мысленно проклял тот час, когда судьба свела его с человеком по имени Савл.

11

Два босых, крепкого телосложения человека несли корзину, полную серебристой рыбы — толстые такие, большие рыбины лежали навалом, мгновениями отсвечивая в солнечных лучах то синим, то зеленоватым. Возможно, эти двое были моряками и пришли в Рим из Путеол; они могли быть также клиентами какого-нибудь богатого аристократа, даже сенатора, и несли эту рыбу его повару — как подарок господину... Но прохожие смотрели на корзину с таким заманчивым грузом, проявляя откровенный интерес, и даже оглядывались. Рыба в Вечном Городе была дорогим товаром. А может, все дело было в наваливавшейся на город жаре, приятно было догадываться о прохладе, о солоноватом запахе моря... Велизарий задохнулся и сел на полуобтесанный камень, неведомо как оказавшийся здесь, возле большого дома, перед последним поворотом к сенатской курии. Вероятно, он упал с повозки каменотесов, доставлявших глыбы на строительство чьей-нибудь виллы. Но камень был кстати, ибо от жары ли, от усталости или от излишней торопливости не хватало воздуха и перед глазами проплывали багровые нити.

Рыба напомнила о том дне, когда в гавани Кесарии входили на корабль, который отправлялся в Сидон, а затем на Кипр и в эллинские Миры Ликийские. Прошитый для крепости бронзовыми стяжками борт корабля с длинными проемами для весел на случай безветрия заметно вздымался и опускался рядом с каменной стенкой, и скрипел витой канат, продетый в бронзовое кольцо. И какой-то моряк, полуголый и загоревший под солнцем и ветром дочерна, нанизывал на крючья для провяливания впрок большие рыбины.

Уже стоя на палубе с просмоленными полосами швов между досками из ливанского кедра и отойдя, чтобы не мешать, к огороженному месту кормщика, Элеазар бен-Аарон смотрел, как поднимались по сходне отправляемые в Италию узники.

Первым шел Павел — сильно заросший, похудевший, в одежде, заметно обветшавшей уже, но бодрый и как бы даже помолодевший. Он встретился взглядом с Элеазаром, и губы Павла дрогнули в усмешке.

Других узников было трое: какой-то торговец из сирийской Антиохии, попавшийся на присвоении чужого товара и заявивший, что сделал это по требованию крупного финансиста в Риме; халдейский звездочет, предсказавший скорую смерть императора; и некий палестинец, умевший готовить яды и обвиненный в подготовке покушения на царя Агриппу. Печальное шествие замыкали стражник и центурион Юлий из вспомогательного манипула Кесарийской когорты — оба молодые, сильные, хорошо вооруженные. Впрочем, узники не представляли опасности: Павел держался смиренно и вежливо, торговец и звездочет были стары, а палестинец уже перенес пытки и бичевание, и любое движение причиняло ему боль.

Плаванье проходило на редкость спокойно, и Элеазар бен-Аарон не раз и не два мысленно и вслух возносил благодарственную молитву Всевышнему, который сподобил его ощутить такое счастье, увидеть такой простор и тем самым напомнить жалкому смертному о своем Могушестве. Облака в бездонном синем небе были легкими и белоснежными, волны — быстрые и игривые, как взгляды красавиц в Шаронской долине — ослепляли переливами ряби. И чудом казались лоснящиеся тела дельфинов, которые с шумом выныривали, изгибались колесом и с фырканием уходили снова в глубину. А первая же ночь рассыпала по черному небу алмазные звезды, и Элеазар бен-Аарон пожалел, что не дано ему Богом таланта петь или играть на кифаре...

Конечно, все эти божественные красоты немало теряли из-за острой вонючки пота гребцов, которые, натужно хрипя, работали под верхним палубным настилом, иногда вскрикивая от удара плети надсмотрщика, наклоняясь и разгибаясь под ритмический гул барабана. Правда, когда потянуло ветром, был поднят прямой латинский парус с грубым изображением жезла-кадуцея Меркурия, и попутным потоком соленого воздуха тяжкий смрад от подневольного труда был унесен. Скучными были корабельные удобства, грубой и однообразной пища... Но ведь это было временным.

В Мирах Ликийских пришлось пробыть довольно

долго — не было попутного судна, а кроме того испортилась погода: задули ветры из Северной Африки, сильно снизилась видимость, низкими тучами по ночам заслоняло звезды, так нужные мореплавателям. Полная ответственность за судьбу узников лежала на центурионе Юлии, и Элеазар бен-Аарон взял на себя смелость посоветовать ему договориться с городскими властями о предоставлении места в эргастуле. Была у Элеазара бен-Аарона глубоко затаенная мысль о том, что — вполне возможно — удалось бы найти пути к тому, чтобы стража здешнего узилища сумела пронзить стрелой или дротиком Павла — ведь совсем нетрудно было бы обвинить его в попытке к бегству...

Центурион Юлий выслушал посланца Иерусалимского первосвященника, постучал раскрытой ладонью по рукоятке короткого римского меча-гладиуса, висевшего на широком, окованном медью поясе.

— Разве беспокоиться об охране этих людей — дело служителя Синадриона? — спросил центурион, вскидывая глаза на Элеазара бен-Аарона.— Мне показалось, что ты и этот Павел знаете друг друга... Или я ошибаюсь?

— Иерусалим — это город, где встречаются тысячи и тысячи, — вывернулся Элеазар бен-Аарон.

— Я так и думал, — согласился Юлий, словно и не заметив мгновенного замешательства собеседника.

Им отвели часть помещения, которое служило в гавани приютом для мелких торговцев, прибывающих на судах, переселенцев-вольноотпущенников, пассажиров, добирающихся в Рим и из Рима по различным бухтам. Сложенную из мелкого камня постройку продувало морскими ветрами, но здесь же был очаг, а море выбрасывало на берег немало плавника. Всем едущим в Вечный город на суд самого кесаря полагалось некоторое содержание, и оно выдавалось по распоряжению городского префекта. Кроме того, центурион Юлий на собственный страх и риск отпускал троих узников — палестинец — знаток ядов еще не оправился до конца и большей лежал, постанывая — просить милостыню у жителей Мир Ликийских. Город на перекрестке морских дорог был богатым — торговым, ремесленным — подавали охотно, щедро.

Для Элеазара бен-Аарона содержание не полагалось, и у него было то небольшое, что было выдано из

казны Синедриона — первосвященник Анания отличался скупостью, хотя называл это бережливостью. Задержка в этом эллинском городе не предусматривалась, и Элеазар кормился предельно скудно, иногда даже голодал. Разумеется, гордость и сознание важности своей миссии не позволяли ему показывать, что он страдает.

И однажды Павел, внимательно посмотрев на Элеазара бен-Аарона, положил перед ним половину лепешки, кусок овечьего сыра, несколько провяленных рыбешек.

— Что это? — вскинулся Элеазар бен-Аарон.

— Ты голоден, ешь.

Он хотел оттолкнуть подаяние. Если бы ему предложил еду кто-либо другой, Элеазар бен-Аарон, вероятно, не отказался бы, но Павел... Но корка у половины лепешки была такой аппетитной, потрескавшейся от жара печи, посыпанной мукой, так пахла, что кружилась голова. Ноздреватым, желтоватым и слезящимся был сыр; лоснились от жира рыбешки... И Элеазар кивнул, не глядя на дарителя этих благ, отломил от лепешки кусочек, потом еще, еще...

В тот день он сказал центуриону Юлию, от которого пахло сладостью перебродившего винограда:

— Отступник, называющий себя Павлом, ходит свободно...

— Он не из тех, кто опасен, — ответил центурион.

— Но он наверняка говорит с людьми, он знает и греческий...

— И чего же ты хочешь, иудей? — надменно поинтересовался Юлий.

— Стражник может быть рядом с Павлом...

— У меня не было приказов на этот счет.

— Но если что случится, ты ответишь, центурион.

— Тебе-то что до того, иудей?

Элеазар бен-Аарон посмотрел вслед центуриону, шагавшему тяжело и немного враскачку, и подумал с чувством горечи, что, может статься, они пробудут в этом эллинском городе еще неведомый срок, и первосвященник Анания, ничего не узнав, решит, что он, Элеазар, не сумел выполнить порученное ему.

Запах чеснока и тяжелой земляной сырости коснулся обоняния Элезара бен-Аарона, и он, очнувшись от своих размышлений, поднял голову. Перед ним стоял, подбоченившись, кряжистый толстяк с как бы приплюснутой головой, посаженной прямо на покатые плечи; рыжий и казавшийся безглазым из-за тяжелых надбровий и набрякших век. Это был могильщик Корнелий по прозвищу Кантабр, действительно похожий на германца, но уроженец Капуи.

— Я думал, ты спишь, иудей, — пропищал Корнелий, снова удивляя несоответствием между своим обликом и голосом.

— У меня есть имя, Корнелий, если ты не забыл. Элезар...

— Как? — захихикал Кантабр. — Элезар? А я всегда...

— Я хотел сказать: Велизарий, — сухо поправился тот. — Я и вправду, кажется, задремал.

— А может, ты называешь себя чужим именем, а? — ревился Корнелий. — Говорят, когда человек забывает свое имя, он обязательно скоро умрет...

— Что тебе нужно от меня?

— Что и всегда, уважаемый Элезар, то есть, я хотел сказать, Велизарий. Кое-какие побрякушки, и совсем дешево. Я ведь твой старый клиент.

— У меня сейчас нет денег.

— Так не сейчас, а когда солнце зайдет. Или ты стал бояться?

— А ты? Грабителю могил кара, как отцеубийце, — в мешке в Тибр.

— А скупщику, да еще живущему под чужим именем...

— Хорошо, но только в последний раз.

— Ты говорил это и на прошлой неделе, — хмыкнул Кантабр и зашагал, переваливаясь, как утка, расставив толстые руки.

Элезар бен-Аарон (сейчас ему хотелось хоть мысленно называть себя только этим именем, хотелось до мучительности) подумал, что был бы счастлив, если бы именно сегодня сбылась его давняя мечта и жизнь — нет, уже остаток жизни — перевалила бы на иную грань!

И еще подумалось, что нынче как бы и не существовала причина, по которой он оказался в Вечном Городе... Впрочем, кривить душой незачем и бесполезно — вся эта затянувшаяся история с учеником Иисуса Павлом хороша уже тем, что открыла для Элезара бен-Аарона совершенно новые горизонты.

Как те дали, которые открылись тогда перед кораблем с названием «Дискуры», который шел из Александрии в ПUTEОЛЫ и зашел в Миры Ликийские, чтобы пополнить припасы, ибо во время, близкое к зиме, следует быть особенно предусмотрительным. Оказалось, что капитан корабля и кормщик предупреждены из Кесарии проконсульской канцелярией о том, что в любом из портов по пути следования к ним может обратиться за помощью центурион Юлий, посланный в Рим. И нынче капитан только сказал центуриону, что из-за непогоды в дороге возможны любые неприятности.

Но центурион уже истомился от безделья в Мирах Ликийских, и палестинец — знаток ядов полностью пришел в себя и даже заметно потолстел, и отыскались у него здесь какие-то знакомцы, и стражник теперь неотлучно находился при узниках...

Дали открылись перед кораблем, и почти в течение всего первого дня небо было светлым, и дул попутный ветер, но ближе к закату небо стало быстро темнеть, словно раньше времени наступала ночь. Направление и сила ветра стали меняться, а потом наступило такое затишье, что было слышно, как шелестит вода вдоль низких бортов. И стало казаться, что не хватает воздуха для дыхания.

— Плохо! — крикнул кормщик капитану «Диоскуров». — Сейчас нам достанется! Это называется эвроклидон, мне дважды приходилось в жизни переживать такое!..

Несомненно, выпадало встречаться с непогодой и капитану, и другим морякам, ибо они с великими быстротой и сноровкой убрали и свернули парус, закрыли чрево корабля пеленами из кожи, скрепленной толстыми канатами, привязали все, что могли бы смыть волны. Пассажиры спустились в тесное помещение в корме корабля.

И тут корабль вздрогнул от первого удара мгновенно налетевшего ветра, примчавшегося откуда-то из-за Геркулесовых Столпов. И сразу же закрипел весь кор-

пус, словно не в силах противиться столь жестокому напору. И громко хрустнуло одно из двух рулевых весел. Не сумев удержаться на бруссе, который шел вдоль борта и играл роль скамьи, Элеазар бен-Аарон сполз к перегородке, сильно ударился о нее виском и на миг потерял сознание. Очнувшись он от пригоршни соленых брызг, и услышал, как проклинает небо и море палестинец, как поминает имена богов Нептуна и Главка центурион, как во тьме Павел громко и твердо говорит:

— Бодритесь, мужи! Ангел Бога, которому принадлежу я и которому служу, явился ко мне и сказал, что сбудется все, что должно сбыться, и не погибнем мы в бездне, а спасемся, хотя корабль, возможно, и не спасется!..

— Если бы я был кесарем, — прохрипел центурион, — я сделал бы тебя, Павел, легатом легиона!

— Зачем мне это? — спросил Павел, и Элеазару подумалось, что именно сейчас, во тьме и среди болтанки, под угрозой неминуемой гибели, этот человек, вполне вероятно, улыбается.

13

Помещение для писцов сенатской курии находилось не на Палатине, а у самого подножья холма — вымощенные широкими плитами дороги вели сюда и с Палатина, и от Капитолия. Возле курии, похожей на казарму своими узкими окнами и стенами грубой кладки, прохаживалось немало людей — исключительно римлян и далеко не плебейского вида. Иные недоуменно и презрительно взглянули на пожилого носатого человека, которому в его грубой и темной одежде, свидетельствующей о крайне низком общественном положении, было явно нечего делать в столь важном для жизни Вечного Города месте. Впрочем, эти люди не намеревались унижаться до открытого выражения своего недоумения — они лишь брезгливо посторонились, когда Велизарий — Элеазар бен-Аарон прошел мимо них ко входу с портиком, прошаркал сандалиями по каменному настилу, на котором темным камнем на сером было выложено: «Привет».

— Как ты сказал? Требоний? — остроносый, совсем молодой писец, шуплостью телосложения похожий на какую-то юркую птицу с явно вороватыми наклонностями, поднял рязбое от перенесенной оспы лицо к посети-

телю. Только что он старательно расшифровывал черточки на восковой табличке, записывая их четкими буквами на длинном свитке отполированного и отчищенного до полной белизны папирусного листа. Расщепленная тонкая тростинка еще подрагивала в его худых пальцах. — Требония здесь нет...

Видимо, он по привычке намеревался произнести: «уважаемый» или «почтенный», или просто «господин», но тут же сообразил, что все эти обращения вряд ли подойдут для этого чужака с восточным обликом, который, судя по его внешнему виду и заискивающим поклонам не может относиться к тем из чужаков, которые обладают богатством.

— Нет? Как это нет? Он такой... — Элезар бен-Аарон неловким жестом попытался показать, каким внешне является писец Требоний: долговязым, худым, еще не очень старым... Он хотел добавить, что у Требония мешки под глазами, фиолетовый нос, привычка плотоядно облизывать тонкие и бесцветные губы, но только потряс рукой в воздухе.

— Я знаю, как выглядит Требоний, — усмехнулся писец. — Я сижу на его месте... О каком деле идет речь? Если жалоба на кредитора или на оскорбление, то следует обращаться к претору, а не в Сенат. Впрочем, я не уверен...

— О даровании римского гражданства за особые заслуги, — сказал Элезар бен-Аарон, стараясь произнести эти слова с твердостью и достоинством, но они прозвучали растерянно. И писец прищурился, уловив эту растерянность, зрачки его серых глаз метнулись, как бы мгновенно обшарив лицо странного просителя: не обманывает ли? Впрочем, в этой курии мошенникам делать было нечего.

— По чьему ходатайству перед божественным императором и высоким Сенатом?

— Консуляра Феликса Максима...

Писец моргнул раз-другой, озадаченно почесал лоб тупым концом расщепленной тростинки. И сидевший неподалеку от него другой писец, очень пожилой, с лысиной, пересеченной шрамом, с седыми кустиками, торчавшими из ушей, просипел поясняюще:

— Был проконсулом в Сирии и Иудее при божественном Тиберии, в прошлом году умер и погребен в своем равеннском имении... Великие люди живут долго,

хвала богам. Повелением нашего блистательного и божественного Августа, да будут его дни бесконечными и только счастливыми, все прошения о даровании римского гражданства, поданные до начала нынешнего благословенного правления, считаются недействительными!

— Но Требоний...

— Обстоятельствами жизни бывшего писца сенатской курии Требония интересуется квестор по особо важным делам. В том числе и теми, при которых он помогал всевозможным проходимцам, а то и прямым врагам Рима. Запиши, Публий, где живет этот человек, мы сообщим, если возникнет какая-либо надежда.

— Нет-нет, не надо, — пробормотал Элезар бен-Аарон. — Я должен уйти, и благодарю вас за разъяснения.

— Я так и думал, — сказал обладатель седых кустиков в ушах и, сразу же потеряв всякий интерес к посетителю, наклонился над своими бумагами. Это же сделал и молодой писец. Тем более, что в курию через какой-то внутренний вход вплыл величественной походкой человек в темной ангустиклаве и остановился, оглядывая писцов, — вероятно, это был надзирающий за работой курии.

Элезар бен-Аарон вышел под яркое солнце, пошатываясь. Голова кружилась, и мутило, и во всем теле была такая слабость, что казалось, не удастся сделать и следующий шаг...

Так было и тогда, уже теперь много лет назад, когда после двух недель ожидания гибели, обессиленные, впавшие в полное отчаянье моряки и пассажиры корабля «Диоскуры» неожиданно услышали скрежет корабельного киля о камни, выскочили на палубу и при свете молний обдаваемые брызгами увидели пологий и, похоже, песчаный берег.

— Прыгайте! — крикнул кормщик. — Корабль погиб, но мы спасемся!

Элезар бен-Аарон нащупал мокрое плечо центуриона, тот повернулся.

— Чего тебе?

— Узники могут уйти, их следует убить.

— Молчи! Ты надоел мне со своими советами! Если ты не спасешься, я жалеть не буду...

— Тогда только Павла... Иерусалимский первосвященник наградит тебя.

— Ты знаешь, как называется эта земля?

— Не знаю.

— И я не знаю. Так при чем здесь Иерусалим? Ты хоть раз видел, как при землетрясении спасается зверье? Я однажды в Ливии видел... И не вздумай... Впрочем, тебя-то ему бояться незачем.

Они действительно спаслись все, выбравшись на пологий берег и затем, упав на песок, — сухой и легкий — лежали, медленно приходя в себя после всего пережитого. И только капитан и кормщик кляли судьбу, ибо лишились корабля и груза, стоимость которого будет спрошена с них владельцем и купцами.

И когда рассвело, и они побрели подальше от набегавших на берег волн — уже слабевших — кутаясь в остатки мокрой одежды, Элезар бен-Аарон снова, как в Иерусалиме, а потом в Кесарии, подивился бодрости и молодой стати Павла — да не стареет он, что ли? И сил у него не убывает разве?..

По словам моряков, на побережье попадались места, жители которых считали дарами богов все, что приносило море, и при кораблекрушениях присваивали то, что выбрасывалось на берег волнами, а спасшихся продавали в рабство. И, ковыляя по песку и увязая в нем по щиколотку, центурион Юлий до половины вытащил меч из ножен, а стражник взял поудобнее копьё — хотя, случись худшее, смогли бы разве они, ослабевшие до предела, защититься от полных сил, жадных хищников?

— Не бойтесь, братья! — сказал Павел. — Если мы без зла, то и нам будет той же мерой!..

— Что-то до сих пор я такого не замечал, — покачал головой кормщик, подавленный всем случившимся и уже сказавший, что лучше бы он утонул вместе с кораблем.

— Вот тебе и дана дальнейшая жизнь, — сказал Павел, — чтобы ты понял эту истину. Да, она проявляется не всюду, и не сразу, но рано или поздно она восторжествует.

— Блажен, кто верит, — угрюмо проговорил капитан погибшего корабля.

Но все действительно получилось так, как и предсказывал Павел: за грядой камней на взгорбке обнаружилось становище пастухов со стадом овец, и они обогрели и накормили спасшихся. А один из пастухов

отправился верхом на ослике в ближайшее селение, чтобы оттуда послали гонца к властям. Берег оказался островом Мелит, подвластным Риму, и находилось всего в сутках плавания от Сиракуз, откуда уже было недалеко до Ригии и Путеол.

Жарко пылал костер из принесенного хвороста, и в глазах спасшихся, сидевших вокруг огня, плясали веселые блики. И вот тогда случилось то, что в первый миг Элеазар бен-Аарон отнес было, к чудесным знамениям судьбы. Павел наклонился, чтобы бросить в костер очередную охапку сухих веток, и тут же с гримасой боли на лице выпрямился. И у всех сидящих, обернувшихся к Павлу вырвался крик ужаса.

На сгибе правой руки Павла висела, вцепившись пастью, черная с желтым узором, змейка — ядовитая гадюка. Видимо, она пряталась в хворосте.

Павел стряхнул змею, и та юркнула в низкую и редкую траву, зашелестела, исчезая.

— Тебе не повезло, киликиец, — центурион положил руку на плечо Павлу. — Но кто может заранее сказать, каким будет решение божественного кесаря?..

— Божий суд, — пробормотал Элеазар бен-Аарон.

Но, к общему удивлению, и наутро, и на следующий день Павел оставался жив и здоров, и кровоточащая двойная ранка на его руке почти зажила.

— Тебе помогает бог Анубис, — допытывался узник-палестинец, — или у тебя есть тайное средство?

Павел пожал плечами:

— Мне довелось побывать в этих местах, на пороге зими такие змеи совсем не опасны, а вот по весне...

— Ты смелый и знающий, — уважительно сказал центурион. — У меня есть влиятельные знакомые в Риме, я помогу тебе.

Вскоре прибыл с небольшой свитой сам правитель острова, и спасшихся отвезли в городок, где находилась резиденция правителя, и по просьбе центуриона Юлия поселили в гостинице для проезжающих торговцев, не делая различия. Впрочем, стражника поселили вместе со всеми, направлявшимися на суд.

Только весной они сумели наконец добраться до Путеол. И Элеазар бен-Аарон, сильно сдавший от всего пережитого и сильно изменившийся внутренне, то и дело в мыслях ловил себя на странном противоречии: с одной стороны — он привык к человеку, которого дол-

жен был уничтожить, даже хотел стать похожим на него: с другой стороны — ненавидел его еще больше, нежели прежде. И не мог порою разобраться: какая из этих двух противоположностей сильнее. Но было в то же время абсолютно ясно, что только вторая сторона может быть выгодна и выигрышна лично для него, Элеазара бен-Аарона... Или все-таки для Элеазара бен-Иегуды?

В Риме центурион Юлий отправил всех узников, кроме Павла, в Мамертинскую тюрьму, а Павла поселил в гостинице «Чаша Ганимеда» у начала Аппиевой дороги, обязав его в календы каждого очередного месяца отмечаться у квестора.

В этой же гостинице поселился — пока были кое-какие деньги — и Элеазар бен-Аарон, назвавшись хозяину Велизарием, посредником для совершения торговых сделок из Антиохии. Гостиница была низшего разряда, кишела насекомыми; постояльцами, чаще всего, были весьма подозрительные люди, и хозяин, надо думать, не слишком-то поверил носатому приезжему из ближневосточной провинции. Но с вопросами не приставал.

Элиазар бен-Аарон отмечал, что Павел с первого же дня своего пребывания в Вечном Городе стал встречаться с людьми, чаще всего иудеями, похоже из здешней тайной общины христиан. Иногда он надолго исчезал, а затем снова появлялся... Естественно, Элеазар делал все, чтобы не встречаться с Павлом, хоть это было очень трудно. И однажды они чуть не столкнулись.

— Ты все еще здесь, моя тень? — засмеялся Павел.

— Тенью можешь стать ты, — не удержался Элеазар.

— Жаль, — вздохнул Павел. — Я ведь никогда не желал тебе зла...

— Конечно, я для тебя только тень!

— Мне жаль тебя, — нахмурился Павел. — Но я помню твои прежние старания и потому предупреждаю: не вздумай натравливать на меня любителей поживиться — теперь я один не бываю, и тебе дорого придется заплатить. А живешь-то ты, кажется, неважно, названный сын Иегуды из Кериофа!

И это получилось, как плевков.

Когда в Риме стараниями оптиматов начались очередные трудности с хлебом, а раздачи плебейм сократились и стало назревать новое недовольство, усилились преследования христиан, их стали выскивать и бросать в темницы. Именно тогда Элеазар бен-Аарон и отправился к претору, чтобы оставить ему свиток с полной записью дел, в которых был повинен Павел, бывший некогда Савлом, прибывший в Рим для суда самого кесаря и теперь уклоняющийся от этого суда.

В ту же ночь Элеазар бен-Аарон проснулся от криков и лязга оружия, тяжелого топота, причитаний хозяина гостиницы. Утром он узнал, что Павел схвачен и увезен в тюрьму.

Много лет прошло с того времени, сменяли друг друга кесари, происходили перемены в далекой Иудее, о которых известия добирались до Италии с огромным опозданием. Элеазар бен-Аарон о выполнении данного ему поручения сообщил в Иерусалим с верным человеком, но ответа не получил.

Позже ему удалось оказать незначительную услугу бывшему проконсулу Сирии Феликсу Максиму, и тот, растрогавшись от воспоминаний о своем блестящем прошлом, согласился походатайствовать перед Сенатом о питомце первосвященника...

Элеазар бен-Аарон остановился на развилке вымощенных плитами двух дорог — перед ним начиналась Субурра, одна из самых красивых и многолюдных улиц Вечного Города. Белели тоги с величественными складками, развевались столы матрон, мчались колесницы,, уличные торговцы предлагали свой товар... И вдруг Элеазару бен-Аарона показалось, что и улица, и бело-снежные дома с колоннами и портиками, и холмы — все перевернулось, и небо, опрокинувшись, стало камнем, покрытым трещинами. Перед глазами поплыли алые полосы, возникло лицо Павла — не угрюмое, не насмешливое, а спокойное. И все исчезло.

— Скоро в Риме ступить будет некуда от этих чужеземцев, — желчно пробормотал какой-то плебей, обходя упавшего старика с большим и горбатым носом.

Позже историки отметят, что в эту весну в Риме случались необычайно знойные дни, чреватые для людей солнечными ударами.

В этот же знойный час со стороны Кум в Вечный город въезжал всадник с десяти-двенадцатилетним мальчиком на крупе низкорослой пегой кобылки. Перед самой аркой ворот всаднику пришлось посторониться и ждать, пока проедут встречные повозки, сопровождаемые свирепыми на вид рабами. Судя по богатой сбруе и самоуверенности старшего над рабами, груз принадлежал кому-то из владельцев пригородных патрицианских вилл — может, и сенатору... Стражники у ворот лениво ругались за облаком пыли, поднятой колесами и копытами, и не обратили никакого внимания на всадника. Тем более, что он походил на ветерана, ныне пожинающего добрые плоды от многолетней службы в легионных рядах, имеющего землю и пенсион. Всадник миновал ворота и свернул в первый же узкий проулок.

— Потерпи еще немного, Пробус, — полуобернул он иссеченное морщинами, темное от загара и как бы выдубленное лицо к мальчику, приникшему щекой к пропыленному плещу.

— Так я ведь ничего не говорю, Юлий. — Детский голос звучал слабо, но в нем не было жалобы, и названный Юлием кивнул с подобием улыбки.

— Ты настоящий мужчина, Пробус.

С далеко ушедших времен Республики стены Вечного города раздвинулись на несколько стадий, пролегли новые улицы. Но там, где некогда проходила линия прежнего вала и селился пришлый из провинций и колоний люд, истинные римляне попадались редко — неважная репутация была у этого своеобразного пояса Рима. Здесь можно было встретить слепого нищего, который прищуривался зорче любого зрячего; калеку-гладиатора; уличного комедианта; изгнанную из лупанария больную девушку; неудачливого менялу... Здесь достаточно приличные жилища соседствовали с земляными норами, а немощеная почва уже с трудом впитывала нечистоты. Всадник остановился возле строения, большая часть которого когда-то явно была амбаром — на приведение его в пригодное для использования состояние хозяин пустил то, что попадалось под руку: нетесаные камни, прутья, глину, черепки от амфор.

Юлий помог мальчику соскользнуть с лошади, затем слез сам, с гримасой сдерживаемой боли стал растирать

колени, икры. Мальчик прислонился к неровной стене, засмотрелся на белесое небо, где кругами ходил коршун. А лошадь потянулась к чахлым травинкам, пробившимся в щели между камнями дверной арки.

На стук очень грубо выкованного из пористой бронзы кольца дверь заскрипела, выглянул жилистый бородач — полуголый, потный и как бы присыпанный серой пылью. Мохнатые брови на его широком плебейском лице вскинулись удивленно.

— Юлий?

— Да, это я, Макрон. Привет тебе.

— И тебе привет, но я ждал тебя, прости, ближе к осени. Говорили, что ты в Фессалонике...

— Я был там, но мне пришлось поспешить с отъездом. Со мной сын одного из наших братьев — он погиб... Входи в этот дом без страха, Пробус. Макрон только на вид похож на кентавра, а сердцем он добрый — разве может быть иным тесальщик плит для хранилищ урн с пеплом умерших?

— Они же язычники, — весело подмигнул Макрон, вытирая тряпицей ладони и поочередно прикасаясь к плечам гостей. — Входите же с легкой душой, друзья! Велитернской или цекубской лозы и жареного павлина не обещаю, но свежая лепешка и напиток из кампанских выжимок есть. А после заката — общая трапеза.

— Ты хочешь сказать?.. — обернулся к нему Юлий, уже сбросивший плащ и несколько оживившийся в прохладе помещения.

— Именно, Юлий, именно! Нынешний цезарь не любит верующих в Иисуса Христа так же, как и прежний, но число верующих растет, есть они ныне и среди магистратов — нас предупредят, если что...

— Прежде собирались у гранильщика Антония...

— Пресвитер Антоний теперь занимается посредничеством в торговле, у него бывает слишком много чужих людей. А здесь и места хватает, и рядом вход в каменоломни — ты сам увидишь, все очень хорошо. И, как-никак, я — один из диаконов.

— В других краях тоже перемены, — как бы отзываясь на собственное раздумье, медленно и протяжно произнес Юлий, и седые брови его сдвинулись.

Некоторое время спустя освеженные водой из колодца, выкопанного по словам Макрона, еще этрусками, приезжие сидели в триклинии, устроенном в дальнем

углу просторной мастерской, ели еще теплые пшеничные лепешки, принесенные хозяином из пекарни неподалеку, отваренные в соленом кипятке овощи, запивая еду разбавленным виноградным соком. Мальчик уже задремывал, улыбался безотчетно чему-то, и Юлий пристроил ему под голову очищенный от пыли и свернутый плащ.

— Тихий отрок,—кивнул на Пробуса Макрон.

— Отца забросали камнями у него на глазах...

— Не ведают, что творят.

— Эти ведали: отец Пробуса видел, как непорочная весталка выходила на рассвете из покоев префекта. Такое не всегда ходит с рук и поклоняющемуся Юпитеру, ну, а для христианина... Ты сказал, что верующих в Христа стало больше.

Макрон смущенно потупился, и странно было видеть этого сильного бородатого мужчину с тяжелыми, натруженными руками, который не знал, как спрятаться от пристального взгляда гостя.

— Мне хотелось сказать приятное для тебя, Юлий... Община и в самом деле выросла в числе, но на трапезах и во время молебствий... Как тебе сказать?

— Больше думают о суетном, нежели о вечном, да?

— Ты сказал именно то, чего я не смог. Твой приезд станет искрой для оживления костра, и очень удачно, что это сегодня: следующая трапеза — в новолуние. Так решил пресвитер Антоний, еще когда был гранильщиком.

— Многие ли из чужих знают о сроках трапез?

— Не без этого, — немного подумав, покачав кудлатой головой, перевязанной тесьмой поперек лба, произнес Макрон. — Но здесь не любят доносчиков... Тебе тоже нужно отдохнуть, Юлий. Моя работа не будет тебе мешать?

— Не беспокойся обо мне, Макрон.

Войлочная подстилка была грубой, но она надежно оберегала от зловредных насекомых, которых немало повсюду в эту пору. Вскоре оба гостя крепко спали — Юлий, откинув седую, по-солдатски коротко остриженную голову, стиснув правый кулак; Пробус — подтянув колени почти к подбородку, то и дело шевеля бледными губами. Макрон отправился к мраморным и доломитовым обломкам, разложенным вдоль стен, примерился теслом, ударил раз-другой, опасливо обернулся к спящим, убедился, что стук и вправду не мешает им, улыб-

нулся и стал работать, морщась от бьющей в лицо каменной острой пыли.

Люди начали сходиться, когда сгустились серые сумерки и летучие мыши принялись беззвучно чертить пространство мгновенными черными зигзагами. Желтым огоньком помигивал масляный светильник-лодочка, поставленный на полуобтесанный камень; в дверном проеме возникали очертания очередного посетителя, звучали тихие слова: «Слава Иисусу Христу, Сыну Божьему!», на которые следовал ответ: «Во веки! Входи, брат...» И Макрон жестом показывал, что идти следует через мастерскую, на тесноватый дворик, как бы прикрытый кронами двух корявых сосен-пиний. Впрочем, посетители не нуждались в пояснениях, явно давно и хорошо зная место сборов — двигались уверенно, не глядя по сторонам, лишь некоторые с любопытством посматривали туда, где вырисовывались две человеческие фигуры: высокая и прямая и низкорослая детская.

Один из посетителей остановился, перешагнув порог, коснулся рукой склоненного затылка Макрона, неторопливо прошагал в сумрак, остановился — дородный, немного задышливый.

— Значит, ты и есть Юлий-каппадокиец? — спросил он хриплым шепотом.

— Да, так меня называют иногда, хотя я родом из других мест. А ты — Антоний, пресвитер. Я слышал, что тебя редко видят в общине...

— Что в Азии могут знать о делах в Риме?

— Может, чуть больше, чем в Риме о делах в Азии, Антоний. При моем спутнике можешь говорить без опасения, он сын нашего брата и стал теперь моим сыном.

— Я ничего не опасуюсь, Юлий. Если в Сирии и в эллинских городах многие наши братья пострадали, то здесь эта чаша последнее время счастливо минует нас.

— Может, потому что дела веры уступают другим делам?

— Не надо плохо думать о нас, Юлий. Такие, как ты, приходят и уходят, а мы остаемся.

— Но ты сегодня не остаешься на трапезе, не так ли?

— Откуда ты это знаешь, Юлий? — встревожился Антоний. — Я еще не говорил об этом и Макрону... Ты где-то узнавал обо мне, да?

— Я лишь в полдень приехал в Рим, Антоний. Про-

сто догадка... Ты волен поступать, как находишь нужным, Антоний, ты здесь — дома.

— Ты говоришь истину, Юлий. Макрон — диакон и позаботится обо всем. А от моих успехов зависит помощь бедным. Ты ведь не согласишься, что Это наш долг? Мы еще обязательно увидимся, Юлий. Прощай.

Собравшиеся, переговариваясь вполголоса, рассаживались за длинным дощатым столом — двадцать шесть человек, среди которых были три женщины. В неверных отблесках от светильника, из-за низко накинутах темных покрывал было невозможно определить: молоды они или стары, красивы или уродливы. И Юлий невольно подумал, что число собравшихся соответствует удвоенному числу тех, кто когда-то собирался на вечернюю трапезу с Иисусом. Между тем Пробус помог Макрону разложить на столе хлебы, немного вареной рыбы, поставить кратеры с разбавленным вином. Юлий знал, что средства для таких трапез собираются заранее, что для этой основную сумму пожертвовал Антоний — рыба была в Риме дорогой.

— Вознесем же, братья, молитву Господу нашему, — негромко, но торжественно, немного нараспев, произнес Макрон, сидевший во главе стола в чистом хитоне, с волосами, повязанными свежей тесьмой, — искупившему мучительной смертью своей грехи людские, и возблагодарим Его за то, что можем вот так собираться и радоваться бытию!.. Отец наш небесный! Да будет всегда святым имя Твое, да придет царствие Твое, да будет исполнена воля Твоя! Хлеб наш насущный дай нам сегодня. И освободи нас от долгов наших, как и мы прощаем должникам своим!..

Склонив головы, участники трапезы громким шепотом вторили Макрону, и слившиеся голоса гудели, как водяной поток акведука:

— ...Не введи нас в искушение, Господи, но избавь от лукавого и его соблазнов! Да будет царство Твое, Сила и Слава вовеки. Аминь!

Преломив хлеб и подождав, пока это сделают и другие, Макрон сказал:

— Сегодня гостем у нас и учителем Слова Божьего брат наш из провинций азийских Юлий, прозвищем Каппадокиец...

— Не тот ли, — спросил старик, сидевший за дальним концом стола, и взволнованный говорок прошел сре-

ди всех трапезующих, — который некогда центурионом стерег по пути в Рим самого ученика Иисуса — Павла?

— Ты сказал правду, — склонил голову Макрон, сам взволнованный не меньше других, хотя и знал многое о своем госте. — Это он.

— Это я, — Юлий встал, как прикосновения, ощущая на себе взгляды всех этих глаз, хотя видел лишь как бы искорки: отражения огонька светильника, размноженные его мерцанием в десятках зрачков. В наступившей полной тишине слышалось лишь сдерживаемое дыхание.

— Расскажи нам о Павле, брат Юлий, — попросил низкий женский голос, и Юлий подумал, что, вероятно, обладательница этого голоса темноволоса и черноглаза, склонна к полноте, близится к зениту своего жизненного пути. — Правда ли, что пояс его исцелял других от болезней? Правда ли, что он мог всюду говорить на языке того народа, среди которого находился? Правда ли, что Павел воскресил упавшего с высоты юношу Евтиха?

— Действительно ли было так, — спросил молодой мужской голос, — что в Эллинской Македонии Павел изгнал из прорицательности духа прорицания именем Иисуса, и хозяева этой женщины, получавшие доход от нее, обвинили Павла в подстрекательстве к возмущению народа против властей?

— Брат Антоний, — сказал старик, начавший этот разговор, — когда-то читал нам из свитка о том, как сияние озарило темницу, в которую по злему навету были ввергнуты Павел и брат его во Христе — Силл... Было сказано там, что страж темницы с той поры уверовал в Господа Иисуса Христа.

— Почему ты спрашиваешь, брат Ианикей, — повернулся к нему Макрон, — если так написано было в свитке? Ведь писал тот, кто видел все это. Или вера оставила тебя?

— Вера не оставила меня, брат Макрон, — возразил старик, сцепляя над краем стола узловатые пальцы, стискивая их в волнении, — но то, что неотделимо от Сына Божьего и подвластно ему, доступно ли просто людям?

Юлий поднял ладонь, предваряя то, что хотел сказать Макрон, повернулся к старику.

— Я поведаю обо всем спрошенном и о многом другом, братья. А тебе, брат, скажу лишь одно: Иисус называл себя Сыном Человеческим, а люди суть — все Дети Божьи, ибо появились на Земле, как и сама Земля,

промыслом Господним. И чудом по справедливости следует называть все, что существует в природе, что окружает нас, что было, есть и будет. «Правда ли?» — спрашиваете вы, братья. А разве я — бывший центурион 4-й вспомогательной когорты 2-го Сирийского легиона — не повторил судьбу самого Павла, из гонителя христиан став проповедником учения Христа? А разве все мы сейчас, вот за этим столом, не повторяем смысл той тайной вечери, когда Иисус беседовал со своими учениками?

— Там был и Иуда, — сказал кто-то и громко вздохнул.

Юлий хотел ответить гневно и насмешливо, что мудрость Господня еще и в том, что само наличие Зла на Земле помогает узнавать сущность Добра, но все обернулись на громкий стук дверного кольца, предупреждающий крик того, кто был оставлен возле входа в дом, хриплые возгласы чужих людей, звон оружия. Дверь затрещала, рухнула, было видно, что в помещение врываются стражники. Одновременно все вокруг наполнилось криками и стонами, треском падающего стола, звоном бьющихся сосудов...

— За кустами терновника вход в каменоломню! — крикнул Макрон, толкая Юлия в плечо. — Ианикей и женщины знают, не потеряй Пробуса! Там внизу есть метки на стенах, они выведут!

И дунул на огонек светильника.

Сжимая в ладони горячие и влажные пальцы мальчика, Юлий двигался, то и дело касаясь протянутой вперед свободной рукой женского покрывала, нащупывая ногами подобия ступеней, уводящих все глубже и глубже. Из тьмы тянуло сыростью, затхлостью, ноги то и дело оскользались. На каком-то из поворотов, опершись на миг на холодный и влажный камень стены, Юлий ощутил под пальцами как бы высеченную резцом линию. Провел по ней и тут же догадался, что это очертания рыбы.

— Мы выйдем к свету? — прошептал Пробус. — Почему ты молчишь?

— Выйдем, — ответил, переводя дыхание, Юлий. — Должны выйти!

«...И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, то имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры; имеешь ли служение, пребывай в служении; учитель ли, — в учении; увещатель ли, — увещевай; раздаватель ли, раздавай в простоте; начальник ли, — начальствуй с усердием; благотворитель ли, — благотвори с радушием.

Любовь да будет непритворна; отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру;

Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью; в почительности друг друга предупреждайте;

В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите;

Утешайтесь надеждою; в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны;

В нуждах святых принимайте участие; ревнуйте о странноприимстве;

Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не проклиняйте.

Радуйтесь с радующимися и плачьте с плачущими.

Будьте единомысленны между собой; не высокоумдрствуйте, но последуйте смиренным; не мечтайте о себе;

Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками.

Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми.

Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: «Мне отмщение, Я воздам, говорит Господь».

Итак, если враг твой голоден, накорми его; если жаждет, напои его; ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие уголья.

Не будь побежден злом, но побеждай зло добром...»

*Послание к римлянам
святого апостола Павла.*

ПРИМЕЧАНИЯ

- АВАДОННА** (*и в р.*) — демон пустыни, ангел гибели.
- АВЕНТИН** — один из семи холмов, на которых построен Рим. Остальные холмы: Виминал, Капитолийский, Квиринал, Палатин, Эсквилин, Яникул.
- АНГУСТИКЛАВА** — одежда, туника с узкой пурпурной полосой внизу, знак достоинства всадника.
- АРИМАФЕЯ** — город на западе древней Иудеи.
- АШТАРОТ-ИШТАР** (Астарта)—главное божество в религиозном пантеоне древнего Ближнего Востока.
- БРУНДИЗИЙ** — нынешний Бриндизи, порт в Италии.
- ВСАДНИКИ** — Второе сословие древнего Рима — после сенаторов. Название возникло от того, что из этого имущественного слоя в начале существования Рима рекрутировалась конница.
- ГАЛЛИЯ** — нынешняя Франция и часть нынешней Германии за Рейном.
- ГАЛИЛЕЯ**—Северная часть Израиля, который во времена владычества римлян делился еще на три царства: Самарию, Иудею и Идумею.
- ГЕНИСАРЕТСКОЕ ОЗЕРО** — озеро на севере Галилеи.
- ДИНАРИЙ** — золотая монета, ходившая на Востоке, так иногда называли римские ауры.
- ЕССЕИ** — религиозная секта в древней Палестине, ессеи проповедовали всеобщее равенство, бедность.
- ИОПСИЯ** — нынешняя Яффа.
- ИОРДАН** — река на юге Иудеи.
- ИУДЕЯ** — одно из четырех царств древней Палестины.
- КАЛИГИ** — солдатская обувь, род коротких сапог.
- КАПРЕЯ** — остров Капри, резиденция римских императоров.
- КВЕСТОР** — следователь правоохранительных органов Рима.
- КВИРИТЫ** — самоназвание римских граждан.
- КЕЛЬТЫ** — народ, населявший древнюю Британию.

КИЛИКИЯ, КАППАДОКИЯ — Малоазиатские владения Рима, часть нынешних островов Греческого Архипелага, Турции.

КЛЕПСИДРА — водяные часы.

КЛИЕНТЫ — бедные свободнорожденные граждане, вольноотпущенники, пользующиеся милостями какого-либо влиятельного лица.

КОГОРТА — воинская часть в 500—600 человек.

КОМИЦИИ — зал заседаний Сената.

КУРИЯ — канцелярия.

ЛЕВИТЫ — младшие священнослужители в Иудее.

ЛЕГАТ — командир легиона.

ЛЕГИОН — самое крупное воинское формирование Рима: 5—6 тыс. человек.

МЕССИЯ — грядущий спаситель мира, учение о приходе которого существовало и существует в ряде религий мира: Мессия в иудаизме, Христос — у христиан, Майтрейя — у буддистов и т. д.

МИЗРАХ (мизрахи) (*ивр.*) — Восток, восточная стена синагоги.

ОБОЛ — мелкая медная монета.

ОПТИМАТЫ — богатая аристократия.

ОПТИОН — помощник командира центурии — центуриона, командира над 10.0—120 солдатами, сотника.

ПАННОНИЯ — нынешняя Венгрия.

ПАРФЯНСКОЕ ЦАРСТВО — древнее царство на территории нынешнего Ирана, владения которого простирались до границ Армении.

ПЛЕБЕИ — третье сословие Рима, престолярды, обладавшее гражданскими правами.

ПРЕТОР — представитель судебной власти.

ПРОКОНСУЛ — властитель провинции.

ПТОЛЕМАИДА — город и порт в древней Иудее, неподалеку от нынешней Хайфы.

ПУТЕОЛЫ — морской порт на побережье Италии, в районе нынешней Остии.

РАВВИ (рабби, ребе) (*ивр.*) — «учитель», а также почтительное обращение к старшему по возрасту.

САДДУКЕИ — представители религиозного движения в древней Палестине, отстаивавшие чистоту Закона Моисея — фундаменталисты.

САРМАТЫ — древнее население нынешней Румынии и Молдавии. С ними соседствовали ДАКИ.

САТУРНАЛИИ — праздник в честь бога Сатурна.

СИНЕДРИОН — совет священнослужителей в Иерусалиме, обладавший высшей духовной и светской властью.

СТОЛА — женская одежда.

СУБУРРА — одна из самых фешенебельных улиц в самом центре Древнего Рима.

ТИБЕРИИ (Тиберий)—римский император (14—37 гг. н. э.).

ТОГА — обычная одежда римских граждан, подобие широкого белого плаща. Широкая пурпурная полоса внизу обозначала сенаторское достоинство, узкая — всадническое.

Триба — буквально: «племя» — на трибы делились римские плебеи, которые выдвигали своих представителей в органы власти — народных трибунов. Позднее это стало обозначением определенного ранга, появились гражданские и военные трибуны.

ТРИКЛИНИЙ — столовая в доме богатого римлянина.

ФАРИСЕИ — толкователи Закона Моисея.

ФОРУМ — открытая площадь для народного обсуждения каких-либо вопросов. На форумах собирались сторонники того или иного общественного или государственного деятеля. Обычно форумы украшались колоннами, мостились мраморными плитами.

ЦЕНТУРИЯ (кентурия) — римское воинское подразделение в 100 человек.

ЭТНАРХ — правитель города.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

3

КАНУН

8

СЛУЖЕНИЕ В КАПЕРНАУМЕ

32

ОТМЩЕНИЕ АЗ ВОЗДАМ

52

МАРИЯ МАГДАЛИНА

77

ГЕФСИМАНСКИЙ САД

88

КРЕСТ

102

ПОКАЯНИЕ ЛАМАХА

108

ГРЕХ И ПРЕОБРАЖЕНИЕ

МАРИАМ-САМАРЯНКИ

126

ВЕРНУТЬСЯ В ИЕРУШАЛОМ

201

КЕСАРИЮ —КЕСАРЕВО

256

Список иллюстраций

(гравюры Гюстава Доре)

Рождество
Иоанн крестит Иисуса
Тайная вечеря
Молитва Иисуса
Поцелуй Иуды
Иисус под тяжестью креста
Исцеление больных
Отречение Петра
Изгнание из храма
торгующих и покупающих
Въезд в Иерусалим

Для оформления лицевой стороны переплета использована репродукция картины Ван дер Вейдена «Снятие с креста», для оборотной стороны — Геертгена «Иоанн Креститель».

**Олег Борисович Глушкин,
Валентин Николаевич Зорин**

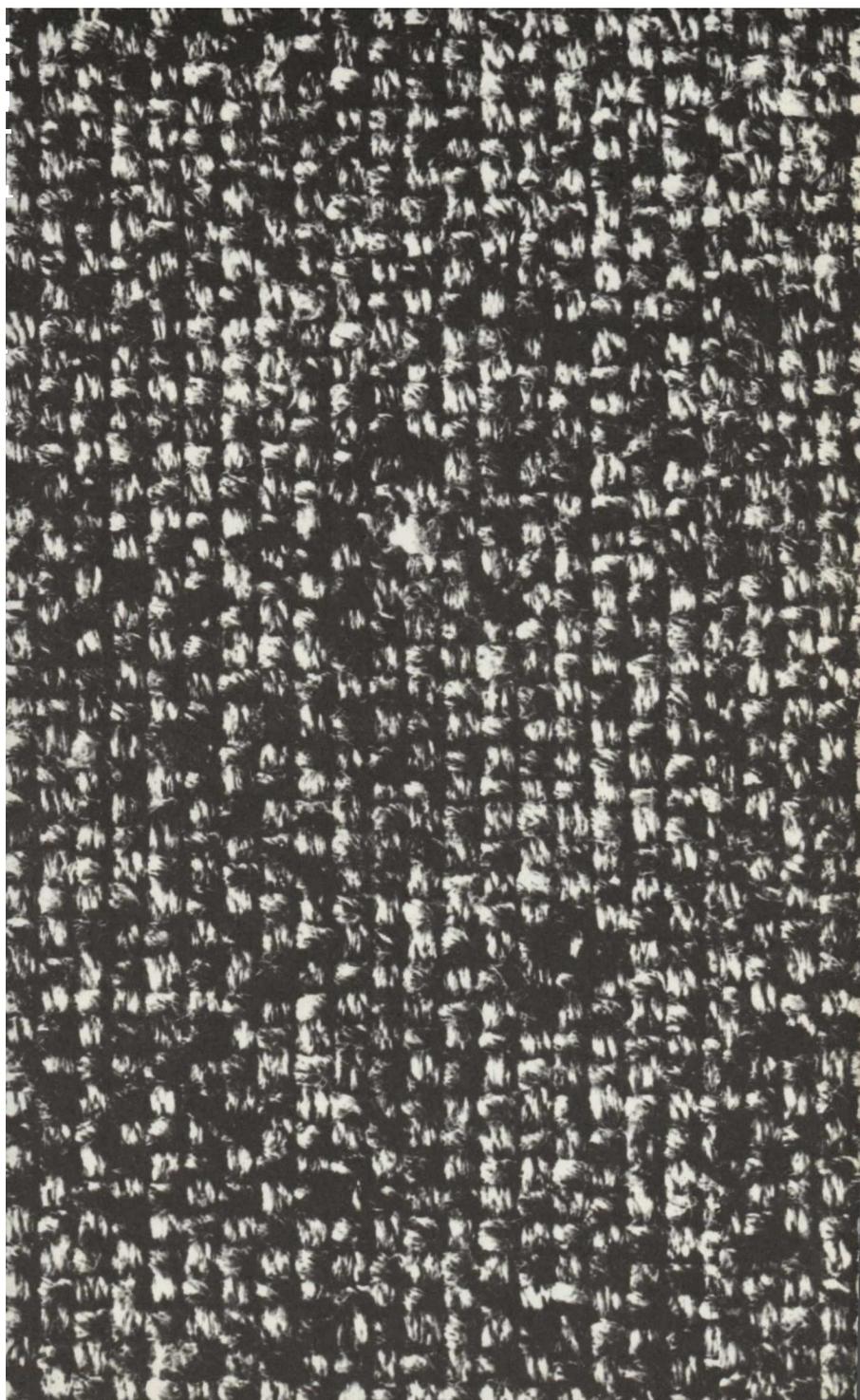
ИИСУС НАЗАРЯНИН

Редактор О. Н. Тимошенко
Художественный редактор С. И. Соболев
Технический редактор М. С. Гайдукова
Корректор Н. Л. Второва
И Б № 964

Сдано в набор 10.03.93. Подписано в печать 02.09.93.
Формат бумаги 84ХЮ8¹/32. Бумага офс. Гарни-
тура «Литературная». Печать офс. Уел. печ. л.
16,80. Уел. кр.-отг. 89,1 г. Уч.-изд. л. 17,71. Ти-
раж 5000 экз. Заказ 1940. С 018.

Калининградское книжное издательство,
236000, Калининград, Советский просп., 13.
ИПП «Янтарный сказ», 236000 Калининград,
ул. Карла Маркса, 18.

4.11009





1100

«Придите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; ...научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим» (Матф. 11, 28—29).